ПОПУЛЯРНАЯ ФИЛОСОФИЯ С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ



ЗИГМУНД

ФРЕЙД

ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОАНАЛИЗ

С КОММЕНТАРИЯМИ И ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ

ХРЕСТОМАТИЯ



ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА



УДК 159.964.2
ББК 88.6
Ф86

Дизайн серии *Дмитрия Агапонова*

В оформлении издания в качестве иллюстрированных цитат к текстовому материалу используются фоторепродукции произведений искусства, находящихся в общественном достоянии, фотографии, распространяемые по лицензии Creative Commons.

Также в оформлении издания использованы иллюстрации из архива Shutterstock.

Составление, предисловие, преамбулы к текстам, комментарии *Эдуарда Марона*

Перевод с немецкого *Андрея Боковикова*

Фрейд, Зигмунд

Ф86 Введение в психоанализ / Зигмунд Фрейд; сост., предисл., коммент. Э. Марона, пер. А. Боковикова. — Москва: Издательство АСТ, 2021. — 320 с. — (Популярная философия).

ISBN 978-5-17-120137-1

Зигмунд Фрейд с юных лет мечтал изменить мир, мечтал о победе разума и пьедестале славы. И действительно, творческие личности, деятели науки, простые обыватели прошлого столетия с азартом поддались модному течению – взирать глазами Фрейда на человеческие влечения и поступки, вслед за ним анализировать сновидения, изучать методы гипноза и раскрывать суть неврозов и страхов будь то в жизни или в искусстве. Психология, медицина, социология, антропология, литература XX века прониклись идеями фрейдизма. Ни один другой ученый не имел столь мощного влияния в обществе. Он явился основателем теории психоанализа и эдипова комплекса, внес новое и неожиданное понимание в трактовку бессознательного, воздействия полового инстинкта на психику, соотношения Я и Оно, показал, как массы меняют индивида, а тот, в свою очередь, влияет на психологию толпы…

Настоящую хрестоматию составили произведения, отражающие основные взгляды ученого.

УДК 159.964.2
ББК 88.6

ISBN 978-5-17-120137-1

Триумф и трагедия Фрейда

6 мая 1856 года в 6.30 вечера на Шлоссергассе, 117, в городе Фрайберге Моравии на свет появился человек, интерес к личности и трудам которого не угасает в мире по сей день. Зигмунд Шломо Фрейд, сын скромного торговца шерстью и сукном Якоба и восхитительной девушки Амалии. Рожденный «в сорочке», он с раннего возраста был окутан предсказаниями посторонних и верой родных в свое будущее величие. Казалось, сама судьба благоволила Фрейду — любимое дитя, окруженное материнской заботой и гордостью, убежденность отца в том, что из сына вырастет величайший врачеватель, слава о котором распространится далеко за пределы Австрии. Фрейд искренне уверовал, что ему уготована особая миссия — свершить неведомое доселе человечеству открытие, по величию своему не уступающее подвигам мифических героев. Но мог ли он, вдохновленный желанием первооткрывательства, предвидеть весь триумф и всю трагедию, увенчавшие плод его исканий? Не имея, в силу своей родословной, большого выбора будущей профессии, он без всякого к тому тяготения поступает на медицинский факультет. Наделенный педантичностью и чувством ответственности, Фрейд с отличием постигает врачебное дело, томясь при этом невыносимой обреченностью от одной лишь мысли — до конца дней своих возиться с безнадежными пациентами и влачить жалкое существование не любящего своего ремесла врачевателя. Он проходит путь от стажера в лаборатории Брюкке до главного врача в неврологическом отделении Шольца, утрачивая веру не только в свое предназначение, но и в везение. «Кто я? Старый, жалкий на вид еврей», — горестно сетует он своему приятелю. Без денег, без ясных перспектив на будущее, с семейными обязательствами и так и не появившимся делом жизни, которое полностью овладело бы его умом и жаждой. Жаждой найти себе применение. Все будто бы твердило ему о его личной заурядности, о глупой, надуманной затее — стать великим, как саркастичная шутка, подброшенная ему врагами, чтобы вдоволь посмеяться над его доверчивостью и самомнением. Но судьба, столь много обещавшая Зигмунду в отроческие годы, наконец-то улыбнулась ему в лице двух коллег, чьи имена Фрейд будет упоминать с трепетным благоговением и благодарностью: Шарко и Брейер. Первый своими своеобразными взглядами на истерию и гипнотизм произвел на Фрейда сильное впечатление и сыграл значительную роль в его повороте от невролога к пси-

хопатологу. Брейер, поведав Фрейду о своей пациентке Анне О., впоследствии ставшей, благодаря провидению самого же Фрейда, знаменитой, фактически сподвиг его к грандиозному замыслу, начавшемуся как смутный проблеск понимания таинственной стороны человеческой психики и приведшему в итоге к открытию психоанализа. На этом долгом пути зарождения новой концепции о разуме человека Фрейд оказался один. Никто из его вдохновителей и помощников не сумел или не захотел систематизировать свои наблюдения, посвятить свою деятельность серьезному и тщательному изучению этой темы. Возможно, это не было им интересно; возможно, они не понимали до конца, с чем имеют дело. Шарко отнесся безразлично к энтузиазму Фрейда по поводу изучения болезни Анны О. Брейер, запутавшись в своих чувствах к Анне и дав повод жене для ревности, в панике бежал от своей пациентки, когда у той начались воображаемые «истерические» схватки родов их мнимого ребенка. Передав ее Фрейду, он более не возвращался к этой непредсказуемой и пугающей области. Фрейд оказался не только более устойчивым и невосприимчивым к экстравагантным выходкам пациентов, но и более трудолюбивым и последовательным в своих наблюдениях и суждениях. Нащупав нужную нить, он с темпераментом «конкистадора» вошел в темные задворки человеческого сознания, шаг за шагом срывая покровы, веками скрывавшие самые потайные и сокровенные страсти, страхи и мотивы людей. Свободные ассоциации, защитные механизмы, толкование снов, либидо... Фрейд по крупицам собирает основы своего главного творения — психоанализа. Будучи приверженцем строгих этический убеждений, он первым подвергает себя честному и неприкрытому самоанализу, финальным аккордом превратившему весь его опыт и все его познания в новое, фундаментальное учение о человеке. Фрейд захотел изменить мир, дав ему универсальную теорию человеческого поведения, еще долгое время оставаясь в полном одиночестве среди непонимания и недоверия. Только с выходом «Толкования сновидений» (1900) его популярность начала постепенно расти, а психоанализ стал завоевывать последователей и континенты. Вспыхнувшие в ответ яростная оппозиция, циничные насмешки и ядовитые нападки нисколько не смущали Фрейда, выработавшего с юношества в себе стойкость, и лишь укрепляли его в вере в правильность своего пути. Он избирает единственно приемлемую для себя позицию — категоричное несогласие с любым возражением в адрес своих теорий, абсолютная убежденность в личной правоте и робкая надежда на мудрость новых поколе-

ний, которые сумеют верно оценить его труды. Триумф и признание не заставили более себя ждать. Имя Фрейда вознеслось над миром. Психология, медицина, социология, антропология, литература и искусство XX века прониклись идеями фрейдизма. Ни один другой ученый не имел столь мощного влияния. Научные деятели, творческие личности, простые обыватели с азартом поддались модному влиянию — взирать глазами Фрейда на человеческие мотивы, влечения и поступки, будь то в жизни или в искусстве. Фрейд мог бы упиваться триумфом, к которому так стремился с юных лет. Но судьба делает новый виток, полный трагизма и все такого же одиночества, преследовавшего Фрейда всю его земную жизнь. «Мы входим в мир одинокими и одинокими покидаем его», — безнадежно повторял Фрейд. Отступничество учеников, нанесшее тяжелый удар, прогрессирующая болезнь, мучительно изнуряющая физическое и душевное состояние, жестокая и иррациональная сущность человеческого бытия, вызывающая горькую иронию и разочарование, лишь подтолкнули к вынужденному уходу. Вопреки расхожему мнению, Фрейд не стремился стать революционером. Он им и не был. Желание общества разрушить до основания старые устои пугало его. Будучи далеко не религиозным человеком, он тем не менее осознавал и предвидел всю опасность радикальных изменений в общественном устройстве. «Если Вам угодно изгнать из нашей европейской культуры религию, то этого можно достичь только с помощью другой системы учений, которая с самого начала переймет все психологические черты религии, тот же священный характер, ту же косность, нетерпимость, тот же запрет на мысль в целях самозащиты». То, что должно было освободить человека, стало орудием против самого же себя. Психоанализ вышел за пределы изначальных рамок метода выявления душевных страданий и комплексов и стал для общества вратами к вожделенной свободе, к раскрепощению от оков запрета и стыда. Общество с лихвой воспользовалось данной свободой. Сначала стыдливо и настороженно, но со временем все более открыто и требовательно оно повышало свои запросы на раскрепощенность и самовыражение. У общества больше не осталось тайн, оно позволило себе намного больше, чем когда-то предполагало. Оно утратило сомнения в себе и вместе с тем нужду в изобличениях своего несовершенства. Его стал до нетерпимости раздражать нос Фрейда, сующийся в изъяны людской психики. У свободы не может быть душевных страданий. На то она и свобода. Свобода не обязана оставлять выбор или пресмыкаться перед моралью. Фрейд со своими оглядками

на моральные устои стал скучен обществу. Ученому отведено заслуженное место на хрустальном пьедестале, приснившемся ему когда-то в образе стеклянного цилиндра. Общество признательно жмет ему руку за указанное направление и уходит прочь без путеводителя, оставляя его, как забавную фигурку, в искусственном блеске восхищения, сплетен и одиночества. Круг судьбы замкнулся.

Фрейд начинал изгоем. Изгоем он в истории и останется.

«Лекции по введению в психоанализ» Фрейд читал в течение двух зимних семестров 1915/16 гг. и 1916/17 гг. смешанной аудитории, включающей в себя слушателей разных факультетов. Разношерстность аудитории определила особенность изложения материала Фрейдом, в котором он стремился не к строго научной академичности, а к тому, чтобы заинтересовать слушателей и удержать их внимание в течение отведенных ему двух часов. Проведя лекции первой части импровизационно, Фрейд систематизировал свой подход для чтения лекций второй части. Стиль научного популяризаторства был избран им как наиболее подходящий для объяснения тем лекций с разных сторон, с целью более углубленного изучения предметов обсуждения и расширения знаний аудитории о них. К тому времени Фрейд полностью сформулировал основные постулаты психоанализа — своей главной научной концепции, рассматривающей человеческое поведение, структуру личности, природу влечений и механизмы бессознательного, концепции, ставшей в итоге влиятельным методом разоблачения психических расстройств. Психоанализ обретал не только сторонников, но и ярых противников. Цикл лекций, направленный на широкую аудиторию, дает Фрейду, не принужденному в силу своего возраста к обязательному преподаванию в Университете, возможность привлечь интерес публики и ее благосклонность.

Фрейд посвящает аудиторию в тайны психоанализа, раскрывает суть человеческих неврозов, страхов, фантазий и обнажает скрытые стенания человеческой сексуальности. Говоря о сложных психических структурах, Фрейд часто прибегает к метафоре и обыгрывает их в ролях живых существ, имеющих свои намерения, цели и особенности поведения. В таком виде он и создал свой труд, предупредив читателя о том, что в нем он найдет немногое из того, что было бы ему неизвестно из других, более подробных публикаций. Он явно скромничал, поскольку сам предложил ранее никем не использованные до него подходы (в частности, по этимологии страха), благодаря

которым «Лекции по введению в психоанализ» нашли достаточно широкий отклик и были переведены на множество языков. Так, две тысячи экземпляров на русском языке были проданы в Москве в течение месяца. В конце 1910-х годов психоанализ в России пользовался большой популярностью. И в начале 30-х Фрейд пишет новый цикл лекций по психоанализу. Правда, на это его подвигло также безвыходное финансовое положение немецкого издательства «Verlag», одним из директоров которого он был: «Конечно, эта работа делается более для нужд "Verlag", нежели ради какой-либо надобности с моей стороны, но человеку всегда следует чем-нибудь заниматься, в чем его могут прервать, — это лучше, чем опускаться в состояние лени». В этой серии лекций он дал новое определение структуры человеческой личности. Если раньше он считал, что психическая жизнь состоит из бессознательного, предсознательного и сознательного, то теперь он предложил модель из Сверх-Я, Я и Оно, где Оно — примитивная часть личности человека, Я — посредник между внешней средой и ответными реакциями организма, и Сверх-Я — источник моральных и религиозных чувств, некий сдерживающий фактор. Фрейд пояснял, что новые лекции ни в коей мере не заменяют предыдущие, а лишь продолжают и дополняют ранние из них. Он разделил их на три группы, относя к первой те, в которых вновь разрабатываются темы, уже обсуждавшиеся в свое время, но требующие другого изложения, или, как признавался Фрейд, критического пересмотра по причине углубления исследовательских взглядов и изменения воззрений. Две другие же группы включили, собственно, более обширный материал, где рассматриваются случаи, которых либо вообще не существовало в то время, когда читались первые лекции по психоанализу, либо их было слишком мало, чтобы выделить в особую главу. Фрейд предупреждал, что «профессиональному аналитику они дадут мало нового, а обращаются к той большой группе образованных людей, которые могли бы проявить благосклонный, хотя и сдержанный интерес к своеобразию и достижениям молодой науки». На этот раз Фрейд отказался от стремления к кажущейся простоте, полноте и законченности, а избрал иной путь: не скрывать проблем, не отрицать пробелов и сомнений. «От психологии как будто требуют не успехов в познании, а каких-то других достижений; ее упрекают в любой нерешенной проблеме, в любом откровенно высказанном сомнении, — говорит Фрейд. — Кто любит науку о жизни души, тот должен примириться и с этой несправедливостью».

Работа Фрейда «Психология масс и анализ Я» вышла в свет в 1921 году, когда автору было 65 лет. С присущей ему самокритичностью он говорил, что не считает книгу особенно удачной и намечает в ней только путь от анализа индивида к изучению общества. Будучи увлечен своей теорией и раскрытием тайн индивидуального бессознательного, Фрейд тем не менее долгие годы оставался в стороне от вопросов, касающихся психологии общества. Вызов был брошен самим временем. Революция в царской России, Первая мировая война, перекройка социальных строев и устоев, нарастающий интерес к пониманию общественных процессов сподвигли Фрейда выразить свое мнение относительно психологии, отвечая тем самым на запрос общества. В данной работе Фрейд пытается ответить на вопрос, каким образом изменения в психике индивида могут повлиять на психологию толпы и как массы меняют индивида. Возможно, что еще одной из причин, заставивших Фрейда обратиться к этой теме, стал незадолго до этого открытый им феномен человеческой психики — влечение к смерти, или инстинкт смерти. Осознание этого феномена было своего рода потрясением для Фрейда. Вопрос, как далеко общество может зайти, поддавшись разрушительному инстинкту, не переставал мучить автора до конца жизни. Как и любой другой труд Фрейда, книга «Психология масс и анализ Я» оказала огромное влияние на дальнейшие исследования и новые концепции в области психологии, психотерапии, а также философии и социологии.

«Будущее одной иллюзии», пожалуй, один из самых драматичных по эмоциональности и содержанию трудов Фрейда. В нем Фрейд оставляет несколько в стороне свою психологическую концепцию о сексуальных влечениях и выводит на первый план новые, противоположные по сути, идеи о влечении к смерти и разрушению.

В данной книге Фрейд затрагивает проблемы цивилизации с ее стремлением создавать материальные блага для удовлетворения своих потребностей и с необходимостью устанавливать правила и запреты, нужные для урегулирования человеческих взаимоотношений. В своих наблюдениях и размышлениях Фрейд противопоставляет цивилизованному обществу личность — индивидуума, стремящегося к разрушительным и антиобщественным позывам, определяющим поведение многих людей. В поисках решения Фрейд бросает вызов религии и взывает к культурным ограничениям, способным примирить чело-

века с цивилизацией. Данный труд является наиболее поздней работой Фрейда, написанию которой предшествовала череда личных сложностей и жизненных проблем, изложенных в биографической книге Эрнеста Джонса «Жизнь и творения Зигмунда Фрейда». В конце 30-х годов прошлого века в Соединенных Штатах широко распространилась информация о том, что Фрейд радикально изменил свои взгляды на практику психоанализа, — что его глубоко возмутило своей необоснованностью и искажением истинного высказывания. Издательская фирма «Verlag», которая была дорога его сердцу, находилась на грани банкротства.

Здоровье его тоже заметно ухудшалось. Фрейд признавался, что «находит жизнь ради здоровья непереносимой». В 1927 году Фрейдом были написаны три литературных произведения, по поводу которых он меланхолически заметил: «Вероятно, за этим ничего не последует».

И в том же году он опубликовал свою книгу «Будущее одной иллюзии». Эта книга породила множество едких дискуссий. Его бывший ученик, отступник Ференци, написал, умаляя значимость этой книги, следующее: «Теперь она кажется мне почти детской; в сущности, я думаю по-другому; я считаю эту книгу слабо написанной аналитически и неадекватной как исповедь». Однако в то время в Англии поднялось много споров на религиозные темы, начиная с толкования епископом Бирмингема антропологического происхождения веры в пресуществление.

Таким образом, встав на рискованный путь критики религии, Фрейд понимал значимость будущих толкований его труда, в котором он не только предвидел грядущие изменения в обществе, но и предостерегал от радикальных решений.

Обширное эссе «Достоевский и отцеубийство» было опубликовано в 1928 году. По воспоминаниям Эрнеста Джонса, за два года до этого Фрейд был приглашен написать психологическое введение к учебному тому «Братьев Карамазовых», который издавали Ф. Экстейн и Ф. Фюлоп-Миллер. Он начал работать над текстом весной 1926 года, но затем отвлекся на создание заказанной ему брошюры. Потом в руки Фрейду попал очерк И. Нейфельда, опубликованный издательством «Verlag», где говорилось многое из того, что сам Фрейд хотел написать об этой книге с точки зрения подходов психоанализа. Однако, заказчики настаивали, чтобы Фрейд закончил работу, и посылали ему книгу за книгой, включая всю переписку Достоевского. В итоге в начале 1927 года эссе было написано. Оно явилось по-

следним и наиболее значимым вкладом Фрейда в психологию литературы. Ученый исключительно высоко ценил дарования Достоевского. Фрейд говорил о нем: «Как писатель-творец он почти не уступает Шекспиру. Книга “Братья Карамазовы” является величайшим из всех романов, которые когда-либо были написаны, а эпизод с Великим инквизитором является одним из наивысших достижений мировой литературы, значение которого почти невозможно переоценить». Но в Достоевском-человеке Фрейд был явно разочарован: вместо того, чтобы вести человечество к лучшей жизни, писатель сделался обычным реакционером.

В своем эссе ученый заметил, что отнюдь не случайно три шедевра мировой литературы написаны на тему отцеубийства: «Царь Эдип» Софокла, «Гамлет» Шекспира и «Братья Карамазовы» Достоевского. Он оставил интересные замечания о личности Достоевского, о его истерико-эпилептических припадках, страсти к игре в карты, и, самое важное — о разных типах добродетели, которые почерпнул из множества типов характеров, показанных Достоевским в романе.

Теодор Райк откликнулся на эссе Фрейда большой, хорошо продуманной рецензией, указал на некоторые недочеты учителя. Интересно, что в ответном письме Райку Фрейд, согласившись со многими высказанными замечаниями коллеги, заметил: «Вы правы, предполагая, что на самом деле я не люблю Достоевского, несмотря на все мое восхищение его глубиной и превосходством. Вероятно, это происходит потому, что мое терпение к патологическим натурам истощается в проводимых мною анализах. В искусстве и в жизни я их не переношу. Это моя личная характерная черта, которая не обязательно способствует справедливой оценке других людей». Слышимая в словах Фрейда раздраженность позволяют разглядеть некую претензию, которую он негласно предъявляет Достоевскому как писателю и личности. Он также небезосновательно замечает, что так называемая эпилепсия Федора Михайловича, возможно, носила истерический, аффективный или подражающий характер. Этот вывод Фрейд делает не только на основе истории жизни писателя, но и на факте его интеллекта и высокого творческого потенциала. Примечательно, что сам Достоевский, описывая свои состояния, говорил, что они напоминали падучую, но ею не являлись. Оставив в стороне болезненные проявления писателя, Фрейд тем не менее не старался проявить снисхождения к Достоевскому, при том что, в отличие от детства Достоевского, детство Фрейда было куда более благополучным,

а отец последнего был мягок и добр. Но было бы несправедливо считать, что Фрейд слишком жесток в своей оценке личности Достоевского. В те годы ученый был единственным психоаналитиком, подвергшим себя самого честному, изобличительному самоанализу. Он открыто говорил о своих личных неврозах и комплексах, берущих начало из его раннего детства. И в чем нельзя обвинить Фрейда, так это в предвзятости и бессердечности. Возможно, такое строгое отношение к Достоевскому было обусловлено тем, что Фрейд предъявлял к нему те же требования, что и к самому себе, видя в нем равного.

Сразу же после выхода в свет «Толкования сновидений» в 1900 году, Фрейд написал более сжатую и доступную версию своей теории снов. Труд Фрейда о снах по праву считается его самой важной и оригинальной работой, несущей абсолютно новые и неожиданные заключения о структуре сновидений и природе бессознательного. Как отзывался о своей теории снов сам Фрейд, «подобное прозрение выпадает на долю человека лишь раз в жизни». Эрнест Джонс вспоминал, что очень многие сходились в общем мнение: «Благодаря этому труду имя Фрейда будет помниться дольше всего». Биографические описания указывают, что интерес Фрейда к сновидениям восходит к его детству; ему часто снились сны, и первое время он даже записывал их. Уже в зрелом возрасте он признавался своей будущей жене Марте в одном из писем: «Мне снятся такие буйные сновидения. Мне никогда не снились те дела, которые занимали меня в течение дня, а лишь такие, которых я мельком касался в течение дня, а затем переходил к другим делам». Позднее это легло в основу теории Фрейда о сновидениях. Начав их исследовать, ученый придавал каждому огромное значение, но сам способ обдумывания сновидений был еще не профессиональным, а достаточно условным. Историческим моментом считается 24 июля 1895 года, когда Фрейд в ходе первого полного анализа одного из своих сновидений, известного как «Сон об инъекции Ирме», подтвердил свою догадку о том, что осуществление скрытого желания является сущностью сновидения. Вдохновленный открытием, Фрейд полушутливо спросил своего лучшего друга Флисса, не думает ли тот, что когда-нибудь в ресторане замка Бельвю, где произошло это событие, будет водружена мраморная доска со следующей надписью: «Здесь 24 июля 1895 года доктору Зигмунду Фрейду открылась тайна сновидения».

Отсылая рукопись «Толкование сновидений» в типографию, Фрейд чувствовал, что расставался с частицей самого себя.

Однако спустя шесть месяцев он писал, что в течение многих часов для него было утешением думать о том, что этой книгой он оставит по себе память. Правда, вначале его ожидало тяжелое разочарование. Было напечатано только 600 экземпляров книги, и чтобы их продать, потребовалось восемь лет. Спустя полтора года после выхода книги в частном письме Фрейд с грустью заметил, что ни одно научное периодическое издание не упомянуло об этой книге. Она просто игнорировалась. Кроме того, в одной из венских газет появился презрительный обзор работы Фрейда, написанный Буркхардтом, бывшим директором Бург-театра, спустя шесть недель после появления его книги, что положило конец покупке его книги в Вене. На фоне молчания звучали и уничижительные оценки. Так, Вильгельм Штерн, физиолог, заявил об опасности того, что «некритичным умам понравится присоединиться к этой вольной игре идей и они закончат полнейшим мистицизмом и хаотической произвольностью», а профессор Липманн, тоже из Берлина, смог лишь заметить, что «в этой книге образные мысли художника взяли верх над мыслями научного исследователя». Спустя много лет, в 1927 году, профессор Хохе из Фрайбурга в своей книге «Грезящее Я» поставил теорию сновидений Фрейда в своей последней главе о «Мистицизме во время сна» на одну доску с вещими сновидениями и с «хорошо известными сонниками, которые можно найти в столах у кухарок». Фрейду пришлось ждать десять лет с момента выхода его книги, пока наконец общественность не поняла важности его труда. Тогда сразу появилось второе издание, а к 1929 году их уже было восемь. Первые переводы этой книги были сделаны на английский и русский языки (оба в 1913 году). Затем последовали переводы на испанский (1922), французский (1926), шведский (1927), японский (1930), венгерский (1934) и чешский (1938). Книга «Толкование сновидений» и ее краткая версия «О сновидении» стали заслуженно мировым научным достоянием.

Эдуард Марон,
психиатр-консультант, профессор психиатрии
Тартуского Университета,
почетный лектор Имперского
колледжа Лондона

Лекции по введению в психоанализ

Перевод *А. Боковикова*

Первая лекция

Введение

Уважаемые дамы и господа! Я не знаю, как много отдельные из вас знают из прочитанного или понаслышке о психоанализе. Однако буквальное заявленное мною название — «Элементарное введение в психоанализ» — обязывает меня обращаться с вами так, как если бы вы вообще ничего не знали и нуждались в первых наставлениях. Но, насколько я вправе предположить, вам известно, что психоанализ — это метод лечения нервнобольных, и я тут же могу привести вам пример того, что в этой области кое-что делается по-другому, зачастую прямо-таки в противоположность тому, что принято в медицине. Обычно, когда больного начинают лечить с помощью нового врачебного метода, то, как правило, стараются принизить перед ним трудности этого метода и дают ему обнадеживающие обещания по поводу успеха лечения. Я думаю, что мы так поступаем правильно, ибо подобным образом действий повышаем вероятность успеха. Но если мы беремся за психоаналитическое лечение невротика, то ведем себя по-другому. Мы указываем ему на трудности метода, его длительность, большие усилия и жертвы, которых он потребует, что же касается успеха, то говорим, что не можем ему с полной уверенностью его обещать, этот успех будет зависеть от его поведения, его понимания, его уступчивости, его выдержки. Разумеется, у нас есть веские основания для такого внешне совершенно противоположного поведения, которые, возможно, чуть позже вам станут понятными.

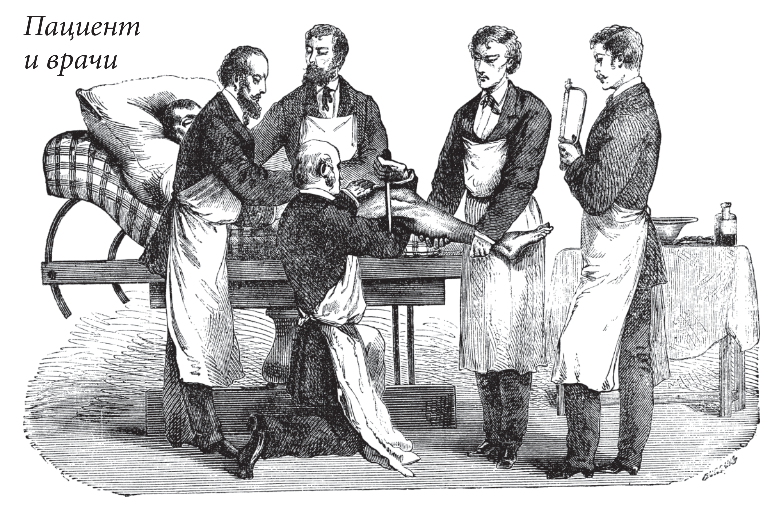
Нужно признать, что данное предостережение справедливо фактически для всех психоаналитических и психотерапевтических методов. Клиническая практика показывает, что пациенты с острой или тяжелой симптоматикой (депрессия, психоз) на острых стадиях болезни могут весьма плохо реагировать на психологические методы помощи в силу непонимания, критики и нарушения восприятия. С момента зарождения психоанализ часто подвергался жесткой критике и нередко обвинялся

в шарлатанстве из-за отсутствия быстрого и явного результата. Но специфика психиатрических расстройств в том и заключается, что результат требует длительного и повторного воздействия, будь то терапия словом, делом или таблеткой. И тем не менее на сегодняшний день является абсолютно бесспорным тот факт, что психологические методы играют важную, а порой незаменимую роль в клинической практике.

Не сердитесь, если на первых порах я буду вести себя с вами так, как с этими невротическими больными. Собственно говоря, я бы и не советовал вам приходить во второй раз меня слушать. С этой целью я расскажу вам, какие несовершенства неизбежно связаны с преподаванием психоанализа и какие трудности противостоят обретению собственного суждения. Я вам покажу, почему все ваше прежнее образование и все привычки вашего мышления должны неизбежно сделать вас противниками психоанализа и в какой мере вам потребовалось бы их преодолеть, чтобы справиться с этой инстинктивной неприязнью. Конечно, я не могу заранее вам сказать, насколько вам станет понятным из моих сообщений психоанализ, но могу обещать, что, прослушав их, проводить психоаналитическое исследование или лечение вы не научитесь. Но даже если бы я нашел среди вас того, кто не удовлетворился беглым знакомством с психоанализом и захотел бы вступить с ним в длительные отношения, то я не только не стал бы этого советовать, но и напрямую его бы предостерег. В соответствии с тем, как обстоит дело сегодня, избрав такую профессию, он лишил бы себя всякой возможности добиться успеха в университете, а если он вступает в жизнь в качестве практикующего врача, то он окажется в обществе, которое не поймет его устремлений, будет смотреть на него враждебно и с недоверием и натравит на него всех затаившихся в нем злых духов. Наверное, как раз из явлений, которыми сопровождается свирепствующая сегодня в Европе война, вы сможете приблизительно оценить, сколько может быть таких легионов.

Впрочем, существует довольно много людей, для которых все, что может стать новой частицей знания, сохраняет свою привлекательность, несмотря на подобные неудоб-

Пациент и врачи



ства. Если же некоторые из вас относятся к этой категории и, пренебрегши моими отговорами, в следующий раз они здесь снова появятся, то я буду рад их приветствовать. Но все вы имеете право узнать, в чем состоят указанные трудности психоанализа. Прежде всего — это трудность преподавания психоанализа, обучения ему. Во время занятий по медицине вас приучили видеть, вы видите анатомический препарат, осадок при химической реакции, сокращение мышцы как результат раздражения ее нервов. Позднее вашим органам чувств показывают больного, симптомы его недуга, продукты болезненного процесса, более того, в многочисленных случаях — возбудителя болезни в изолированном состоянии. В хирургических специальностях вы становитесь свидетелями вмешательств, благодаря которым больному оказывают помощь, и вы сами можете попробовать это осуществить. Даже в психиатрии перед вами проводят демонстрацию больного, вы наблюдаете его изменившуюся мимику, его манеру говорить и его поведение, что производит на вас глубокое впечатление. Таким образом, преподаватель медицины выступает преимущественно в роли экскурсовода и комментатора, который сопровождает вас по музею, в то время как вы вступаете в непосредственную связь с объектами и благодаря собственному

восприятию убеждаетесь в существовании новых фактов. К сожалению, совершенно иначе обстоит дело в психоанализе. В аналитическом лечении не происходит ничего иного, кроме обмена словами между анализируемым и врачом. Пациент говорит, рассказывает о прошлых переживаниях и нынешних впечатлениях, жалуется, признается в своих желаниях и эмоциональных побуждениях. Врач слушает, пытается управлять ходом мыслей пациента, увещевает, определенным образом направляет его внимание, дает ему разъяснения и наблюдает реакции понимания или отвержения, которые он вызывает у больного. Необразованные родственники наших больных — которым импонирует только явное и осязаемое, а больше всего действия, подобные тем, которые можно увидеть в кинотеатре, — никогда также не упустят случая поделиться своими сомнениями: «Разве это возможно — простыми разговорами сделать что-то с болезнью?» Разумеется, эта мысль столь же недальновидна, как и непоследовательна. Ведь это те же самые люди, которые определенно знают, что больные «просто воображают» свои симптомы. Первоначально слова были магией, и слово еще и сегодня сохранило очень многое от своей былой чудодейственной силы. Словами один человек может осчастливить другого или повергнуть его в отчаяние, с помощью слов учитель переносит свое знание на учеников, словами оратор увлекает за собой собрание слушателей и определяет их суждения и решения. Слова вызывают аффекты и являются общим средством людей влиять друг на друга.

Аффект (лат. affectus — страсть, душевное волнение) — эмоциональный процесс взрывного типа, характеризующийся кратковременностью и высокой интенсивностью, сопровождающийся резко выраженными двигательными проявлениями и изменениями в работе внутренних органов. Аффекты отличают от эмоций, чувств и настроений. Аффект, как и любой другой эмоциональный процесс, представляет собой психофизиологический процесс внутренней регуляции деятельности и отражает бессознательную субъективную оценку текущей ситуации.

Не будем поэтому пренебрежительно относиться к использованию слов в психотерапии и будем довольны, если сможем услышать слова, которыми обмениваются аналитик и его пациент. Но и этого мы сделать не можем. Разговор, в котором состоит психоаналитическое лечение, не допускает присутствия слушателей; его нельзя продемонстрировать. Конечно, неврастеника или истерика можно представить учащимся во время психиатрической лекции. Тот расскажет о своих жалобах и симптомах, но ни о чем другом. Сообщения, которые требуются анализу, он сделает лишь при условии особой эмоциональной связи с врачом; он тут же замолкнет, как только заметит одного-единственного индифферентного ему наблюдателя. Ибо эти сообщения затрагивают самое сокровенное в его душевной жизни, все то, что он как социально самостоятельный человек должен скрывать от других, а в дальнейшем — все то, в чем он как целостная личность не хочет признаться себе самому. Поэтому вы не можете непосредственно слышать, как проводится психоаналитическое лечение. Вы можете только услышать о нем и познакомиться с психоанализом в строгом значении слова лишь понаслышке. Вследствие такой информации, полученной, так сказать, из вторых рук, вы оказываетесь в совершенно непривычных условиях для формирования собственного суждения. Очевидно, что очень многое зависит от того, насколько вы можете доверять человеку, который об этом рассказывает. Представьте теперь себе, что вы пришли на лекцию не по психиатрии, а по истории, и выступающий рассказал вам о жизни и ратных подвигах Александра Великого.

Речь идет об Александре Македонском, полководце, создателе мировой державы, распавшейся после его смерти. В западной историографии более известен как Александр Великий.

Битва при Иссе (333 до н.э.), о которой речь пойдет ниже, состоялась между македонской армией Александра Великого и персидским войском царя Дария в Киликии (Малая Азия). После победы при Иссе Александр покорил все восточное побережье Средиземного моря, включая Финикию, Палестину и Египет.

Выбор Македонского для примера обособлен, скорее всего, его масштабностью в истории и личной симпатией Фрейда. В детстве Фрейд грезил древними полководцами, мечтая стать великим, как они. На семейном совете, когда принималось решение, как назвать младшего мальчика, прошло предложение Зигмунда дать брату имя Александр, но прежде ему потребовалось подробно пересказать всю историю великих побед Александра Македонского, описывая его щедрость и воинские доблести.

Какие были бы у вас мотивы верить в правдоподобие его сообщений? Вначале дело, похоже, обстоит еще более неблагоприятно, чем в случае психоанализа, ибо профессор истории столь же мало был участником военных походов Александра, как и вы; психоаналитик же, по крайней мере, рассказывает вам о вещах, в которых он сам играл некую роль. Но затем наступает черед того, что заставляет вас поверить историку. Он может отослать вас к сообщениям древних писателей, которые либо сами жили в то время, либо хотя бы ближе находились к данным событиям, то есть к книгам Диодора, Плутарха, Арриана и др.; он может представить вам изображения сохранившихся монет и статуй царя и пустить по рядам фотографию помпейской мозаики битвы при Иссе. Строго говоря, все эти документы доказывают лишь то, что уже более ранние поколения верили в существование Александра и в реальность его дел, и вы снова могли бы выразить здесь свою критику. Затем вы обнаружите, что не всё, что рассказывалось об Александре, правдоподобно или детально установлено, но я все же не могу допустить, что вы покинете лекционный зал, сомневаясь в реальности Александра Великого. Ваше решение будет определяться главным образом двумя рассуждениями: во-первых, что у выступающего, скорее всего, нет мотива выдавать вам за реальное нечто, во что он и сам не верит, и, во-вторых, что все доступные книги по истории изображают события примерно одинаково. Если затем вы приступите к проверке более древних источников, вы будете принимать во внимание те же моменты — возможные мотивы авторитетных

лиц и согласованность между собой свидетельств. В случае Александра результат проверки наверняка окажется успокоительным, но, вероятно, он будет иным, если речь пойдет о таких личностях как Моисей или Нимрод. Но сколько у вас может возникнуть сомнений в правдивости докладчика-психоаналитика, вам станет вполне понятно в дальнейшем. Тут вы будете вправе задать вопрос: «Если в психоанализе не существует объективных свидетельств и нет возможности их продемонстрировать, как можно вообще изучить психоанализ и убедиться в истинности его утверждений?» Изучать психоанализ и в самом деле непросто, и не так много людей по-настоящему его изучили, но, разумеется, приемлемый путь все-таки существует. Психоанализ изучают прежде всего на самом себе, через исследование собственной личности. Это не совсем то, что называют самонаблюдением, но в крайнем случае можно назвать и так. Существует целый ряд очень часто встречающихся и очень известных душевных феноменов, которые сами по себе после некоторого обучения технике можно сделать предметом анализа. При этом приобретается искомая убежденность в реальности процессов, которые описывает психоанализ, и в правильности его трактовок. Однако успехи на этом пути имеют определенные рамки. Намного дальше удается пройти, если позволяешь проанализировать самого себя опытному аналитику, переживаешь на собственном Я воздействие анализа и при этом используешь возможность перенять у другого более тонкую технику *метода*.

Здесь Фрейд отсылает к своему опыту самоанализа. Во время зарождения психоанализа и его ответвлений Фрейд был первым и единственным, кто подверг себя самоанализу, никто из его учеников и критиков на такое не решился. Фрейд нередко им это напоминал во время их нападок в свой адрес, намекая, небезосновательно, что имеется огромная пропасть в понимании психоанализа между теоретиками и практиками. Именно самоанализ, по убежденности Фрейда, наделяет психоаналитика верным пониманием и отточенностью методов.

Разумеется, этот превосходный способ доступен всегда только отдельному человеку, но никогда — всему курсу. Во второй трудности вашего отношения к психоанализу я уже не могу винить последний, а должен возложить ответственность на вас самих, уважаемые слушатели, во всяком случае, на ваши прежние занятия медициной. Ваше первоначальное образование задало определенное направление вашей мыслительной деятельности, которое далеко отходит от психоанализа. Вы приучены анатомически обосновывать функции организма и их нарушения, химически и физически их объяснять и биологически понимать, но ни малейшая часть вашего интереса не была направлена на психическую жизнь, в которой, однако, достигает вершины деятельность этого удивительно сложного организма. Поэтому психологический образ мышления остался для вас чуждым, и вы привыкли относиться к таковому с недоверием, оспаривать у него характер научности и оставлять его дилетантам, поэтам, натурфилософам и мистикам. Несомненно, это ограничение наносит вред вашей врачебной деятельности, ибо вначале больной, как это обычно бывает во всех человеческих отношениях, будет показывать вам свой душевный фасад, и я опасаюсь, что в качестве наказания часть терапевтического влияния, к которому вы стремитесь, достанется столь презираемым вами врачам-дилетантам, знахарям и мистикам. Я понимаю, чем можно оправдать этот недостаток вашего образования. Отсутствует философская вспомогательная наука, которая могла бы оказаться полезной для достижения ваших врачебных намерений. Ни спекулятивная философия, ни дескриптивная психология или опирающаяся на физиологию органов чувств так называемая экспериментальная психология, которые изучаются в школах, не способны сообщить вам что-либо пригодное об отношении между телесным и душевным и дать вам в руки ключ к пониманию возможного нарушения душевных функций.

Дескриптивная психология (*от англ.* descriptive — описательный, наглядный и *греч.* psyche — душа + logos — учение) —

ряд направлений объяснительной психологии. В противоположность экспериментальной психологии, здесь делалась попытка описать и понять психологические феномены сами по себе, не редуцируя их к внепсихологическим явлениям.)

Экспериментальная психология — общее обозначение всех видов научно-психологических исследований, осуществляемых посредством различных экспериментальных методов.

Правда, в медицине психиатрия занимается описанием наблюдаемых душевных расстройств и составлением клинических картин болезни, однако время от времени сами психиатры сомневаются в том, заслуживают ли их чисто описательные построения именоваться наукой. Симптомы, которые составляют эти картины болезни, по своему происхождению, своему механизму и своей взаимосвязи неизвестны; им либо вообще не соответствуют какие-либо доказуемые изменения анатомического органа души, либо эти изменения таковы, что в них нельзя найти объяснения. Эти душевные нарушения доступны терапевтическому влиянию только тогда, когда их удается признать побочными действиями какого-то иного органического поражения. Здесь существует пробел, который стремится восполнить психоанализ. Он хочет дать психиатрии недостающую психологическую основу, он надеется найти общее основание, исходя из которого станет понятным сочетание телесных и душевных расстройств. Для этой цели он должен избавиться от любой чуждой ему предпосылки анатомического, химического или физиологического характера, работать исключительно с чисто психологическими вспомогательными понятиями, и именно поэтому, как я опасаюсь, в настоящий момент он покажется вам чужеродным. К следующей трудности я не хочу делать причастным вас, ваше первоначальное образование или установку. Двумя своими положениями психоанализ оскорбляет весь мир и навлекает на себя его отвержение; одно из них наталкивается на интеллектуальное, а другое — на эстетико-моральное предубеждение. Нам не стоит недооценивать эти предубеждения; это могущественные вещи, осадки полезного, более того, вынужденного

развития человечества. Они поддерживаются аффективными силами, и бороться с ними трудно. Первое из этих неприятных утверждений психоанализа гласит, что сами по себе душевные процессы бессознательны, а сознательны лишь отдельные акты и компоненты душевной жизни в целом.

Бессознательное — совокупность психических процессов и явлений, не входящих в сферу сознания субъекта (человека), т.е. в отношении которых отсутствует контроль сознания.

Сознательное же — это отражение предметной действительности в ее отделенности от наличных отношений к ней субъекта, т.е. отражение, выделяющее ее объективные устойчивые свойства. В психологии бессознательное обычно противопоставляется сознательному, однако в рамках психоанализа бессознательное и сознательное рассматриваются как понятия разного уровня: многое из того, что относится к двум другим структурам психики (Я и Сверх-Я), также отсутствует в сознании.

Вспомните, что мы, напротив, приучены отождествлять психическое и сознательное. Сознание считается нами прямо-таки определяющей характеристикой психического, а психология — учением о содержаниях сознания. Более того, это приравнивание кажется нам настолько само собой разумеющимся, что возражение против него воспринимается нами как явная бессмыслица, и все же психоанализ не может не выдвинуть этого возражения и не может признать тождество сознательного и душевного. Его определение душевного гласит, что последнее — это некие процессы чувствования, мышления и желания, и психоанализ призван отстаивать наличие бессознательного мышления и бессознательного желания. Но тем самым он сразу теряет симпатию всех друзей рассудочной научности и навлекает на себя подозрение в том, что является фантастическим тайным учением, которому хочется бродить в потемках, ловить рыбу в мутной воде. Но, уважаемые слушатели, разумеется, вы не можете пока понять, с каким правом я могу

отнести столь абстрактный по своему характеру тезис, как: «Душевное — это сознательное» к предубеждениям, не можете также догадаться, к чему может привести отрицание бессознательного, если таковое должно существовать, и какая выгода получалась при таком отрицании. Наверное, это выглядит как пустой словесный спор, можно ли приравнивать психическое к сознанию или оно должно выходить за него, и все же я могу вас уверить, что с признанием наличия бессознательных душевных процессов открывается путь к важнейшей переориентации в мире и в науке. Точно так же вы едва ли догадываетесь, насколько тесно это первое смелое утверждение психоанализа связано со вторым, которое теперь нужно будет упомянуть. Итак, этот другой тезис, который психоанализ заявляет в качестве одного из своих результатов, содержит утверждение, что импульсы влечения, которые можно обозначить лишь как сексуальные в узком, равно как и в широком смысле, играют необычайно важную и никогда раньше не получавшую должной оценки роль в возникновении нервных и душевных болезней. Более того, что эти же сексуальные побуждения вносят вклад, который нельзя недооценивать, в наивысшие культурные, художественные и социальные творения человеческого духа.

Влечение — одно из центральных понятий теории психоанализа (в составе так называемой теории драйвов). Это — стремление к удовлетворению неосознанной или слабо осознанной потребности и потому первоисточник любого психического движения и поведения. При этом недостаточность сознательного контроля обусловлена тем, что осознание связи предмета и эмоционального отклика на него подвергается «цензуре» по критерию соответствия образу «Я», что может включать механизмы психологической защиты (адаптации). Согласно Фрейду, влечение происходит из внутренних источников раздражения, оно создает психологическое напряжение, которое и действует как сила, ориентированная на устранение источника возбуждения; потому это понятие служит для отграничения душевного от телесного.

Предложенная Фрейдом сначала в виде догадки, а позже сформированная им как фундаментальная концепция, теория о бессознательной, тайной стороне человеческой психики, которая, по сути, является причиной всех человеческих мотивов, желаний, фантазий и поступков, несомненно стала его величайшим, революционным открытием. Однако одна из претензий к Фрейду со стороны последователей, критиков и ненавистников заключается в его якобы примитивном сведении всех психических процессов и нарушений к сексуальным влечениям. Такая трактовка теории Фрейда крайне одностороння. Фрейд действительно придавал сексуальной энергии ведущую роль в жизни человека, но ни в коем случае не ограничивался лишь ею, что стало удобно ему приписывать. В конечном итоге фиксация на сексуальных влечениях как на первопричинах не являлась открытием. Достаточно обратиться, например, к философии и культуре Древней Индии, а также к эзотерическим учениям, которые позиционируют сексуальную энергию в роли основополагающей для физического, духовного и творческого развития человека.

По моему опыту, неприятие этого результата психоаналитического исследования является важнейшим источником сопротивления, на которое он натолкнулся. Хотите ли вы знать, как мы себе это объясняем? Мы считаем, что культура создавалась под влиянием жизненной необходимости в ущерб удовлетворению влечений и большей частью она постоянно воссоздается, поскольку отдельный человек, который вновь вступает в человеческое сообщество, повторяет жертву, поступаясь удовлетворением влечений в пользу общества. Среди используемых таким образом энергий влечения энергии сексуальных побуждений играют важную роль; при этом они сублимируются, то есть отклоняются от своих сексуальных целей и направляются на социально более высокие цели, теперь уже не сексуальные. Но эта конструкция лабильна, сексуальные влечения плохо поддаются укрощению; для каждого отдельного человека, который хочет присоединиться к культурной работе, существует опасность того, что его сексуальные влечения воспротивятся такому использованию. Общество не видит большей угрозы для

своей культуры, чем освобождение сексуальных влечений и их возврат к своим первоначальным целям. Поэтому обществу не нравится, когда ему напоминают об этом деликатном моменте его возникновения, оно совершенно не заинтересовано в том, чтобы признать силу сексуальных влечений и прояснить значение сексуальной жизни для отдельного человека; больше того, в воспитательных целях оно стремится отвлечь внимание от всей этой области. Поэтому оно не терпит указанного результата исследований психоанализа, ему хочется больше всего заклеймить его как отвратительный в эстетическом отношении, морально предосудительный или даже опасный. Однако такими выпадами нельзя опровергнуть выдаваемый за объективный результат научной работы. Возражение, если оно должно прозвучать громко, должно быть перенесено в интеллектуальную область. Но в природе человека заложено то, что он склонен считать что-либо неверным, если ему это не нравится, и тогда очень легко найти против него аргументы. Стало быть, общество делает не нравящееся неверным, оспаривает истины психоанализа с помощью логических и объективных аргументов, но взятых из аффективных источников, и придерживается этих возражений в качестве предубеждений в ответ на все попытки опровержения. Но, уважаемые дамы и господа, мы смеем утверждать, что, выдвигая тот оспариваемый тезис, не преследовали вообще никакого намерения. Мы всего лишь хотели выразить настоящее положение вещей, которое, как мы полагали, выявили благодаря упорной работе. Мы и теперь настаиваем на праве категорически отклонять вмешательство в научную работу из таких практических соображений, даже если раньше исследовали, оправданно или нет опасение, диктующее нам подобную осмотрительность. Таковы некоторые из трудностей, которые препятствуют тому, чтобы вы занялись психоанализом. Для начала, пожалуй, этого более чем достаточно. Если вы сумеете справиться с неблагоприятным от них впечатлением, то мы сможем продолжить.

Шестнадцатая лекция
Психоанализ и психиатрия

Уважаемые дамы и господа! Я рад видеть вас снова после годичного перерыва и продолжить наши дискуссии. В прошлом году я представил вам психоаналитическую трактовку ошибочных действий и сновидений; нынче я хотел бы ознакомить вас с пониманием невротических явлений, которые, как вы обнаружите вскоре, и с теми, и с другими имеют много общего. Но я скажу вам заранее, что на этот раз не смогу позволить вам занимать по отношению ко мне такую же позицию, как в прошлом году. Тогда для меня было важно не делать ни одного шага, не согласовав его с вашим суждением; я много с вами дискутировал, считался с вашими возражениями и, собственно, признавал вас и ваш «здравый смысл» решающей инстанцией. Дальше так продолжаться не может, а именно в силу одного простого обстоятельства. Ошибочные действия и сновидения как феномены не были вам чужды; можно было сказать, вы обладали таким же большим опытом, как и я, или легко могли приобрести столь же опыта.

Ошибочные действия — часто встречающиеся и мало привлекающие к себе внимание явления, которые наблюдаются у любого здорового человека и которые он воспринимает как досадную случайность, недоразумение. В классическом психоанализе они являются объектом исследования, свидетельствующим о действенности бессознательных процессов в душевной жизни человека.

З. Фрейд различал три группы ошибочных действий. К первой группе он относил оговорки, описки, очитки, ослышки. Ко второй — такие явления, в основе которых лежит временное забывание имен и выполнение обещаний. К третьей — запрятывание, затеривание предметов, а также ошибки-заблуждения, когда на какое-то время человек верит тому, о чем он знает, что это не соответствует действительности.

Для психоаналитика ошибочные действия — это полноценные психические акты. Они имеют смысл, т.е. обла-

дают определенным значением и включают в себя конкретное намерение. Более того, нередко ошибочные действия по сути дела совершенно правильны. Другое дело, что они возникают вместо другого предполагаемого или ожидаемого действия. Как бы там ни было, ошибочные действия дают ценный материал, который изучается методами психоанализа.

Однако область проявлений неврозов вам незнакома; поскольку сами вы не врачи, у вас нет иного доступа туда, кроме моих сообщений, и чем поможет самое лучшее суждение, если обсуждаемый материал при этом незнаком. Но не воспринимайте мое заявление так, будто я собираюсь читать вам догматические лекции и требую от вас безусловного доверия. Такое недоразумение было бы по отношению ко мне величайшей несправедливостью. Я не хочу в чем-либо убеждать — я хочу дать некие импульсы разбудить вашу мысль и поколебать предубеждения. Если вследствие незнания материала вы не можете составить собственного суждения, то вы не должны ни веровать, ни отвергать. Вы должны слушать и позволить воздействовать на вас тому, что я вам рассказываю. Убеждения приобретаются не так просто, а если же к ним пришли без малейших усилий, то вскоре оказываются не имеющими никакой ценности и нестойкими. Право на убеждение имеет лишь тот, кто, подобно мне, многие годы работал над одним и тем же материалом и сам испытал при этом те же новые и поразительные переживания. К чему вообще в интеллектуальной области эти поспешные убеждения, молниеносные обращения в другую веру, моментальное отвержение? Разве вы не замечаете, что «coup de foudre», любовь с первого взгляда, приходит из совершенно другой, аффективной, области? Даже от наших пациентов мы не требуем, чтобы они приходили к нам с убежденностью или приверженностью к психоанализу. Это часто даже делает нас к ним подозрительными. Самая желательная для нас установка у них — доброжелательный скепсис.

Попытайтесь и вы спокойно дать вырасти у себя психоаналитическому пониманию наряду с общераспространенным, или психиатрическим, пока не представится случай, когда то и другое смогут повлиять друг на друга, друг с другом помериться и объединиться в одно решение. Но с другой стороны, вы и мгновения не должны полагать, что то, что я представляю вам как психоаналитическую точку зрения, является спекулятивной системой. Напротив, этот опыт — либо непосредственное выражение наблюдения, либо результат его переработки. Осуществлялась ли эта переработка достаточным и правомерным образом, выяснится в ходе дальнейшего развития науки, а по прошествии почти двух с половиной десятилетий и довольно далеко продвинувшись в жизни, смею без хвастовства утверждать, что работа, принесшая эти наблюдения, была особенно тяжелой, интенсивной и углубленной. У меня часто возникало впечатление, будто наши противники вовсе не желали принимать во внимание это происхождение наших утверждений, будто они полагали, что речь идет лишь о субъективно обусловленных идеях, которым любой другой по своему усмотрению может противопоставить свои собственные. Это поведение противников мне не совсем понятно. Возможно, оно объясняется тем, что обычно врачи так безучастны к нервнобольным, так невнимательно слушают то, что они говорят, что лишены возможности вынести из их сообщений что-нибудь ценное, то есть производить над ними тщательные наблюдения. Я обещаю вам по этому поводу, что в своих лекциях не буду много полемизировать, меньше всего — с отдельными людьми. Я не смог убедиться в верности тезиса, что в споре рождается истина. Я думаю, что он происходит от греческой софистики и, как и та, грешит переоценкой диалектики.

Диалектика (*др.-греч.* διαλεκτική — искусство спорить, вести рассуждение) — метод аргументации в философии, а также

форма и способ рефлексивного теоретического мышления, имеющего своим предметом противоречие мыслимого содержания этого мышления.

Мне, напротив, казалось, что так называемая научная полемика в общем и целом неплодотворна, не говоря уже о том, что почти всегда она ведется в высшей степени лично. До недавнего времени и я тоже мог похвалиться, что один раз вступил в настоящий научный спор с одним-единственным исследователем (Лёвенфельдом из Мюнхена). Дело кончилось тем, что мы стали друзьями и остаемся ими по сей день. Но потом долгое время я не повторял этого опыта, потому что не был уверен в подобном исходе.

В 1900–1903 гг. Фрейд ведет активную переписку с мюнхенским психиатром Леопольдом Лёвенфельдом (1847–1923), специализировавшимся в области толкования снов. Начало переписки связано с работой Фрейда над этой тематикой и подготовкой статьи «О сновидении».

Известно также, что Лёвенфельд резко воспринял работу Фрейда «Три очерка по теории сексуальности» (1903), говоря, что это «ужас»…

Вы, несомненно, сочтете, что подобный отказ от литературной дискуссии свидетельствует об особенно большой нетерпимости к возражениям, об упрямстве, или, как выражаются на нашем любезном научном разговорном языке, о «помешательстве». Мне хочется вам ответить, что если вы когда-нибудь приобретете некое убеждение в результате столь тяжелой работы, то и вы получите право с некоторой вязкостью придерживаться этого убеждения. Далее я могу выставить как довод, что в ходе моих работ я модифицировал, изменял свои взгляды по некоторым важным пунктам, заменял их новыми, о чем, разумеется, каждый раз делал публичное сообщение. А результат такой откровенности? Одни вообще не знают о моих самостоятельно внесенных поправках и еще и сегодня критикуют меня за те положе-

ния, которые давно уже утратили для меня прежнее значение. Другие упрекают меня как раз за эти изменения и поэтому объявляют меня ненадежным. И, не правда ли, кто несколько раз поменял свои взгляды, тот вообще не заслуживает доверия, ибо легко допустить, что он мог ошибиться и своими последними утверждениями? Того же, кто твердо держится за однажды высказанное и не так уж быстро позволяет себе от этого отказаться, называют упрямым и помешанным. Можно ли перед лицом этих противоположных воздействий критики поступать иначе, как не оставаться самим собой и вести себя так, как повелевает собственное суждение? На это я и решился и не позволю удерживать меня от того, чтобы вносить поправки и изменения, как того требует мой углубляющийся опыт. В основополагающих воззрениях до сих пор я не считал нужным что-либо менять, и я надеюсь, что так оно будет и впредь.

Фрейд редко отступал от своих взглядов и теорий и мало сомневался в их правоте. Будучи неконфликтным в публичных спорах человеком, он тем не менее был крайне категоричен в своем мнении, что всякое отхождение от его понимания и трактовки психоанализа есть заблуждение и ошибка. Такая непримиримая убежденность, несомненно, стала залогом успеха Фрейда. Только благодаря непоколебимой вере в свою правоту он сумел выстоять перед всеми нападками и критикой и добиться всеобщего признания. Но в то же время категоричность Фрейда не позволила ему принять альтернативный или оппозиционный взгляд на психоанализ со стороны его учеников и соратников, которые в выгодный для них момент отошли от Фрейда в угоду личным амбициям. Возможно, нанесенная отступниками обида, в которой Фрейд не признавался, стала одной из причин его столь категоричного неприятия их учений и новшеств, основанных на фрейдизме или отталкивающихся от него.

Итак, я должен представить вам психоаналитическое понимание невротических явлений. При этом напрашивается мысль начать с уже обсуждавшихся феноменов как вследствие их аналогий, так и контраста. Я оста-

новлюсь на симптоматическом действии, которое совершают многие люди во время моего приема. С людьми, которые посещают нас в кабинете врача, чтобы за четверть часа выложить нам горести своей долгой жизни, аналитик мало что может сделать. Его более глубокое знание психоаналитика делает для него затруднительным высказать, подобно другому врачу, заключение: «У вас все в порядке», — и посоветовать: «Пройдите небольшой курс водолечения». Один наш коллега на вопрос, как он поступает со своими больными, являющимися к нему на прием, пожимая плечами, ответил: он в шутку налагает на них штраф в размере стольких-то крон. Поэтому не удивляйтесь, услышав, что даже у занятых психоаналитиков в часы приема обычно бывает не очень-то оживленно. Я сделал простую дверь между моим кабинетом и приемной двойной и обил ее войлоком. Назначение этого небольшого приспособления не вызывает сомнений. Теперь постоянно случается так, что люди, которых я впускаю из приемной, забывают закрыть за собой дверь, и почти всегда обе двери остаются открытыми. Заметив это, я довольно нелюбезным тоном настаиваю на том, чтобы вошедший или вошедшая, будь то элегантный господин или расфуфыренная дама, — вернулся и исправил оплошность. Это производит впечатление неуместного педантизма. Иногда я попадал впросак с таким требованием, когда это касалось людей, которые сами к нажимной дверной ручке прикасаться не могут и рады, если сопровождающие лица уберегают их от этого прикосновения. Но в большинстве случаев я оказывался правым, ибо тот, кто так поступает, кто оставляет двери из приемной в кабинет врача открытыми, относится к черни и заслуживает того, чтобы его встретили нелюбезно. Не принимайте чью-либо сторону, не услышав дальнейшего. Дело в том, что эта небрежность со стороны пациента случается только тогда, когда он находится в приемной один и, стало быть, оставляет за собой пустую комнату, но не случается никогда, если вместе с ним дожидались приема другие, посторонние,

люди. В этом последнем случае он очень хорошо понимает, что не в его интересах, чтобы другие подслушивали, когда он разговаривает с врачом, и никогда не забывает тщательно закрывать за собой обе двери. Детерминированное таким образом упущение пациента не является ни случайным, ни бессмысленным, ни несущественным, ибо, как мы увидим, оно проливает свет на отношение входящего к врачу. Пациент принадлежит к огромному числу тех, кому нужен светский авторитет, кто хочет быть ослепленным, запуганным. Возможно, справляясь по телефону, в каком часу ему лучше всего прийти, он представлял себе толпу ищущих помощи, как перед филиалом Юлиуса Майнля. И вот он входит в пустую, к тому же чрезвычайно скромно обставленную приемную, и это его потрясает. Он хочет, чтобы врач поплатился за то, что он собирался отнестись к нему с таким избытком почтения, а потому и забывает закрыть двери между приемной и кабинетом. Этим он хочет сказать врачу: «Ах, ведь здесь никого нет и, вероятно, никто не придет, пока я буду здесь находиться». Он и во время беседы будет вести себя невоспитанно и неуважительно, если его заносчивость с самого начала не осадить резким выговором. В анализе этого небольшого симптоматического действия вы не найдете ничего, что уже не было бы вам известно: утверждения, что оно не случайно, а имеет мотив, смысл и намерение, что оно принадлежит душевной взаимосвязи, которую можно указать, и что в качестве незначительного проявления оно свидетельствует о более важном душевном процессе. Но прежде всего, что этот заявивший о себе таким образом процесс неизвестен сознанию того, кто его осуществляет, ибо ни один из пациентов, оставивших открытыми обе двери, не смог бы признаться, что этим упущением он хотел показать мне свое неуважение. О чувстве разочарования при входе в пустую приемную, вероятно, кое-кто вспомнит, но связь между этим впечатлением и последующим симптоматическим действием для его сознания, несомненно, осталась неведомой. Теперь мы хотим добавить к этому

небольшому анализу симптоматического действия наблюдение над больной. Я выбираю такую, воспоминание о которой у меня еще свежо, а также потому, что ее можно изобразить сравнительно кратко. Известная степень обстоятельности при любом таком сообщении неизбежна. Молодой офицер, вернувшийся домой в краткосрочный отпуск, просит меня взять на лечение его тещу, которая, несмотря на самые благоприятные условия, отравляет жизнь себе и своим близким бессмысленной идеей. Я знакомлюсь с 53-летней хорошо сохранившейся, любезной и простой в обращении дамой, которая без внутреннего сопротивления рассказывает мне следующее. Она живет в деревне в счастливейшем браке со своим мужем, управляющим крупной фабрикой. Она не устает хвалить нежную заботливость своего мужа. Тридцать лет тому назад был заключен брак по любви, с тех пор ни одного недоразумения, ни одной ссоры или повода к ревности. Двое ее детей счастливы в браке, муж и отец из чувства долга не хочет уходить на покой. Год назад случилось нечто невероятное, непонятное ей самой: она с ходу поверила анонимному письму, в котором ее замечательный муж обвинялся в любовной связи с молодой девушкой, и с тех пор ее счастье разрушено. Дальнейший ход событий был примерно таков: у нее была горничная, с которой она, возможно, слишком часто обсуждала интимные вещи. Эта девушка преследовала другую прямо-таки с ненавистью и враждебностью, поскольку та достигла в жизни гораздо большего, хотя по своему происхождению была ничем не лучше ее. Вместо того чтобы пойти в служанки, девушка получила коммерческое образование, поступила на фабрику и вследствие недостатка персонала из-за призыва служащих в армию выдвинулась на хорошую должность. Теперь она жила на самой фабрике, общалась со всякими господами и даже называлась барышней. Отставшая в жизни девушка была, конечно, готова обвинять бывшую школьную подругу во всевозможных грехах. Однажды наша дама судачила с горничной об одном го-

стившем у нее пожилом господине, о котором было известно, что он не жил со своей женой, а поддерживал отношения с другой женщиной. Она не знает, как получилось, что она вдруг сказала: «Для меня было бы самым ужасным, если бы я вдруг узнала, что мой добрый муж тоже имеет связь». На следующий день она получает по почте анонимное письмо, написанное измененным почерком, в котором сообщалось об этом словно накликанном ею событии. Она решила (наверное, справедливо), что это письмо — дело рук ее злой горничной, ибо любовницей мужа была названа именно та барышня, которую с ненавистью преследовала служанка. Но хотя она сразу распознала интригу и на довольно многих примерах из своего окружения знала, как мало доверия заслуживают такие трусливые доносы, случилось так, что это письмо мгновенно ее сразило. Она впала в ужасное возбуждение и тотчас послала за своим мужем, чтобы обрушиться на него с самыми резкими упреками. Муж со смехом отверг обвинение и сделал лучшее из всего, что можно было сделать. Он послал за домашним и фабричным врачом, который постарался успокоить несчастную женщину. Да и дальнейшие действия того и другого были вполне разумны. Горничную уволили, но мнимую соперницу — нет. С тех пор больная не раз успокаивалась настолько, что содержанию анонимного письма больше не верила, но никогда по-настоящему и никогда на долгое время. Достаточно было услышать имя барышни или встретить ее на улице, чтобы вызвать у нее новый приступ недоверия, страдания и упреков. Такова история болезни этой славной женщины. Не надо иметь большого психиатрического опыта, чтобы понять, что в противоположность другим нервнобольным она изобразила свой случай скорей слишком мягко, то есть, как мы говорим, она диссимулировала, и что, собственно говоря, она никогда не переставала верить в обвинения анонимного письма. Какую же позицию займет психиатр по отношению к такому случаю болезни? Как он повел бы себя по отношению к симптоматическому дей-

ствию пациента, не затворившего двери в приемную, мы уже знаем. Он объявит его случайностью, не имеющей психологического интереса и больше его не касающейся. Но это отношение нельзя распространить на случай заболевания ревнивой женщины. Симптоматическое действие кажется чем-то безразличным, но симптом предстает чем-то важным. Он связан с интенсивным субъективным страданием, он объективно угрожает совместной жизни семьи; стало быть, он является непреложным объектом психиатрического интереса.

Субъективность — это выражение представлений человека (мыслящего субъекта) об окружающем мире, его точки зрения, чувства, убеждения и желания. Фрейд рассматривал субъективные страдания как необходимое условие для готовности пациента начать терапию. Позже он утверждал, что «первичный мотив, движущий терапию, это страдания пациента и происходящее от них желание быть излеченным», и также относил это желание к необходимым условиям для терапевтической мотивации в течение всего курса терапии.

Психиатр сначала пытается охарактеризовать симптом через его основное свойство. Саму по себе идею, которой мучает себя эта женщина, нельзя назвать бессмысленной; ведь бывает же, что пожилые мужья поддерживают любовные отношения с юными девушками. Но бессмысленно и непонятно в этом нечто другое. У пациентки нет никакого другого основания верить тому, что ее нежный и верный супруг относится к этой отнюдь не редкой категории мужей, кроме утверждения анонимного письма. Она знает, что этот документ не обладает доказательной силой, она может удовлетворительно объяснить себе его происхождение; стало быть, она должна была сказать себе, что у нее нет никакого основания для ревности, она и говорит себе это, но все равно страдает точно так же, как если бы признала эту ревность полностью обоснованной. Идеи такого рода, недоступные логическим и почерпнутым из реальности доводам,

принято называть бредовыми. Стало быть, эта добрая женщина страдает бредом ревности. Такова, пожалуй, основная характеристика данного случая заболевания. После констатации этого первого факта наш психиатрический интерес возрастет еще больше. Если с бредовой идеей нельзя покончить, обращаясь к реальности, то, вероятно, она и не проистекает из реальности. Откуда же она проистекает? Бредовые идеи бывают самыми разными по содержанию; почему содержанием бреда в нашем случае является именно ревность? У каких лиц образуются бредовые идеи или, в частности, бредовые идеи ревности? Здесь нам хотелось бы выслушать психиатра, но тут-то он нас и подводит. Он вообще останавливается лишь на одном-единственном из наших вопросов. Он изучит историю семьи этой женщины и, возможно, даст нам следующий ответ: бредовые идеи имеют место у таких лиц, в семьях которых неоднократно имелись такие же или иные психические нарушения. Другими словами, если у этой женщины развилась бредовая идея, то она была к этому предрасположена вследствие наследственного переноса. Разумеется, это уже кое-что, но разве это все, что нам хочется знать? Все, что содействовало возникновению этого случая заболевания? Должны ли мы довольствоваться предположением, что то, что развился бред ревности вместо какого-либо другого, не имеет значения, необъяснимо или дело случая? И вправе ли мы понимать тезис о господстве наследственного влияния также и в отрицательном смысле, что совершенно не имеет значения, какие переживания выпали на эту душу, ей было предназначено когда-нибудь продуцировать бред? Вы захотите узнать, почему научная психиатрия не желает нам дать дальнейших объяснений. Но я вам отвечу: плут — это тот, кто дает больше, чем имеет. Психиатр не знает пути, ведущего к дальнейшему разъяснению такого случая. Он должен довольствоваться диагнозом и, несмотря на богатый опыт, неопределенным прогнозом дальнейшего хода событий. Но может ли психоанализ добиться здесь большего? Да, конечно;



я надеюсь вам показать, что даже в таком труднодоступном случае он способен раскрыть нечто такое, что делает возможным дальнейшее понимание. Прежде всего я вас попрошу обратить внимание на незначительную деталь, что пациентка прямо-таки спровоцировала анонимное письмо, на которое опирается теперь ее бредовая идея, сказав накануне склонной к интригам девушке, что для

нее было бы величайшим несчастьем, если бы ее муж вступил в любовную связь с молодой девушкой. Этим она и навела служанку на мысль послать ей анонимное письмо. Таким образом, бредовая идея приобретает некоторую независимость от письма; она уже раньше присутствовала как опасение — или желание? — у больной. Учтите к тому же то, что дали два часа анализа других незначительных проявлений. Пациентка отнеслась весьма отрицательно к просьбе сообщить после рассказа своей истории свои дальнейшие мысли, ассоциации и воспоминания. Она утверждала, что ей ничего в голову не приходит, что она уже все сказала, и после двух часов испытание пришлось и в самом деле прервать, потому что она объявила, что уже чувствует себя здоровой и уверена, что болезненная идея не возвратится. Разумеется, она это сказала только из-за сопротивления и страха перед продолжением анализа. Но за эти два часа она все же отпустила несколько замечаний, допускавших (более того, сделавших неотложным) определенное толкование, и это толкование проливает яркий свет на происхождение ее бреда ревности. Она сама была очень влюблена в молодого человека, в того самого зятя, по настоянию которого посетила меня в качестве пациентки. Об этой влюбленности она ничего не знала или, возможно, мало что знала; при существующих родственных отношениях этой влюбленности легко было скрываться под маской безобидной нежности. После всего остального, что мы узнали, нам будет нетрудно вчувствоваться в душевную жизнь этой 53-летней порядочной женщины и хорошей матери. Такая влюбленность как нечто чудовищное, невозможное не могла быть осознанной; но она сохранялась и, будучи бессознательной, оказывала сильный гнет. Что-то должно было с ней произойти, какой-то выход должен был быть найден, и этого облегчения проще всего, пожалуй, было добиться благодаря механизму смещения, который обычно причастен к возникновению бреда ревности. Если не только она, старая женщина, была влюблена в молодого человека, но и ее старый

муж поддерживает любовные отношения с юной девушкой, то тогда она получает возможность освободиться от угрызений совести из-за неверности. Фантазия о неверности мужа была, таким образом, охлаждающим пластырем на ее жгучей ране. Ее собственная любовь ею не осознавалась, но отражение этой любви, принесшее ей эти выгоды, стало теперь навязчивым, бредовым, осознанным. Все доводы против него, разумеется, никакой пользы принести не могли, ибо они были направлены против отражения в зеркале, а не против оригинала, которому оно было обязано своей силой и который, оставаясь неприкосновенным, был скрыт в бессознательном. Сопоставим теперь все то, что дали нам для понимания этого случая заболевания непродолжительные и сопряженные с разными сложностями психоаналитические усилия. Разумеется, при условии, что наши разыскные работы были проведены корректно, чего я не могу здесь вынести на ваш суд. Во-первых, бредовая идея ничем бессмысленным или непонятным уже не является, она осмысленна, хорошо мотивирована, входит во взаимосвязь аффективного переживания больной. Во-вторых, она обязательно является реакцией на бессознательный душевный процесс, который удалось разгадать по другим признакам, и именно этому отношению обязана своим бредовым характером, своей резистентностью к атакам со стороны логики и реальности. Она даже является чем-то желанным, своего рода утешением.

Резистентность (*от лат.* resistentia — сопротивление, противодействие) — сопротивляемость (устойчивость, невосприимчивость) организма к воздействию различных факторов; в психиатрии означает сопротивление организма человека лечению психического заболевания.

В-третьих, переживанием, стоящим за заболеванием, однозначно предопределено, что это стало именно бредовой идеей ревности, а не какой-либо другой. Вы ведь помните, что накануне больная сказала склонной к интригам девушке, что самым ужасным было бы для

нее, если бы ее муж ей изменил. Вы также не упустили из виду две аналогии с проанализированным нами симптоматическим действием, важные для прояснения смысла или намерения и с точки зрения на относящееся к ситуации бессознательное. Разумеется, это не дает ответа на все вопросы, которые мы можем поставить в связи с данным случаем. Напротив, случай заболевания изобилует и другими проблемами, одни из которых вообще пока неразрешимы, а другие нельзя разрешить из-за неблагоприятного стечения особых обстоятельств. Например, почему эта женщина, живущая в счастливом браке, влюбляется в своего зятя и почему облегчение, которого можно было бы добиться и другим способом, достигается в форме такого отражения, проекции собственного состояния на своего мужа? Не подумайте, что подобного рода вопросы возникают только из праздного любопытства. В нашем распоряжении уже имеется некоторый материал для возможного ответа на них. Женщина находится в критическом возрасте, когда женская сексуальная потребность вдруг некстати усиливается; одного этого могло быть достаточно. Или, возможно, добавилось то, что ее добрый и верный супруг уже несколько лет не обладает той сексуальной дееспособностью, в которой нуждалась хорошо сохранившаяся женщина для своего удовлетворения. Опыт обратил наше внимание на то, что как раз такие мужья, верность которых совершенно естественна, отличаются особой нежностью в обращении со своими женами и необычайной чуткостью к их нервным недугам. Далее, небезразлично, что именно молодой супруг дочери стал объектом этой патогенной влюбленности. Сильная эротическая привязанность к дочери, которая в конечном итоге объясняется сексуальной конституцией матери, часто находит путь к тому, чтобы продолжиться в таком превращении. В связи с этим я позволю себе вам напомнить, что отношения между тещей и зятем издавна считались людьми особенно деликатными, а у первобытных людей дали повод к очень строгим предписаниям табу и «избега-

нию». Часто они как с положительной, так и с отрицательной стороны превышают желательную для культуры меру. Какой тут из трех этих моментов проявил свое действие в нашем случае, совпали ли здесь два из них или все вместе, — этого я вам, правда, сказать не могу, но лишь потому, что по прошествии двух часов продолжить анализ этого случая мне не позволили. Теперь я замечу, уважаемые господа, что сплошь говорил о вещах, к пониманию которых вы пока еще не готовы. Я делал это, чтобы провести сравнение психиатрии с психоанализом. Но теперь я вправе задать вам один вопрос: заметили ли вы какое-нибудь расхождение между ними? Психиатрия не применяет технических методов психоанализа, она отказывается привязывать что-либо к содержанию бредовой идеи и, ссылаясь на наследственность, дает нам очень общую и отдаленную этиологию, вместо того чтобы в первую очередь показать более конкретные и понятные причины.

Говоря, что «психиатрия не применяет технических методов психоанализа», Фрейд имеет в виду, что психиатрия того времени крайне негативно относилась к психоанализу как к явлению вообще. В частности, европейские психиатры видели в новом методе опасность «увода пациентов». С другой стороны, будучи зацикленными, по мнению Фрейда, на выявлении симптомов и поиске их физиологических причин, психиатры не интересовались причинами, кроющимися в бессознательном, являющимися по Фрейду главенствующими в возникновении душевных проблем.

Но имеется ли в этом расхождение, противоречие? Не является ли это скорее усовершенствованием? Разве наследственный момент противоречит значению переживания, не сочетаются ли они, скорее, самым действенным образом? Вы согласитесь со мной, что в психиатрической работе, в сущности, не содержится ничего, что могло бы противоречить психоаналитическому исследованию. Поэтому психоанализу противятся психиатры, а не психиатрия. Психоанализ относится к психиатрии

примерно так же, как гистология к анатомии; одна изучает внешние формы органов, другая — строение их из тканей и элементарных частей. Трудно представить себе, чтобы две эти части исследования, из которых одна служит продолжением другой, находились в противоречии. Вы знаете, что анатомия сегодня считается основой научной медицины, но было время, когда расчленять человеческие трупы, чтобы ознакомиться с внутренним строением тела, было точно так же запрещено, как сегодня кажется предосудительным заниматься психоанализом, чтобы узнать о механизмах душевной жизни. И, вероятно, не в очень далеком будущем мы придем к пониманию того, что научно углубленная психиатрия невозможна без хорошего знания глубинных, бессознательных процессов в душевной жизни.

Действительно, во времена Фрейда психиатры, в особенности Европы, относились к психоанализу с неким раздражением и недоверием. Большинство постулатов Фрейда невозможно было доказать научным путем, по причине отсутствия экспериментальных методов, способных исследовать фрейдовские теории. Будучи обвиняемым в псевдонаучности, психоанализ слыл среди психиатров шарлатанством. К тому же проблема заключалась в непонимании того, какие анатомические структуры мозга и какие биологические процессы лежат в основе психических феноменов, в том числе бессознательного. В наши дни с развитием функциональных методов изучения мозга открылись новые возможности для осмысления теорий Фрейда. В сегодняшней психиатрии Фрейд занимает не только почетное, но авторитетное место наряду с такими основоположниками психиатрии как Блейер и Крепелин.

Возможно, теперь среди вас найдутся также друзья нажившего столь многих врагов психоанализа, которые рады будут увидеть, что он может оправдать себя и с другой, терапевтической, стороны. Вы знаете, что наша нынешняя психиатрическая терапия не способна влиять на бредовые идеи. Быть может, это удастся психоанализу благодаря своему пониманию механиз-

ма этих симптомов? Нет, уважаемые господа, он этого делать не может, по отношению к этим недугам он так же беспомощен — по крайней мере пока, — как и любая другая терапия. Хотя мы можем понять, что произошло с больным, но у нас нет средства, чтобы сделать это понятным самим больным. Вы ведь слышали, что я не смог продвинуться в анализе этой бредовой идеи дальше первых шагов. Станете ли вы поэтому утверждать, что для таких случаев анализ негоден, поскольку остается безрезультатным? Я все-таки так не думаю. Мы вправе (более того, обязаны) заниматься исследованием, не принимая в расчет непосредственный полезный эффект. В конце — мы не знаем, где и когда — каждая частичка знания превратится в умение, также в терапевтическое умение. Если бы при всех других формах нервного и психического заболевания психоанализ оказался таким же безуспешным, как при бредовых идеях, то он все же оставался бы полностью оправданным как незаменимое средство научного исследования. Правда, тогда мы не могли бы им пользоваться; человеческий материал, на котором мы хотим учиться, который живет, имеет собственную волю и нуждается в своих мотивах, чтобы участвовать в работе, нам бы не подчинился. Позвольте мне поэтому закончить сегодня сообщением, что имеются обширные группы нервных расстройств, при которых превращение нашего лучшего понимания в терапевтическое умение действительно было доказано, и что в случае этих обычно труднодоступных заболеваний при известных условиях мы достигаем успехов, которые не уступают никаким другим в области терапии внутренних болезней.

Семнадцатая лекция

Смысл симптомов

Уважаемые дамы и господа! На прошлой лекции я разъяснил вам, что клиническая психиатрия мало интересуется формой проявления и содержанием отдельного симптома, но психоанализ начал именно с этого и прежде всего установил, что симптом имеет смысл и связан с переживанием больного. Смысл невротического симптома впервые был открыт Й. Брейером благодаря изучению и успешному излечению одного случая истерии, с тех пор ставшего знаменитым (1880–1882).

Невротический симптом — переживание тех или иных проявлений психики как странных, нелепых — попросту чуждых. Все симптомы производят впечатление непонятного (с точки зрения источника и смысла) вторжения в личность, нарушающего ее целостность и не поддающегося сознательному контролю. Невротический симптом, таким образом, выглядит неуместным, мешающим «добавлением» к личности, и от такого добавления, разумеется, хотят избавиться.

Йозеф Брейер (1842–1925) — австрийский врач, друг и наставник Зигмунда Фрейда, основатель катарсического метода психотерапии.

В современной психологии (в частности, в психоанализе, психодраме, телесно-ориентированной терапии, символдраме) катарсис понимают как индивидуальный или групповой процесс высвобождения психической энергии, эмоциональной разрядки, способствующей уменьшению или снятию тревоги, конфликта, фрустрации посредством их вербализации или телесной экспрессии, ведущих к лечебному эффекту и лучшему пониманию себя.

Верно, что П. Жане независимо от него привел точно такое же доказательство; французскому исследователю даже принадлежит литературный приоритет, ибо Брейер опубликовал свое наблюдение более чем десятилетие спустя (1893–1895) во время своего сотрудничества со мной. Впрочем, наверное, вам будет весьма безразлично,

кому принадлежит это открытие, ибо вы знаете, что любое открытие делается больше одного раза и ни одно не делается сразу, а результат все равно не сопутствует заслуге. Америку не называют по имени Колумба. До Брейера и Жане великий психиатр Лере высказал мнение, что даже делирии душевнобольных должны рассматриваться как полные смысла, если только научиться их переводить.

Делирии (*лат*. delirium — безумие, бред; *лат*. deliro — безумствую, брежу) — психическое расстройство, протекающее с нарушением сознания (от помраченного состояния до комы). Характеризуется наличием зрительных, галлюцинаций и иллюзий и, как следствие, — вторичным бредом; наличием эмоционально аффективных нарушений, затрудненной ориентировкой в окружающем мире, дезориентацией во времени. При этом сохраняется осознание собственной личности и опасностей.

Я признаюсь, что долгое время был готов очень высоко ценить заслугу П. Жане в разъяснении невротических симптомов, поскольку он понимал их как выражения «idées inconscientes»[1], во власти которых находились больные. Но с тех пор Жане с чрезмерной сдержанностью высказался таким образом, словно хотел признаться, что бессознательное было для него не чем иным, как оборотом речи, вспомогательным средством, «une façon de parler»[2]; при этом ничего реального он в виду не имел. С тех пор рассуждения Жане я больше не понимаю, но я думаю, что он совершенно напрасно лишил себя многих заслуг. Стало быть, невротические симптомы имеют свой смысл, подобно ошибочным действиям, подобно сновидениям, и, как и они, связаны с жизнью людей, которые их обнаруживают. Здесь мне хочется донести до вас эту важную идею с помощью нескольких примеров. То, что так бывает всегда и во всех случаях, я могу лишь утверждать, но не доказать. Кто сам стремится обрести опыт, убедится в этом самостоятельно. Но по известным

1 Бессознательные идеи (*фр*.).

2 Оборот речи (*фр*.).

мотивам я хочу заимствовать эти примеры не у истерии, а у другого, в высшей степени удивительного невроза, по своей сути весьма ему близкого, о котором я должен сказать вам несколько вступительных слов. Этот невроз, так называемый невроз навязчивости, не столь распространен, как всем известная истерия; он, если я позволю себе так выразиться, не столь назойливо шумлив, ведет себя так, словно является скорее личным делом больного, почти полностью отказывается от проявлений на теле и создает все свои симптомы в душевной области. Невроз навязчивости и истерия — это те формы невротического заболевания, на изучении которых вначале строился психоанализ, в лечении которых наша терапия также празднует свои победы. Однако невроз навязчивости, лишенный того загадочного скачка из душевного в телесное, благодаря психоаналитическим стараниям, собственно говоря, стал для нас более прозрачным и знакомым, чем истерия, и мы признали, что он проявляет известные крайние особенности невротики гораздо ярче. Невроз навязчивости выражается в том, что больные заняты мыслями, которыми, собственно говоря, они не интересуются, ощущают в себе импульсы, которые им кажутся весьма чужеродными, и побуждаются к действиям, выполнение которых не доставляет им удовольствия, но отказ от которых для них совершенно невозможен. Мысли (навязчивые представления) могут быть бессмысленными или же безразличными только для индивида, зачастую они совершенно нелепы, но во всех случаях они являются результатом напряженной мыслительной деятельности, которая истощает больного и которой он предается лишь с большой неохотой. Он вынужден вопреки своей воле размышлять и философствовать, словно речь шла о его важнейших жизненных задачах. Импульсы, которые больной ощущает в себе, тоже могут производить впечатление детскости и бессмысленности, но по большей части они имеют самое устрашающее содержание, вроде искуса к совершению тяжкого преступления, в результате чего больной не просто отрицает их как чужеродные,

а, напуганный ими, спасается от них бегством и защищается с помощью запретов, отказов и ограничений своей свободы. При этом в действительности они никогда, ни разу не добивались осуществления; результат всегда одинаков — бегство и предусмотрительность берут верх.

Нужно отдать должное Фрейду. При том, что навязчивые явления были известны задолго до него, именно он уловил в них некую инфантильность, уводящую в детство. Описывая феномен навязчивости, Фрейд вводит такие регрессивные механизмы, как магическое мышление (убеждение о возможности влияния на действительность посредством символических психических или физических действий и мыслей) и амбивалентность (*от лат.* ambo — «оба» и *лат.* valentia — «сила») — двойственность (расщепление) отношения к чему-либо, в особенности — двойственность переживания, выражающаяся в том, что один и тот же объект вызывает у человека одновременно два противоположных чувства. Фрейд вкладывал в этот термин иной смысл. Он рассматривал амбивалентность как сосуществование двух изначально присущих человеку противоположных глубинных побуждений, самыми фундаментальными из которых являются влечение к жизни и влечение к смерти, свойственные детям на ранних стадиях психосоматического развития. Наблюдение, что симптоматика навязчивых состояний во многом перекликается с детским поведением, заставило клиницистов пересмотреть нозологию навязчивых состояний. Основываясь на изученных к сегодняшнему дню психодинамических и нейробиологических фактах, навязчивое расстройство, более известное как обсессивно-компульсивное расстройство, т.е. невроз навязчивых состояний, перенесено из разряда невротических заболеваний в разряд расстройств неврологического развития, наряду с синдромом Туретта, аутизмом, тиком и синдромом гиперактивности и дефицита внимания. Согласно исследованиям все эти расстройства объединяют начало на ранних этапах психосоматического развития ребенка и схожие механизмы их возникновения.

То, что больной действительно осуществляет, так называемые навязчивые действия, — это весьма безобидные, несомненно, несущественные вещи, по большей

части повторения, церемониальные украшения деятельности обычной жизни, в результате которых, однако, эти необходимые отправления, отход ко сну, умывание, туалет, прогулка, становятся в высшей степени продолжительными и едва ли выполнимыми задачами. Болезненные представления, импульсы и действия в отдельных формах и случаях невроза навязчивости отнюдь не смешаны в равных долях; напротив, являются правилом, что в картине преобладает тот или иной из этих моментов и дает болезни название, но вместе с тем общее во всех этих формах является весьма очевидным. Это, несомненно, сумасбродный недуг. Я думаю, что самой необузданной психиатрической фантазии не удалось бы сконструировать нечто подобное, и если бы его нельзя было видеть все дни перед собой, то едва ли можно было бы решиться в него поверить. Но не думайте, что вы чем-то поможете больному, если будете уговаривать его отвлечься, перестать заниматься этими глупыми мыслями и вместо своих пустяков сделать что-то разумное. Ему самому этого бы хотелось, ибо он полностью ясен, делится своим мнением о симптоме навязчивости, разделяет ваше суждение о своих симптомах навязчивости, да и сам вам об этом рассказывает. Он только не может иначе; то, что при неврозе навязчивости претворяется в действие, делается с такой энергией, для которой нам, вероятно, в нормальной душевной жизни не найти сравнения. Он может только одно: смещать, переставлять, вместо одной глупой идеи подыскивать другую, несколько ослабленную. От одной предосторожности или запретной меры переходить к другой, вместо одного церемониала осуществлять другой. Он может сместить навязчивость, но не устранить. Способность всех симптомов смещаться, далеко отходить от своей первоначальной формы, является главной особенностью его болезни; кроме того, бросается в глаза, что противоположности (полярности), которыми пронизана душевная жизнь, в его состоянии оказываются особенно резко разделены. Наряду с навязчивостью с позитивным и негативным содержанием

в интеллектуальной области дает о себе знать сомнение, которое постепенно разъедает все то, что обычно представляется самым надежным. Все вместе это выливается во все более возрастающую нерешительность, отсутствие энергии, ограничение свободы. При этом человек, страдающий неврозом навязчивости, первоначально имел очень энергичный характер, часто отличается чрезвычайным упрямством, как правило, интеллектуально одарен выше среднего уровня. По большей части он достиг отрадного уровня этического развития, проявляет себя чрезмерно совестливым, больше обычного корректным. Можете себе представить, сколько потребуется труда, чтобы хотя бы отчасти разобраться в этом противоречивом ансамбле особенностей характера и симптомов болезни. Пока мы и не хотим ничего другого, кроме как понять некоторые симптомы этой болезни, суметь их истолковать. Возможно, с учетом наших прежних дискуссий вы хотите знать, как относится современная психиатрия к проблемам невроза навязчивости. Но это представляет собой жалкое зрелище. Психиатрия дает разным навязчивостям имена, но ничего больше о них не говорит. Зато она подчеркивает, что носители таких симптомов — «дегенераты». Это мало удовлетворительно, собственно говоря, является оценочным суждением, осуждением вместо объяснения. Мы, скажем, должны полагать, что у людей, у которых налицо признаки вырождения, будут присутствовать всевозможные странности. Более того, мы теперь будем думать, что лица, у которых развиваются такие симптомы, в силу самой природы должны быть несколько иными, чем другие люди. Но нам хочется спросить: являются ли они более «дегенерированными», чем другие нервнобольные: к примеру, истерики или лица, страдающие психозами? Очевидно, что характеристика опять является слишком общей. Можно даже усомниться, правомерна ли она вообще, когда узнаешь, что такие симптомы встречаются и у выдающихся людей, способных к особенно высоким и значимым для общества достижениям. Обычно мы

знаем очень мало интимного о наших образцово великих людях из-за их собственной скрытности и лживости их биографов, но все же бывает так, что кто-то из них, как Эмиль Золя, является фанатиком правды, и тогда мы от него узнаем, сколькими странными навязчивыми привычками он страдал всю свою жизнь. Психиатрия нашла тут для себя выход, говоря о «dégénères supérieurs»[1].

Прекрасно — но благодаря психоанализу мы узнали, что эти странные симптомы навязчивости, как и другие недуги, и так же, как у других, не дегенерированных, людей, можно надолго устранить. Мне и самому не раз удавалось подобное.

Описание Фрейдом навязчивости легло в основу диагностических критериев, используемых сегодняшней психиатрией для выявления обсессивно-компульсивного расстройства (*невроз навязчивых состояний*, см. выше). Справедливости ради стоит отметить, что это расстройство стало одним из сложных с точки зрения классификации и клинического понимания. Действительно, многие видные психиатры, фактически современники Фрейда, в первую очередь Эмиль Крепелин (немецкий психиатр (1856–1926), основоположник современной концепции психиатрии и классификации психических заболеваний) относил это заболевание к «конституциональным душевным» наряду с маниакально-депрессивным психозом и бредом (группа заболеваний, которые Крепелин охарактеризовал по большей части как хронические, протекающие, однако, с колебаниями в виде более или менее часто повторяющихся приступов. По его наблюдениям, последние дают относительно хороший прогноз, в то время как основное страдание остается на всю жизнь, не приводя, однако, к тяжелому ослаблению психики). Тогда как другие связывали его с неврозом (Эскироль — французский психиатр, автор первого научного руководства по психиатрии, открыл первое официальное преподавание психиатрии во Франции) или психастенией (*от др.-греч.* ψυχή — душа и ἀσθένεια — бессилие, слабость, термин предложенный французским психиатром Жане, на данный момент замещенный термином невроз).

[1] Высшие дегенераты *(фр.)*.

Путаница в наименовании и классификации данного расстройства была, несомненно, связана с отсутствием тех методов исследования и тех знаний, которые доступны в наше время. Но в итоге каждый из исследовавших навязчивость оказался в том или ином прав. Так, например, Крепелин, предложивший, по мнению Фрейда, ошибочную классификацию навязчивости, оказался по сути прав. Благодаря генетическим исследованиям выяснилось, что обсессивно-компульсивное расстройство на уровне генов имеет много общего с биполярными и психотическими расстройствами.

Я хочу привести вам лишь два примера анализа симптома навязчивости, один из старого наблюдения, который не могу заменить лучшим, и недавно полученный. Я ограничиваюсь столь незначительным числом, потому что при таком сообщении придется стать весьма многоречивым, вдаваться во все детали. Одна дама в возрасте около тридцати лет, которая страдала тяжелейшими навязчивыми явлениями и которой, возможно, я бы помог, если бы коварная случайность не уничтожила плоды моего труда — возможно, я вам еще расскажу об этом, — помимо прочих по нескольку раз за день совершала следующее странное навязчивое действие. Она выбегала из своей комнаты в соседнюю, останавливалась там в определенном месте возле стоящего посредине стола, звонила своей горничной, давала ей какое-то незначительное поручение или же отпускала ее без такового, а затем снова бежала назад. Конечно, это не был тяжелый симптом болезни, но он все же сумел пробудить любопытство. Разъяснение получилось не вызывающим никаких сомнений, самым что ни есть безупречным образом, без какого-либо содействия со стороны врача. Я даже не знаю, каким образом я мог бы прийти к какому-либо предположению о смысле этого навязчивого действия, предложить его истолкование. Сколько я ни спрашивал больную: «Почему вы это делаете? Какой это имеет смысл?» — она отвечала: «Я этого не знаю». Но однажды, после того как мне удалось преодолеть у нее большое принципиальное сомнение, она вдруг сделалась осве-

домленной и рассказала о том, что было связано с этим навязчивым действием. Более десяти лет назад она вышла замуж за гораздо старшего мужчину, который в первую брачную ночь оказался импотентным. В ту ночь он бесчисленное множество раз прибегал из своей комнаты в ее, чтобы повторить попытку, но всякий раз безуспешно. Утром он с досадой сказал: «Будет стыдно перед горничной, когда она придет убирать постель», — схватил пузырек с красными чернилами, случайно оказавшийся в комнате, и вылил его содержимое на простыню, но не в том месте, где должно было бы находиться такое пятно. Вначале я не понял, что общего между этим воспоминанием и рассматриваемым навязчивым действием, поскольку я нашел соответствие только с повторяющейся беготней из одной комнаты в другую и еще отчасти с появлением горничной. Тут пациентка подвела меня к столу во второй комнате и указала на большое пятно на скатерти. Она заявила также, что становилась к столу таким образом, чтобы вызванная ею девушка не могла не заметить пятна. Теперь в тесной связи между той сценой после первой брачной ночи и ее нынешним навязчивым действием сомневаться уже было нельзя, но на этом примере можно понять еще и многое другое. Прежде всего становится ясным, что пациентка идентифицирует себя со своим мужем; более того, она изображает его, подражая его беготне из одной комнаты в другую. Далее, если придерживаться этого сопоставления, мы должны, пожалуй, признать, что кровать и простыня заменяются столом и скатертью. Это покажется произвольным, но, наверное, мы не без пользы изучали символику сновидений. В сновидении тоже очень часто можно увидеть стол, который, однако, следует толковать как кровать. Стол и кровать вместе составляют брак, поэтому одно с легкостью может заменяться другим. Доказательство того, что навязчивое действие имеет смысл, пожалуй, уже приведено; оно, по-видимому, является изображением, повторением той многозначительной сцены. Но мы не обязаны останавливаться на этой видимости; если

мы детальнее исследуем отношение между тем и другим, то, вероятно, получим разъяснение того, что за этим стоит, намерения навязчивого действия. Ядром его, очевидно, является вызов горничной, которой она показывает пятно в противоположность замечанию своего мужа: «Будет стыдно перед служанкой». Он — чью роль она исполняет, — стало быть, не стыдится служанки, пятно, следовательно, на своем месте. Итак, мы видим, что она не просто повторяет сцену, а продолжает ее и при этом корректирует, делает так, как должно быть на самом деле. Но тем самым она корректирует и другое, то, что в ту ночь было столь неприятным и что потребовало для выхода из того положения красных чернил, — импотенцию. Следовательно, навязчивое действие говорит: «Нет, это неправда, ему незачем было стыдиться горничной, он не был импотентным»; по образцу сновидения оно изображает это желание в нынешнем действии как исполненное, оно служит тенденции возвысить мужа над его тогдашней неудачей. К этому добавляется все остальное, что я мог бы рассказать вам об этой женщине; точнее сказать: все остальное, что мы о ней знаем, указывает нам путь к этому толкованию самого по себе непонятного навязчивого действия. Женщина уже несколько лет живет отдельно от своего мужа и борется с намерением развестись в судебном порядке. Но не может быть и речи о том, чтобы она была от него свободной; она вынуждена оставаться ему верной, она отдаляется от всего света, чтобы не впасть в искушение, она извиняет и в своей фантазии возвеличивает его. Более того, глубочайшая тайна ее болезни заключается в том, что ею она оберегает мужа от дурной славы, оправдывает пространственное отделение от него и позволяет ему вести комфортную отдельную жизнь. Таким образом, анализ безобидного навязчивого действия прямым путем ведет к самому внутреннему ядру данной болезни, но в то же время выдает нам значительную часть тайны невроза навязчивости как такового. Мне хочется задержать вас на этом примере, ибо он объединяет условия, которых по

справедливости нельзя требовать от всех случаев. Толкование симптома было найдено здесь больной одним махом без руководства или вмешательства аналитика, и это произошло благодаря связи с переживанием, которое не принадлежало, как это обычно бывает, забытому периоду детства, а имело место в зрелой жизни больной и, не угаснув, сохранилось в ее воспоминании. Все возражения, которые обычно выдвигает критика против наших толкований симптомов, разбиваются об этот отдельный случай. Правда, не всегда дело обстоит у нас так хорошо. И еще одно! Не бросилось ли вам в глаза, как это незначительное навязчивое действие ввело нас в интимную жизнь пациентки? Женщина едва ли расскажет что-либо более интимное, чем история своей первой брачной ночи, и разве должно было быть случайным и несущественным, что мы пришли как раз к интимным сторонам половой жизни? Правда, это могло бы быть следствием выбора, сделанного мною на этот раз. Не будем судить слишком быстро и обратимся ко второму примеру, он совершенно другого рода и является образцом часто встречающейся категории, а именно церемониала отхода ко сну.

Главным достоинством психоанализа Фрейд считал умение добираться до сути проблемы, до ее истинной причины. Неважно, каким ветвистым и причудливым образом эта причина обнажалась. Но за кажущимся оптимизмом данного метода, в случае навязчивых состояний психоанализ, к сожалению, показал весьма слабый терапевтический эффект, что признавал и сам Фрейд. На сегодняшний день из множества психологических методов помощи самым действенным при обсессивно-компульсивном расстройстве является когнитивно-поведенческая психотерапия (широко распространенная комплексная форма психотерапии, сочетающая в себе когнитивную терапию с поведенческой. Когнитивный подход исходит из предположения, что психологические проблемы и нервно-психические расстройства вызваны нелогичными или нецелесообразными мыслями и убеждениями человека, а также дисфункциональными стереотипами его мышления, изменив которые, проблемы можно решить.



Поведенческий подход предполагает изменение поведения человека путем поощрения и подкрепления желаемых форм поведения и отсутствия подкрепления нежелательных форм), не только вскрывающая болезненные импульсы, но и обучающая методам преодоления.

Девятнадцатилетняя пышная, одаренная девушка, единственный ребенок своих родителей, которых она превзошла образованностью и живостью интеллекта, была неугомонным и озорным ребенком, но в течение последних лет без видимого внешнего воздействия превратилась в нервнобольную. Она очень раздражительна, особенно в отношении своей матери, всегда недовольна, подавлена, склонна к нерешительности и сомнениям и в конце концов признается, что не может больше в одиночку ходить по площадям и большим улицам. Мы не будет долго заниматься ее сложным болезненным состоянием, которое требует по меньшей мере двух диагнозов, агорафобии и невроза навязчивости, а остановимся лишь на том, что эта девушка выработала у себя также церемониал отхода ко сну, заставляющий страдать ее родителей. Можно сказать, что в известном смысле у каждого нормального человека есть свой церемониал отхода ко сну или что он придерживается создания определенных условий, невыполнение которых мешает ему заснуть; он придал переходу из бодрствующей жизни в состояние сна определенные формы, которые он одинаковым образом воспроизводит каждый вечер. Однако все, что

здоровому человеку требуется в качестве условия засыпания, можно понять рационально, а если внешние обстоятельства вынуждают к изменению, то он легко и без затраты времени к ним приспосабливается. Патологический же церемониал неуступчив, он умеет добиваться своего с огромными жертвами, он тоже прикрывается рациональным обоснованием и при поверхностном рассмотрении будто бы отличается от нормального лишь некоторой преувеличенной тщательностью. Но если присмотреться поближе, то можно заметить, что покрывало слишком коротко, что церемониал охватывает условия, которые выходят далеко за рамки рационального обоснования, а также другие условия, которые ему прямо противоречат. В оправдание своих ночных предохранительных мер пациентка в качестве мотива приводит: для того чтобы заснуть, ей нужен покой, а все источники шума должны быть исключены. С этой целью она делает две вещи: останавливает большие часы в своей комнате, а все остальные часы из комнаты удаляются, она не терпит даже того, чтобы ее крошечные наручные часики лежали в ночной тумбочке. Цветочные горшки и вазы расставляются на письменном столе так, чтобы они не могли упасть ночью, разбиться и нарушить ее сон. Она знает, что эти меры могут найти лишь мнимое оправдание в требовании покоя; тиканье маленьких часов нельзя было бы услышать, даже если бы они лежали на ночном столике, а все мы на собственном опыте убедились, что постоянное тиканье часов с маятником никогда не приводит к нарушению сна, а скорее действует убаюкивающе. Она также признает, что опасение по поводу того, что цветочные горшки и вазы, оставленные на своем месте, ночью сами собой могут упасть и разбиться, лишено всякого правдоподобия. Что касается других предписаний церемониала, то опора на требование покоя отпадает. Более того, требование, чтобы двери между ее комнатой и спальней родителей оставались полуоткрытыми, выполнение которого она обеспечивает тем, что просовывает разного рода предметы в приоткрытые двери, похо-

же, напротив, активирует источник шумов, нарушающих ее сон. Самые важные предписания относятся, однако, к самой постели. Подушка у изголовья кровати не должна касаться деревянной стенки кровати. Маленькая подушечка может лежать на этой большой подушке не иначе как образуя ромб. Затем она кладет свою голову точно по длинной диагонали ромба. Перина («Duchent», как мы говорим в Австрии) перед тем, как ею укрыться, должна быть взбита так, чтобы ее конец, которым накрываются ноги, стал совсем толстым, но затем она не забывает выровнять это утолщение, размяв пальцами перья. Позвольте мне пропустить другие, зачастую очень мелкие детали этого церемониала; ничему новому они бы нас не научили и увели бы далеко от наших целей. Но не упустите из виду, что все это происходит не так гладко. При этом всегда имеется беспокойство, что не все было сделано как надо; нужно перепроверить, повторить, сомнение выделяет то одну, то другую из мер предосторожности, а результатом является то, что проходит от одного до двух часов, во время которых сама девушка не может уснуть и не дает спать испуганным родителям.

Анализ этих мучений проходил не так просто, как анализ навязчивого действия у нашей предыдущей пациентки. Мне приходилось давать девушке указания и предлагать толкования, которые ею всякий раз отвергались с решительным «нет» или принимались с пренебрежительным сомнением. Но вслед за этой первой негативной реакцией наступил период, когда она сама занималась предложенными ей возможностями, подбирала к ним мысли, продуцировала воспоминания, устанавливала взаимосвязи, пока наконец, основываясь на результатах собственной работы, не приняла все толкования. По мере того как это происходило, она стала проявлять и меньшее рвение в исполнении навязчивых правил, и еще до окончания лечения отказалась от всего церемониала. Вы должны также знать, что аналитическая работа, как мы ее сегодня проводим, прямо-таки исключает последовательную обработку отдельного симптома, пока он не

становится ясен нам до конца. Напротив, вновь и вновь приходится оставлять некую тему в полной уверенности, что снова вернешься к ней в других взаимосвязях. Толкование симптома, которое я вам теперь сообщу, является, стало быть, синтезом результатов, получение которых, прерываемое другими работами, растягивается на недели и месяцы. Наша пациентка постепенно начинает понимать, что во время своих приготовлений к ночи устраняла часы как символ женских гениталий. Часы, которые, как мы знаем, имеют еще и другие символические толкования, приобретают эту генитальную роль благодаря своему отношению к периодическим процессам и равным интервалам. Женщина, скажем, может хвалиться тем, что ее менструации наступают с регулярностью часового механизма. Однако страх нашей пациентки направлен прежде всего на то, что тиканье часов может нарушить ее сон. Тиканье часов можно приравнять к пульсации клитора при сексуальном возбуждении. Из-за этого неприятного для нее ощущения она и в самом деле не раз пробуждалась ото сна, а теперь этот страх эрекции выражается в требовании удалить от себя на ночь идущие часы. Цветочные горшки и вазы, как и любые сосуды, — тоже женские символы. Мера предосторожности — сделать так, чтобы они не упали ночью и не разбились, стало быть, не лишена здравого смысла. Нам известен широко распространенный обычай, в соответствии с которым при помолвке разбивают сосуд или тарелку. Каждый из присутствующих берет себе осколок, что с точки зрения брачного обычая, предшествовавшего моногамии, мы вправе понимать как отказ от своих притязаний на невесту. По поводу этой части своего церемониала девушка также привела одно воспоминание и несколько мыслей. Однажды в детстве она упала со стаканом или глиняным сосудом и порезала пальцы, из-за чего у нее сильно шла кровь. Когда она повзрослела и узнала о фактах полового сношения, у нее появилась тревожная мысль, что в первую брачную ночь у нее не пойдет кровь и она не окажется девственницей. Ее меры предосторожно-

сти, направленные на то, чтобы не дать вазам разбиться, стало быть, означают отвержение всего комплекса, связанного с девственностью и кровотечением при первом сношении, а также отвержение страха пролить кровь, равно как и противоположного страха ее не пролить. Эти меры имели лишь отдаленное отношение к предупреждению шума, которому они подчинялись. Главный смысл своего церемониала она разгадала однажды, когда неожиданно поняла предписание — подушка не должна прикасаться к стенке кровати. Подушка всегда была для нее женщиной, — сказала она, — вертикальная деревянная стенка — мужчиной. Стало быть, она хотела — магическим образом, можем добавить мы — отделить друг от друга мужчину и женщину, то есть разделить родителей, не дать им вступить в супружеские отношения. В более ранние годы до появления церемониала этой же цели она пыталась достичь более прямым способом. Она симулировала страх или пользовалась имеющейся склонностью к страху для того, чтобы не позволить закрывать двери между спальней родителей и детской комнатой. Впрочем, это требование сохранилось еще и в ее нынешнем церемониале. Тем самым она создавала себе возможность подслушивать родителей, но, пользуясь ею, однажды навлекла на себя бессонницу, сохранявшуюся несколько месяцев. Не удовлетворенная таким способом мешать родителям, она затем иной раз добивалась того, чтобы ей позволяли спать на самом супружеском ложе между матерью и отцом. Тогда «подушка» и «деревянная стенка» и в самом деле сойтись не могли. Наконец, когда она стала уже настолько большой, что физически не могла больше найти для себя удобного места в кровати между родителями, посредством сознательной симуляции страха она добивалась того, что мать менялась с нею постелями и уступала ей свое место возле отца. Несомненно, эта ситуация стала исходной точкой фантазий, последействие которых ощущается в церемониале. Если подушка была женщиной, то и встряхивание перины, пока все перья не оказывались внизу и не образовывали там вздутия,

имело некий смысл. Это означало — сделать женщину беременной; но она не забывала вновь упразднять эту беременность, ибо многие годы находилась под страхом того, что следствием сношения между родителями будет другой ребенок и, таким образом, у нее появится конкурент. С другой стороны, если большая подушка была женщиной, матерью, то маленькая подушечка для головы могла представлять только дочь. Зачем ей нужно было класть эту подушку как ромб, а свою голову укладывать точно по его средней линии? Она легко позволила себе вспомнить о том, что ромб представляет собой рунический знак открытых женских гениталий, повторяющийся на всех стенах. В таком случае она сама изображала мужчину, отца, и заменяла своей головой мужской член. «Так вот какие распутные вещи, — скажете вы, — роятся в голове непорочной девушки». Я соглашусь, но не забывайте, что я не делал этих вещей, а только их истолковал. Такой церемониал отхода ко сну также представляет собой нечто странное, и вы не можете не заметить соответствия между церемониалом и фантазиями, которые выявляет нам толкование. Но для меня важнее, чтобы вы заметили, что в церемониале нашла свое отражение не одна-единственная фантазия, а множество таковых, которые, правда, где-то имеют свою узловую точку. А также то, что предписания церемониала воспроизводят сексуальные желания то позитивно, то негативно, отчасти служат их представлению и отчасти — защите от них.

Из анализа этого церемониала можно было бы сделать и большее, если правильно связать его с другими симптомами больной. Но наш путь туда не ведет. Удовольствуйтесь указанием, что эта девушка оказалась во власти эротической привязанности к отцу, истоки которой восходят к раннему детскому возрасту. Возможно, поэтому она и ведет себя столь недружелюбно по отношению к своей матери. Мы не можем также не заметить, что анализ этого симптома опять привел нас к сексуальной жизни больной. Возможно, мы будем удивляться этому тем меньше, чем чаще будем понимать

смысл и намерение невротических симптомов. Итак, на двух выбранных примерах я вам показал, что невротические симптомы имеют смысл, подобно ошибочным действиям и сновидениям, и что они тесно связаны с переживанием пациентов. Могу ли я ожидать, что на основании двух примеров вы поверите в правильность этого выдвинутого мною крайне важного тезиса? Нет. Но можете ли вы требовать от меня, чтобы я вам приводил дальнейшие примеры до тех пор, пока вы не заявите, что убедились? Тоже нет, ибо при той обстоятельности, с которой я обсуждаю отдельный случай, мне пришлось бы посвятить изложению этого отдельного пункта в теории неврозов пятичасовой курс лекций. Поэтому я ограничусь предпринятой мною попыткой проиллюстрировать свое утверждение, а в остальном отсылаю вас к сообщениям в литературе, к классическим толкованиям симптома в первом случае Брейера (истерия), к поразительным разъяснениям К.Г. Юнгом совершенно темных симптомов при так называемой dementia praecox[1], относящимся к тому времени, когда этот исследователь был просто психоаналитиком и еще не желал быть пророком, и ко всем работам, которые с того времени заполняли наши журналы. Как раз в таких исследованиях у нас нет недостатка. Анализ, толкование, перевод невротических симптомов настолько привлекательны для психоаналитиков, что другими проблемами невротики они вначале, напротив, пренебрегали. Кто из вас возьмет на себя такой труд, тот, несомненно, получит сильнейшее впечатление от обилия доказательного материала, но он натолкнется также на трудность. Смысл симптома, как вы узнали, лежит в отношении к переживанию больного. Чем индивидуальней образован симптом, тем скорее мы можем ожидать, что эту взаимосвязь сумеем установить. В таком случае возникает прямая задача — отыскать для бессмысленной идеи и бесцельного действия ту прошлую ситуацию, в которой идея была оправданной, а действие — целесообразным. Навязчи-

[1] Раннее слабоумие, преждевременное слабоумие (*лат.*).

вое действие нашей пациентки, которая подбегала к столу и звала горничную, является образцовым для этого вида симптомов. Но существуют, и причем очень часто, симптомы совершенно другого рода. Их нужно назвать «типичными» симптомами болезни, во всех случаях они примерно одинаковы, индивидуальные различия у них исчезают или, по крайней мере, настолько съеживаются, что становится трудно связать их с индивидуальным переживанием больных и отнести их к отдельным пережитым ситуациям. Направим наш взгляд снова на невроз навязчивости. Уже церемониал отхода ко сну нашей второй пациентки содержит в себе много типичного, при этом, однако, имеется достаточно индивидуальных черт, чтобы сделать возможным так называемое историческое толкование. Но все эти больные неврозом навязчивости имеют склонность повторять, ритмизировать отправления и изолировать их от остальных. Большинство из них слишком много моется. Больные, страдающие агорафобией (топофобией, страхом пространств), которую мы уже не можем причислять к неврозу навязчивости, а обозначаем как тревожную истерию, повторяют в своих картинах болезни — зачастую с утомительным однообразием — одни и те же черты: они боятся закрытых пространств, больших открытых площадей, далеко тянущихся аллей и улиц. Они считают себя защищенными, если их сопровождают знакомые или если вслед за ними едет экипаж, и т.д. Но на этом одинаковом фоне отдельные больные все же демонстрируют свои индивидуальные свойства, можно сказать причуды, которые в отдельных случаях прямо противоречат друг другу. Один боится только узких улиц, другой — только широких, один может идти по улице, когда на ней мало людей, другой — когда много. Точно так же истерия при всем богатстве индивидуальных черт имеет изобилие общих, типичных симптомов, которые, похоже, противятся простому историческому объяснению. Не будем забывать, что это все-таки типичные симптомы, на которые мы ориентируемся при постановке диагноза. Если

в одном случае истерии мы правильно свели типичный симптом к переживанию или цепочке аналогичных переживаний, например истерическую рвоту — к переживаниям отвращения, то мы растеряемся, если в другом случае рвоты анализ раскроет совершенно другой ряд внешне действенных переживаний. Тогда это выглядит так, будто у истерических больных рвота возникает по непонятным причинам, а установленные анализом исторические поводы являются лишь предлогами, которые ими используются в силу внутренней необходимости, когда они случайно возникают.

Истерическая рвота появляется вне связи с нарушениями деятельности желудочно-кишечного тракта, при отсутствии органической его патологии. Может возникать как один из симптомов невротического расстройства.

Таким образом, мы вскоре приходим к неутешительному выводу, что хотя мы и можем удовлетворительно объяснить смысл индивидуальных невротических симптомов через их связь с переживанием, при объяснении гораздо чаще встречающихся типичных симптомов неврозов наше искусство все же отказывает. Ко всему прочему я еще не совсем ознакомил вас с трудностями, возникающими при последовательном проведении исторического толкования симптомов. Я и не буду этого делать, ибо, хотя у меня есть намерение ничего от вас не скрывать и ничего не приукрашивать, но я все же не вправе делать вас беспомощными и приводить в замешательство в самом начале наших совместных исследований. Действительно, мы сделали лишь первый шаг к пониманию смысла симптомов, но хотим закрепиться на достигнутом и постепенно пробираться к постижению пока еще непонятного. Итак, попытаюсь утешить вас соображением, что едва ли все-таки можно допустить фундаментальное различие между одним и другим видами симптомов. Если индивидуальные симптомы столь явно связаны с переживанием больного, то для типичных

симптомов остается возможность того, что они сводятся к переживанию, являющемуся типичным, общим для всех людей. Другие регулярно повторяющиеся в неврозе черты, как, например, повторение или сомнение при неврозе навязчивости, могут быть общими реакциями, навязанными больным природой болезненного изменения. Словом, у нас нет основания для того, чтобы преждевременно падать духом; посмотрим, что получится дальше. С совершенно аналогичной трудностью мы сталкиваемся и в теории сновидения. Я не мог обсуждать ее в наших прежних дискуссиях о сновидении. Явное содержание сновидений в высшей степени многообразно и индивидуально различается, и мы детально показали, что можно получить из этого содержания посредством анализа. Но наряду с ними имеются сновидения, точно так же называемые «типичными», равным образом встречающиеся у всех людей, сны, имеющие сходное содержание, толкование которых сопряжено с такими же трудностями. Это сновидения о падении, полете, парении в воздухе, плавании, заторможенности, о наготе и другие известные страшные сны, имеющие у отдельных людей то одно, то другое истолкование, при том что их однообразие и типичность не находят своего объяснения. Но и в этих сновидениях мы наблюдаем, что общий фон оживляется индивидуально меняющимися добавками, и, вероятно, они тоже впишутся в понимание жизни во сне, которое мы получили на материале других сновидений, — без принуждения, но при расширении наших знаний.

Двадцатая лекция

Сексуальная жизнь человека

Уважаемые дамы и господа! Казалось бы, не вызывает сомнения то, что следует понимать под «сексуальным». Ведь прежде всего сексуальное — это что-то неприличное, то, о чем нельзя говорить. Мне рассказывали, что ученики одного знаменитого психиатра однажды попытались убедить своего наставника в том, что симптомы больных истерией очень часто изображают сексуальные вещи. С этой целью они подвели его к кровати одной истеричной больной, припадки которой, несомненно, изображали процесс родоразрешения, но он выразил свое несогласие: «Ну, роды ничего сексуального собой не представляют». Разумеется, не при всех обстоятельствах роды должны быть чем-то неприличным. Я замечаю, что вы обижаетесь на меня, что я шучу в столь серьезных вещах. Но это не совсем шутка. Если говорить серьезно, то нелегко указать, что составляет содержание понятия «сексуальный». Все, что связано с различием между двумя полами, было бы, пожалуй, единственно верным, но вы сочтете это бесцветным и слишком обширным. Если во главу угла поставить факт сексуального акта, то, наверное, вы скажете, что сексуальное — это все, что совершается с целью получения удовольствия с телом, особенно с половыми частями противоположного пола, и в конечном счете нацелено на соединение гениталий и на совершение полового акта. Но тогда вы действительно недалеки от тождества: сексуальное — неприличное, а роды к сексуальному действительно не относятся. Но если вы сделаете функцию продолжения рода ядром сексуальности, то рискуете исключить огромное множество вещей, которые на размножение не нацелены и все же, несомненно, являются сексуальными, как то: мастурбация или даже поцелуй. Но мы уже готовы к тому, что попытки определения всегда приводят к трудностям; откажемся от мысли, что именно в этом случае у нас это полу-

чится лучше. Мы можем догадываться, что в развитии понятия «сексуальный» произошло нечто такое, что, по удачному выражению Г. Зильберера, повлекло за собой «ошибку наложения». В целом же мы все-таки ориентируемся в том, что люди зовут сексуальным. Чего-то, что состоит из учета противоположности полов, получения удовольствия, функции размножения и свойства неприличного, которое необходимо скрывать, в жизни будет достаточно для всех практических нужд. Но в науке этого уже недостаточно. Ибо благодаря тщательным исследованиям, разумеется, ставшим возможными лишь благодаря готовому на жертвы преодолению себя, мы познакомились с группами человеческих особей, «сексуальная жизнь» которых самым явным образом отличается от привычной усредненной картины. Одни из этих «извращенцев» вычеркнули, так сказать, из своей программы половые различия. Их сексуальные желания может возбуждать только одинаковый с ними пол; противоположный пол, в особенности его половые органы, половым объектом вообще для них не является, а в крайних случаях представляет собой предмет отвращения. Тем самым они, естественно, отказались и от всякого участия в продолжении рода. Таких лиц мы называем гомосексуальными или инвертированными. Это мужчины и женщины, которые, кроме того, часто — но не всегда — безупречно образованны, высокоразвиты как в интеллектуальном, так и в этическом отношении, разве что отягчены этим пагубным отклонением. Устами своих научных заступников они выдают себя за особую разновидность человеческого рода, за «третий пол», который на равных правах существует рядом с двумя другими. Вероятно, у нас будет возможность критически проверить их притязания. Разумеется, они не являются, как им хочется утверждать, «элитой» человечества, а включают в себя по меньшей мере такое же большое число неполноценных и никчемных индивидов, как и иные в сексуальном отношении люди. Эти извращенные люди совершают со своим сексуаль-

ным объектом по меньшей мере примерно то же самое, что и нормальные люди — со своим.

Фрейд не рассматривал гомосексуальность как болезнь, а считал ее задержкой психосексуального развития, где, по его мнению, основную роль играют страх кастрации и страх материнской власти. Он также сомневался в перспективах лечения гомосексуальности и высказывался, что «попытка превращения гомосексуалиста в гетеросексуала, скорее всего, окажется неудачной». Психиатрия долгое время рассматривала проблемы, связанные с половым развитием и ориентацией, в том числе гомо- и бисексуальность, как психические заболевания, требующие лечения. То же касалось вопросов половой самоидентификации. В 1973 году американская психиатрическая ассоциация исключила гомосексуальность из классификации психических расстройств. Половая самоидентификация также не рассматривается более как психическое расстройство.

Но далее следует длинная очередь отклоняющихся от нормы людей, сексуальная деятельность которых все дальше отдаляется от того, что кажется желанным разумному человеку. По разнообразию и странностям их можно сравнить разве что с гротескными уродливостями, которые П. Брейгель изобразил как искушение святого Антония, или с давно позабытыми богами и верующими, которые у Г. Флобера проходят в длинной процессии мимо благочестивого кающегося грешника.

Питер Брейгель Старший (1525–1569), известный также под прозвищем «Мужицкий», — нидерландский живописец и график. Мастер пейзажа и жанровых сцен. Одна из картин — «Искушение святого Антония».

Гюстав Флобер (1821–1880) — французский прозаик-реалист, считающийся одним из крупнейших европейских писателей XIX века. В 1849 году он завершил первую редакцию «Искушения святого Антония» — философской драмы, над которой впоследствии работал всю жизнь. В мировоззренческом отношении она проникнута идеями разочарования в возможностях познания, что проиллюстри-

ровано столкновением разных религиозных направлений и соответствующих доктрин.

Их толкотня взывает к упорядочиванию, чтобы нам не запутаться в своих ощущениях. Мы разделяем их на тех, у кого, как у гомосексуалистов, изменился сексуальный объект, и на других, у которых в первую очередь изменилась сексуальная цель.

Далее Фрейд перечисляет ряд нарушений сексуального предпочтения и извращенства, считавшихся патологичными и в психиатрии. Вспоминая фразу Фрейда: «Мы живем в очень странное время», сложно даже предположить, какие новые сексуальные «нормы» из этого ряда ждут нас в ближайшее время.

К первой группе относятся те, кто отказался от соединения гениталий и в сексуальном акте заменяет гениталии партнера другой частью или областью тела; при этом они не считаются с недостатками органического устройства, и их не удерживает отвращение. (Рот, задний проход вместо влагалища.) За ними следуют другие, у которых хотя еще и сохраняется интерес к гениталиям, но из-за других, а не сексуальных функций, к которым гениталии причастны в силу анатомических причин и по причине соседства. По ним мы узнаем, что функции выделения, которые в ходе воспитания ребенка были отброшены в сторону как неприличные, остаются способными полностью привлекать к себе сексуальный интерес. Затем другие, которые вообще отказались от гениталий как от объекта, вместо них сделали вожделенным объектом другую часть тела: женскую грудь, ногу, косу. Далее следуют те, для кого и часть тела ничего не значит, а все желания исполняет предмет одежды, ботинок, часть белого белья, — фетишисты. Дальше в процессии — лица, которые хотя и нуждаются в целом объекте, но предъявляют к нему совершенно определенные, причудливые или отвратительные требования, в том числе требование, чтобы он стал беззащитным трупом, и делают его таковым

в преступном насилии, чтобы получить возможность им насладиться. Но хватит мерзостей с этого бока!

Другая толпа возглавляется извращенцами, поставившими себе целью сексуальных желаний то, что обычно является лишь вступительным и подготовительным действием. То есть теми, кто стремится к разглядыванию и ощупыванию другого человека или к подглядыванию за его интимными отправлениями, или кто оголяет свои собственные части тела, которые обычно скрывают, в смутной надежде получить вознаграждение благодаря такой же ответной услуге. Затем следуют загадочные садисты, нежные стремления которых не знают иной цели, кроме как доставлять боль и мучения своему объекту, от намеков на унижение до тяжелых телесных повреждений, и, словно для равновесия, их антиподы, мазохисты, единственное желание которых — претерпеть от своего любимого объекта все унижения и мучения в символической, равно как и в реальной, форме. Есть еще и другие, у которых несколько таких ненормальных условий соединяются и переплетаются, и, наконец, нам предстоит еще узнать, что каждая из этих групп представлена двояким образом, что наряду с теми, кто ищет сексуального удовлетворения в реальности, имеются еще и другие, которые довольствуются простым представлением такого удовлетворения, в реальном объекте вообще не нуждаются и могут его себе заменять посредством фантазии. При этом не подлежит ни малейшему сомнению, что в этих безумствах, странностях и мерзостях действительно проявляется сексуальная деятельность этих людей. Дело не только в том, что они сами это так понимают и ощущают отношения замены; мы также вынуждены себе сказать, что в их жизни это играет ту же самую роль, что и нормальное сексуальное удовлетворение — в нашей, для этого они приносят такие же, зачастую чрезмерные жертвы, и в общих чертах, равно как и в более мелких деталях, можно проследить, где эти ненормальности соприкасаются с нормой и где они от нее отклоняются. От вас не может ускользнуть также

и то, что здесь вы опять обнаруживаете присущее сексуальной деятельности свойство неприличного; но в большинстве случаев оно усиливается до постыдного.

Итак, уважаемые дамы и господа, как отнесемся мы к этим необычным видам сексуального удовлетворения? От возмущения, выражения нашего личного отвращения и от заверения, что мы эти страсти не разделяем, очевидно, нет никакого толка. Да об этом нас и не спрашивают. В конце концов, это такая же область явлений, как и любая другая. Отвергающую отговорку, что это, мол, всего лишь редкости и курьезы, было бы легко опровергнуть. Речь, напротив, идет об очень часто встречающихся, широко распространенных феноменах. Но если бы нам захотели сказать, что в наших воззрениях на сексуальную жизнь мы не должны позволить им сбивать себя с толку, потому что вместе и по отдельности они представляют собой заблуждения и отклонения полового влечения, то был бы уместен серьезный ответ. Если мы не понимаем этих болезненных форм сексуальности и не можем соотнести их с нормальной сексуальной жизнью, то это значит, что мы не понимаем и нормальной сексуальности. Словом, перед нами встает насущная задача дать полный теоретический отчет о возможности указанных перверсий[1] и об их взаимосвязи с так называемой нормальной сексуальностью.

В этом нам помогут одно теоретическое представление и два новых эмпирических факта. Первым мы обязаны Ивану Блоху (1902–1903).

Иван Блох (псевдонимы Евгений Дюрен, Альберт Хаген, Ферифантор, Герхард фон Вельзенбург) (1872–1922) — немецкий врач, дерматолог, венеролог и сексолог. Один из основателей сексологии. Это понятие он ввел в 1907 году в своей монографии «Сексуальная жизнь нашего времени в ее отношениях к современной культуре».

[1] *От лат.* perversio (perversus — перевернутый, извращенный) — половое извращение.



Иван Блох

Оно вносит поправку в понимание всех этих перверсий как «признаков дегенерации» благодаря тому доказательству, что такие отклонения от сексуальной цели, такие ослабления отношения к сексуальному объекту имели место с давних времен, во все известные нам эпохи, у всех, как самых примитивных, так и высоко цивилизованных народов, и иногда они добивались терпимого к себе отношения и всеобщего признания. Оба эмпирических факта были получены в ходе психоаналитического исследования невротиков; они должны решающим образом повлиять на наше понимание сексуальных перверсий.

Мы говорили, что невротические симптомы — это замены сексуального, замещающие удовлетворения, и я указывал вам на то, что подтверждение этого тезиса посредством анализа симптомов натолкнется на определенные трудности. Собственно говоря, он является справедливым только в том случае, если под «сексуальным удовлетворением» мы будем также понимать удовлетворение так называемых извращенных сексуальных потребностей, ибо такое толкование симптомов напрашивается нам с удивительной частотой. Притязание гомосексуалистов или инвертированных на исключительность сразу же рушится, когда мы узнаем, что доказать наличие гомосексуальных побуждений удается у многих невротиков и что большое число симптомов выражает эту латентную инверсию. Те, кто сами себя называют гомосексуальными, попросту являются сознательно и явно инвертированными, число которых по сравнению со скрытыми гомосексуалистами невелико. Однако мы вынуждены рассматривать выбор объекта из лиц, относящихся к собственному полу, прямо-таки как регулярно встречающееся ответвление любовной жизни и все больше учимся признавать за ним особенно большое значение. Разумеется, различия между явной гомосексуальностью и нормальным поведением тем самым не упраздняется; его практическое значение сохраняется, однако его теоретическая ценность необы-

чайно уменьшается. В отношении определенного расстройства, которое мы не можем уже причислять к неврозам переноса, паранойи, мы даже предполагаем, что она закономерно проистекает из попытки защититься от слишком сильных гомосексуальных побуждений. Возможно, вы еще помните, что одна из наших пациенток в своем навязчивом действии изображала мужчину, своего собственного покинутого супруга; такая продукция симптомов от лица мужчины весьма распространена у невротических женщин. Если само это явление и нельзя причислять к гомосексуальности, то все же оно имеет много общего с ее предпосылками.

Как вы, наверное, знаете, истерический невроз может создавать свои симптомы во всех системах органов и, таким образом, нарушать все функции. Анализ показывает, что при этом проявляются все побуждения, называемые извращенными, которые хотят заменить гениталии другими органами. При этом эти органы ведут себя как замены гениталий; именно благодаря симптоматике истерии мы пришли к пониманию того, что за телесными органами, помимо их функциональной роли, следует признать сексуальное — эрогенное — значение и что они оказываются несостоятельными при выполнении этой первой задачи, если на них слишком сильно притязает последнее. Бесчисленные ощущения и иннервации[1], встречающиеся нам в качестве симптомов истерии, в органах, которые вроде бы ничего общего с сексуальностью не имеют, раскрывают нам, таким образом, свою природу как исполнения извращенных сексуальных побуждений, при которых другие органы приобрели значение половых частей. Тогда мы также видим, насколько часто именно органы принятия пищи и экскреции могут становиться носителями сексуального возбуждения. Стало быть, это то же самое, что продемонстрировали нам перверсии, разве что в их случае это можно было

[1] Снабжение органов и тканей нервами, что обеспечивает их связь с центральной нервной системой.

увидеть без труда и со всей очевидностью, тогда как при истерии мы должны вначале совершить обходной путь через толкование симптома, а затем не приписывать данные извращенные сексуальные побуждения сознанию индивидов, а поместить их в их бессознательное.

Из многочисленных картин симптомов, при которых проявляется невроз навязчивости, самыми важными оказываются те, что вызваны напором чересчур сильных садистских, то есть извращенных по своей цели, сексуальных побуждений, при этом симптомы — что соответствует структуре невроза навязчивости — служат преимущественно защите от этих желаний или выражают борьбу между удовлетворением и защитой. Но и само удовлетворение при этом не остается обделенным; оно умеет окольными путями пробиться в поведение больных и предпочитает обращаться против их собственной персоны, делает их мучителями для самих себя. Другие формы невроза, при которых на переднем плане стоит склонность к постоянным раздумьям, соответствуют чрезмерной сексуализации актов, обычно служащих подготовкой на пути к нормальному сексуальному удовлетворению, то есть желания разглядывать, прикасаться и исследовать. Большое значение страха прикосновения и навязчивого умывания находит здесь свое объяснение. Непредвиденно большая часть навязчивых действий в качестве замаскированного повторения и модификации сводится к мастурбации, которая, как известно, будучи единственным, однообразным действием, сопровождает самые разные формы сексуального фантазирования.

Мне не стоило бы большого труда продемонстрировать вам еще более тесную связь между перверсией и неврозом, но я полагаю, что для наших целей будет достаточно того, что было сказано выше.

В вопросах сексуальных извращенств сегодняшняя психиатрия полностью полагается на теорию Фрейда. Она является основной в объяснении возникновения и природы

парафилий (*др.-греч.* παρά — за пределами и φιλία — любовь) — общее название различных форм сексуального извращения. Например, копрофилия, некрофилия, зоофилия и мн. др.. Но наряду с психоаналитическими моделями парафилий выявлены и некоторые биологические факторы, как, например, нарушение гормонального уровня, некрологические симптомы, хромосомальные аномалии, которые сопровождают сексуальные отклонения. Насколько эти факторы являются определяющими в возникновении парафилий, пока точно не известно.

Но мы должны защитить себя от того, чтобы после этих разъяснений значения симптомов стали переоценивать частоту и интенсивность извращенных наклонностей людей. Вы слышали, что в результате фрустрации нормального сексуального удовлетворения человек может заболеть неврозом.

Фрустрация (*лат.* frustratio — обман, неудача, тщетное ожидание, расстройство замыслов) — негативное психическое состояние, возникающее в ситуации реальной или предполагаемой невозможности удовлетворения тех или иных потребностей.

Однако при такой реальной фрустрации потребность перебрасывается на аномальные пути сексуального возбуждения. Позднее вы сможете увидеть, как это происходит. Во всяком случае, вы понимаете, что в результате такого «коллатерального» обратного подпора извращенные побуждения должны проявляться сильнее, чем в том случае, если бы нормальному сексуальному удовлетворению не противостояло реальное препятствие. Впрочем, аналогичное влияние можно распознать и в случае явных перверсий. Во многих случаях они провоцируются или активируются в результате того, что нормальному удовлетворению сексуального влечения создаются слишком большие трудности вследствие преходящих обстоятельств или постоянных вмешательств со стороны социальных институтов. Правда, в других

случаях извращенные наклонности совсем не зависят от таких благоприятствующих факторов; для данного индивида они являются, так сказать, нормальной формой сексуальной жизни.

Возможно, в данный момент у вас создалось впечатление, что отношение между нормальной и извращенной сексуальностью мы скорее запутали, нежели прояснили. Но задержитесь на следующем рассуждении: если верно то, что реальное затруднение или лишение нормального сексуального удовлетворения приводит к проявлению извращенных наклонностей у людей, которые обычно таковых не обнаруживали, то относительно этих людей следует предположить наличие чего-то такого, что содействует проявлению этих перверсий; или, если вам так угодно, они должны существовать у них в скрытой форме. Но таким путем мы приходим ко второму новшеству, о котором я вас известил. Психоаналитическому исследованию пришлось обратиться также к сексуальной жизни ребенка, а именно потому, что воспоминания и мысли при анализе симптомов регулярно приводили к ранним годам детства. Те, что мы при этом раскрывали, затем пункт за пунктом подтверждались благодаря непосредственным наблюдениям над детьми. И тут выяснилось, что все извращенные наклонности коренятся в детстве, что дети обладают всеми задатками к ним и проявляют их в том объеме, который соответствует их незрелости, — словом, что извращенная сексуальность представляет собой не что иное, как усилившуюся инфантильную сексуальность, распавшуюся на ее отдельные побуждения.

Теперь, разумеется, вы увидите перверсии в другом свете и не сможете не заметить их взаимосвязи с сексуальной жизнью человека, но ценою таких неприятных для вас сюрпризов и мучительных для вашего чувства рассогласований! Разумеется, вы будете склонны вначале все оспаривать — тот факт, что дети обладают чем-то таким, что можно назвать сексуальной жизнью, правильность наших наблюдений и правомерность ус-

матривать в поведении детей родство с тем, что позднее осуждается как перверсия. Поэтому позвольте мне сначала объяснить мотивы вашего сопротивления, а затем подвести итог нашим наблюдениям. То, что у детей нет сексуальной жизни — сексуальных возбуждений, потребностей и своего рода удовлетворения — и что они должны вдруг это получить в возрасте между 12 и 14 годами, в биологическом отношении — независимо от всех наблюдений — было бы столь же неправдоподобным, даже бессмысленным, как если бы они появились на свет без гениталий и те у них выросли только в пубертатный период[1]. Что пробуждается у них в это время, так это функция размножения, которая в своих целях пользуется уже имеющимся телесным и душевным материалом. Вы совершаете ошибку, путая одно с другим, сексуальность и размножение, и тем самым закрываете себе путь к пониманию сексуальности, перверсий и неврозов. Но эта ошибка тенденциозна. Как ни странно, ее источником является то, что вы сами были детьми и, будучи детьми, подверглись влиянию воспитания. В число своих важнейших задач воспитания общество должно включить следующую: обуздать, ограничить, подчинить индивидуальной воле, которая тождественна социальному приказанию, сексуальное влечение, когда оно прорывается в виде стремления к продолжению рода. Общество также заинтересовано в том, чтобы отсрочить его полное проявление, пока ребенок не достигнет известной ступени интеллектуальной зрелости, ибо с полным прорывом сексуального влечения практически приходит конец и возможности воспитания. В противном случае влечение прорвало бы все плотины и смело бы с трудом сооруженное здание культуры. Задача его обуздать никогда и не бывает простой, ее удается решить то слишком плохо, то чересчур хорошо. Мотив человеческого общества в конечном счете является экономическим; поскольку у него нет достаточно продовольствия, чтобы содержать своих членов без их труда, оно должно

[1] Время полового развития и созревания.

ограничивать число своих членов и перенаправлять их энергию от сексуальной деятельности на работу. Стало быть, вечная, первобытная, сохраняющаяся до настоящего времени жизненная необходимость.

Опыт, должно быть, показал воспитателям, что задача сделать управляемым сексуальное желание нового поколения может быть решена только тогда, когда на него начинают влиять в очень раннем возрасте, не дожидаясь бури пубертата, а уже вмешиваясь в сексуальную жизнь детей, которая ее подготавливает. С этой целью ребенку запрещают и внушают отвращение чуть ли не ко всем видам инфантильной сексуальной деятельности; ставится идеальная цель — сделать жизнь ребенка асексуальной и с течением времени в конце концов приходят к тому, что ее и в самом деле считают асексуальной, о чем затем возвещает наука в качестве своего учения. Чтобы не вступать в противоречие со своей верой и своими намерениями, сексуальную деятельность ребенка затем не замечают, что сделать отнюдь не просто, или в науке довольствуются тем, что истолковывают ее по-другому. Ребенок считается чистым, невинным, а если кто-то описывает это иначе, то его, как гнусного преступника, можно обвинить в оскорблении нежных и святых чувств человечества.

Дети — единственные, кто не причастен к этим условностям, они со всей наивностью предъявляют свои анималистические права и снова и снова доказывают, что им еще только требуется проложить путь к чистоте. Довольно странно, что те, кто отрицает детскую сексуальность, из-за этого не отказываются от воспитания, а строжайшим образом преследуют как раз проявления отрицаемого, называя это «детскими дурными привычками». Большой теоретический интерес представляет также тот факт, что период, который резче всего противоречит предубеждению об асексуальном детстве, детские годы до пяти или шести лет, у большинства людей затем покрывается вуалью амнезии, которую по-настоящему разрывает только аналитическое исследование, но

которая уже раньше была проницаемой для отдельных сновидений.

Теперь я хочу привести вам то, что отчетливее всего проявляется в сексуальной жизни ребенка. Позвольте мне целесообразности ради ввести понятие «либидо». Либидо, совершенно аналогичное голоду, должно обозначать силу, с которой выражается влечение, в данном случае сексуальное влечение, как в случае голода — влечение к принятию пищи. Другие понятия, такие как сексуальное возбуждение и удовлетворение, в объяснении не нуждаются. То, что, когда мы имеем дело с сексуальной деятельностью младенца, чаще всего приходится заниматься толкованием, вы сами легко поймете или, наверное, используете в качестве возражения. Эти толкования получаются на основе аналитических исследований посредством обратного прослеживания симптома. Первые побуждения сексуальности обнаруживаются у младенца, когда они опираются на другие жизненно важные функции. Его основной интерес, как вы знаете, направлен на принятие пищи; когда, насытившись, он засыпает у груди, у него на лице появляется выражение блаженного удовлетворения, которое позднее будет повторяться после переживания сексуального оргазма. Этого было бы слишком мало, чтобы на этом основывать вывод. Но мы наблюдаем, что младенец хочет повторить действие при принятии пищи, не претендуя на новое кормление; стало быть, при этом он не следует импульсу голода. Мы говорим, что он сосет, а то, что при этом действии он опять засыпает с блаженным выражением, демонстрирует нам, что акт сосания сам по себе принес ему удовлетворение. Как известно, вскоре получается так, что он уже не засыпает, не пососав. На сексуальную природу этого действия первым указал старый детский врач из Будапешта доктор Линднер (1879).

Венгерский *доктор Линднер* издал в 1879 году свой научный трактат о детях, сосущих собственные пальцы и губы, предположил, что в основе такого поведения лежит сексуальное

возбуждение. Этим он приглянулся Фрейду как точка опоры в его теории.

Лица, ухаживающие за ребенком, которые не претендуют на теоретическую оценку, по всей видимости, расценивают сосание аналогично. Они не сомневаются в том, что оно служит лишь получению удовольствия, относят его к дурным привычкам ребенка и посредством неприятных впечатлений заставляют ребенка от него отказаться, если сам он от этой вредной привычки избавляться не хочет. Итак, мы узнаем, что младенец совершает действия, которые не имеют никакого другого намерения, кроме получения удовольствия. Мы полагаем, что это удовольствие он впервые испытывает при принятии пищи, но вскоре научается отделять его от этого условия. Получение удовольствия мы можем отнести только к возбуждению зоны рта и губ, называем эти части тела эрогенными зонами и обозначаем удовольствие, достигнутое посредством сосания, как сексуальное. О правомерности этого наименования нам, разумеется, придется еще поспорить.

Если бы младенец мог высказаться, то, несомненно, он признал бы акт сосания материнской груди самым важным в жизни. По-своему он не так уж неправ, ибо этим актом он одновременно удовлетворяет две великие жизненные потребности. Затем из психоанализа мы не без удивления узнаем, как много от психического значения этого акта сохраняется на всю жизнь. Сосание материнской груди становится исходным пунктом всей сексуальной жизни, недостижимым прообразом любого последующего сексуального удовлетворения, к которому довольно часто в трудные времена возвращается фантазия. Оно включает в себя материнскую грудь в качестве первого объекта сексуального влечения; я не могу вам передать представления о том, насколько важен первый объект для любого последующего нахождения объекта, какое глубокое влияние в своих превращениях и замещениях оно продолжает оказывать на

самые отдаленные области нашей душевной жизни. Но вначале в деятельности сосания младенец отказывается от него и заменяет его частью собственного тела. Ребенок сосет большой палец, собственный язык. Благодаря этому в получении удовольствия он становится независимым от одобрения внешнего мира и, кроме того, для усиления привлекает возбуждение второй зоны тела. Эрогенные зоны неодинаково эффективны; поэтому, когда младенец, как сообщает Линднер, при обследовании собственного тела открывает особенно возбудимые места своих гениталий и, таким образом, находит путь от сосания к онанизму, это становится важным переживанием.

Благодаря оценке сосания мы уже познакомились с двумя важными особенностями инфантильной сексуальности.

Инфантилизм (*от лат.* infantilis — детский) — незрелость в развитии, сохранение в поведении или физическом облике черт, присущих предшествующим возрастным этапам.

Она появляется, опираясь на удовлетворение великих органических потребностей, и она ведет себя аутоэротически, то есть ищет и находит свои объекты на собственном теле. То, что отчетливее всего проявилось при принятии пищи, отчасти повторяется при выделении. Мы делаем вывод, что младенец испытывает ощущения удовольствия при опорожнении мочевого пузыря и содержимого кишечника и что он вскоре начинает пытаться осуществлять эти действия таким образом, чтобы они благодаря соответствующим возбуждениям эрогенных зон слизистых оболочек приносили ему как можно большее удовольствие. В этом пункте, как указала остроумная Лу Андреас (1916), внешний мир сперва противостоит ему как сдерживающая, враждебная его стремлению к удовольствию сила и заставляет его заранее прочувствовать будущую внешнюю, равно как и внутреннюю, борьбу.

Лу Саломе, Лу фон Саломе, Лу Андреас-Саломе, Луиза Густавовна Саломе (1861 — 1937) — известная писательница, философ, врач-психотерапевт немецко-русского происхождения, деятель культурной жизни Европы конца XIX — начала XX веков, женщина, оставившая след в жизни Ницше, Фрейда и Рильке.

Он должен отдать свои выделения не тогда, когда ему будет угодно, а тогда, когда это определят другие люди. Чтобы подвигнуть его к отказу от этих источников удовольствия, все то, что касается этих функций, ему объявляется неприличным, тем, что необходимо скрывать. Ему впервые приходится здесь поменять удовольствие на социальное одобрение. Его отношение к самим выделениям с самого начала совершенно иное. Он не испытывает никакого отвращения от своих фекалий, ценит их как часть своего тела, с которой ему нелегко расстаться, и использует их как первый «подарок», чтобы выделить тех людей, которых он особенно ценит. Даже после того как воспитанию удалось достичь цели отдалить его от этих наклонностей, он переносит высокую оценку фекалий на «подарок» и на «деньги». Свои достижения в мочеиспускании, напротив, он, по-видимому, рассматривает с особой гордостью. Я знаю, что вам давно уже хотелось прервать меня и воскликнуть: «Довольно гадостей! Опорожнение кишечника, стало быть, это источник сексуального удовлетворения, к которому уже прибегает младенец! Фекалии — ценная субстанция, задний проход — своего рода гениталии! Мы этому не верим, но понимаем, почему детские врачи и педагоги отбросили далеко прочь от себя психоанализ и его результаты». Нет, уважаемые господа! Вы просто забыли, что я хотел вам представить факты инфантильной сексуальной жизни во взаимосвязи с фактами сексуальных перверсий. Почему вы не должны знать, что задний проход у большого числа взрослых, как у гомосексуальных, так и у гетеросексуальных, и в самом деле при половом

сношении берет на себя роль влагалища? И что имеется много индивидов, которые на протяжении всей своей жизни сохраняют ощущение удовольствия при опорожнении кишечника и описывают его как не такое уж незначительное? Что касается интереса к акту дефекации и удовольствия при наблюдении за дефекацией у другого, то вы можете услышать об этом от самих детей, когда они, став на несколько лет старше, могут рассказать вам об этом. Разумеется, вы не должны перед этим систематически запугивать этих детей, иначе они хорошо понимают, что должны об этом молчать. И по поводу других вещей, в которые вы не хотите верить, я отсылаю вас к результатам анализа и прямого наблюдения над детьми и скажу вам, что будет прямо-таки целым искусством всего этого не увидеть или увидеть по-другому. Я также не имею ничего против, если родство детской сексуальной деятельности с сексуальными перверсиями обратит на себя ваше внимание. Это, собственно говоря, само собой разумеется; если у ребенка вообще имеется сексуальная жизнь, то она должна носить извращенный характер, ибо у ребенка пока еще нет ничего, за исключением некоторых смутных намеков, что делает сексуальность функцией продолжения рода. С другой стороны, общей особенностью всех перверсий является то, что они отказались от цели продолжения рода. Мы называем сексуальную деятельность извращенной именно в случае, когда она отказалась от цели продолжения рода и преследует получение удовольствия в качестве независимой от этого цели. Итак, вы понимаете, что перелом и поворотный пункт в развитии сексуальной жизни состоит в подчинении ее целям продолжения рода. Все, что имеет место до этого поворота, равно как и все, что сумело его избежать, что служит исключительно получению удовольствия, облагается нелестным названием «извращенного» и как таковое осуждается.

Позвольте мне поэтому продолжить мое сжатое изображение инфантильной сексуальности. То, что я сообщил о двух системах органов, я мог бы дополнить,

приняв во внимание другие. Сексуальная жизнь ребенка исчерпывается удовлетворением ряда парциальных влечений, которые независимо друг от друга стараются получить удовольствие отчасти на собственном теле, отчасти уже на внешнем объекте. Среди этих органов очень скоро на передний план выступают гениталии; есть люди, у которых получение удовольствия от собственных гениталий, без содействия других гениталий или объекта, без перерыва продолжается от младенческого онанизма до вынужденного онанизма в пубертатные годы, а затем сохраняется неопределенно долгое время и впоследствии. Впрочем, с темой онанизма нам не удастся так быстро покончить; это материал для разностороннего рассмотрения.

Вопреки моей склонности как можно больше сократить эту тему, я все-таки должен сказать вам еще кое-что о сексуальном исследовании детей. Оно является характерным для детской сексуальности и слишком важно для симптоматики неврозов. Инфантильное сексуальное исследование начинается очень рано, иногда до третьего года жизни. Оно опирается не на различие между полами, которое ребенку ничего не говорит, поскольку он — во всяком случае, мальчики — приписывает обоим полам одни и те же мужские гениталии. Если затем мальчик, видя перед собой маленькую сестру или подругу по играм, совершает открытие вагины, то вначале он пытается отрицать это свидетельство своих органов чувств, ибо не может представить подобное ему человеческое существо без столь ценной для него части. Впоследствии он пугается обнаруженной им возможности, а прежние угрозы из-за чересчур интенсивного занятия своим маленьким членом задним числом начинают оказывать свое действие. Он попадает во власть комплекса кастрации, возникновение которого во многом причастно к формированию его характера, если он остается здоровым, к его неврозу, если он заболевает, и к его сопротивлениям, если он подвергается аналитическому лечению.

О маленькой девочке мы знаем, что из-за отсутствия большого пениса, который можно увидеть, она считает себя в значительной степени обделенной, завидует в этом мальчику и в основном по этой причине развивает желание быть мужчиной, и это желание позднее снова воспринимается в неврозе, возникающем вследствие неудачи в исполнении своей женской роли. Впрочем, клитор девочки в детском возрасте целиком играет роль пениса, он является носителем особой возбудимости, местом, где достигается аутоэротическое удовлетворение. Превращение маленькой девочки в женщину во многом зависит от того, что клитор своевременно и полностью передает эту чувствительность входу во влагалище. В случаях так называемой сексуальной анестезии женщин клитор упорно сохраняет свою чувствительность.

Сексуальный интерес ребенка, скорее, сперва обращается к проблеме, откуда берутся дети, той самой проблеме, которая лежит в основе вопроса тибетской сфинкс, и чаще всего пробуждается эгоистическим опасением при появлении нового ребенка. Ответ, который держит наготове воспитание, что детей приносит аист, гораздо чаще, чем мы это знаем, уже у маленьких детей наталкивается на недоверие. Ощущение, что взрослые обманывают его и скрывают правду, во многом способствует отчуждению ребенка и развитию его самостоятельности. Однако ребенок не способен решить эту проблему собственными средствами. Познавательной способности ребенка поставлены определенные барьеры его неразвитой сексуальной конституцией. Сначала он полагает, что дети появляются из-за того, что вместе с пищей принимают что-то особое, и при этом ничего не знает о том, что только у женщин могут появляться дети. Позднее он узнает об этом ограничении и отказывается от мысли о происхождении ребенка от еды, оно сохраняется для сказки. Вскоре подросший ребенок замечает, что в появлении детей какую-то роль, должно быть, играет отец, но не

может догадаться, какую. Если он случайно становится свидетелем полового акта, то видит в нем попытку одолеть другого, потасовку, неверно понимает коитус как садизм. Но вначале он не связывает этот акт с появлением ребенка. Также и когда он обнаруживает следы крови в постели и на белье матери, он принимает их за доказательство нанесенного отцом повреждения. В чуть более старшем возрасте он, пожалуй, начинает подозревать, что к возникновению детей в значительной мере причастен мужской половой член, но не может приписать этой части тела никакой другой функции, кроме мочеиспускания.

С самого начала дети единодушны в том, что рождение ребенка должно происходить через кишечник, то есть ребенок появляется на свет, как оформленный кал. Только после обесценивания всех анальных интересов эта теория оставляется и заменяется предположением, что открывается пупок или что местом рождения является область между женскими грудями. Таким образом исследующий ребенок приближается к знанию о сексуальных фактах или проходит мимо них, сбитый с толку своим неведением, до тех пор, пока наконец — чаще всего в предпубертатном возрасте — не получает обычно оскорбительного и неполного разъяснения, нередко оказывающего травматическое воздействие.

Вы, конечно, слышали, уважаемые господа, что понятие сексуального в психоанализе претерпело неподобающее расширение с целью сохранить тезисы о сексуальном происхождении неврозов и о сексуальном значении симптомов. Теперь вы можете сами судить о том, является ли это расширение неоправданным. Мы расширили понятие сексуальности лишь настолько, чтобы оно могло охватить также сексуальную жизнь извращенных и сексуальную жизнь детей. То есть мы вернули ему его верный объем. То, что называют сексуальностью вне психоанализа, относится лишь к ограниченной, служащей продолжению рода и обозначаемой как нормальная сексуальной жизни.

Двадцать четвертая лекция

Обычная нервозность

Уважаемые дамы и господа! После того как в ходе последних бесед мы выполнили столь трудную часть работы, я оставлю на время этот предмет и обращусь к вам. Собственно, мне известно, что вы недовольны. Вы представляли себе «введение в психоанализ» по-другому. Вы ожидали услышать полные жизни примеры, а не теорию. Вы скажете мне, что единственный раз, когда я представил вам параллель «в полуподвале и на первом этаже», вы кое-что поняли о причинах возникновения неврозов, только вам хотелось бы, чтобы это были настоящие наблюдения, а не сконструированные истории. Или когда в самом начале я вам рассказал о двух — надо надеяться, не вымышленных — симптомах и разъяснил их отношение к жизни больных и их возникновение, то прояснил вам «смысл» симптомов; вы надеялись, что я буду продолжать в том же духе. Вместо этого я изложил вам пространные, с трудом обозримые теории, которые никогда не были окончательными, к которым всегда добавлялось еще нечто новое, использовал понятия, которые я вам еще не представил, от дескриптивного изложения переходил к динамической точке зрения, от нее — к так называемой экономической, затруднил ваше понимание того, какие из употреблявшихся искусственных слов означают одно и то же и заменяют друг друга лишь по причинам благозвучия, делал так, что перед вами всплывали такие всеобъемлющие понятия, как принцип удовольствия, принцип реальности и филогенетически унаследованное достояние, и вместо того чтобы вводить вас в курс дела, поступал так, что перед вашими глазами проходило нечто такое, что все больше отдалялось от вас.

Принцип удовольствия (*нем.* lustprinzip) — один из четырех принципов работы психического аппарата в теории Зигмунда Фрейда, наряду с принципом постоянства, принципом нирваны и принципом навязчивого повторения.

Принцип удовольствия описывает стремление психики к понижению напряжения до минимального уровня. Поэтому в работе 1920 года «По ту сторону принципа удовольствия» Фрейд делает парадоксальный вывод, говоря о том, что «принцип удовольствия находится в подчинении у влечения к смерти» — и тот, и другой стремятся привести организм к уровню минимальной — в идеале нулевой — психической нагрузки. В семинаре «Объектные отношения» Жак Лакан сопоставляет удовольствие с завистью, какими бы противоположными они ни казались: «…удовольствие связано не с праздностью, а именно с завистью или эрекцией желания», — говорит он в лекции от 5 декабря 1956 года.

Принцип реальности (*лат.* principium — основа, начало и лат. realis — вещественный) — по Фрейду, один из руководящих принципов регуляции психической деятельности, обеспечивающий приведение бессознательных индивидуалистических стремлений к получению удовольствия в известное соответствие с требованиями внешнего мира, с объективной реальностью. П.Р. формируется в процессе и результате социального становления личности. Оттеснение и частичное замещение принципа удовольствия П.Р. побуждает человека к отказу от безраздельного стремления к скорейшему достижению удовольствия. Однако в конечном счете П.Р. действует против принципа удовольствия во имя и в интересах принципа удовольствия, поскольку он лишь отсрочивает удовлетворение и ведет к удовольствию длинным окольным путем. Единство и борьба принципов реальности и удовольствия обусловливают в некоторой части изначальную и извечную конфликтность психической жизни человека и психодинамику.

Филогенетически унаследованное достояние — психические переживания, приобретенные в результате, например, наблюдения сцен сексуального общения родителей, соблазнения в детстве, угрозы кастрации.

Почему я не начал введение в теорию неврозов с того, что вы сами знаете о нервозности и что давно пробудило ваш интерес? Со своеобразной сущности нервнобольных, их непонятных реакций на человеческое общение и внешние влияния, с их раздражительности, непредсказуемости и непригодности к жизни? Почему

постепенно не подвел вас от понимания более простых повседневных форм к проблемам загадочных крайних проявлений нервозности?

Да, уважаемые господа, не могу не признать вашу правоту. Я не настолько влюблен в мое искусство изложения, чтобы каждый его изъян выдавать за особую прелесть. Я даже думаю, что для вас было бы больше пользы, если бы я сделал иначе; это и входило в мое намерение. Но не всегда удается осуществить разумные намерения. В самом материале часто содержится нечто, что тобою командует и отвлекает от первых намерений. Даже такая незначительная работа, как упорядочение хорошо известного материала, не подчиняется всецело воле автора; она поступает как хочет, и можно только задним числом спросить себя, почему получилось так, а не по-другому.

Одна из причин, вероятно, заключается в том, что название «Введение в психоанализ» для данного раздела, в котором должны обсуждаться неврозы, больше уже не подходит. Введение в психоанализ составляет изучение ошибочных действий и сновидений; учение о неврозах — это сам психоанализ. Я не думаю, что мне удалось бы за столь короткое время познакомить вас с содержанием теории неврозов иначе, чем в столь концентрированной форме. Речь шла о том, чтобы показать вам во взаимосвязи смысл и значение симптомов, внешние и внутренние условия и механизм симптомообразования. Я и пытался это сделать; в общем и целом это суть того, чему сегодня может научить психоанализ. При этом нужно было многое сказать о либидо и его развитии, кое-что также о развитии Я. К исходным положениям нашей техники, к основным представлениям о бессознательном и вытеснении (сопротивлении) вы были уже подготовлены благодаря введению. В одной из последующих лекций вы узнаете, где именно психоаналитическая работа находит свое органичное продолжение. До сих пор я от вас не скрывал, что все наши сведения получены лишь из изучения одной-единственной группы нервных расстройств, так называемых неврозов переноса.

Перенос — психологический феномен, замеченный и описанный Фрейдом, заключается в бессознательном переносе ранее пережитых чувств и отношений, проявлявшихся к одному лицу, совсем на другое лицо. Например, объектами переноса со стороны пациентов в ходе психотерапии становятся психотерапевты. В свою очередь, перенос, возникающий у терапевта на клиента, называется контрпереносом. Виды переносов весьма различны, от родительских до эротических, в зависимости от контекста, отношения, восприятия и эмоционального фона. Поддавшись феномену переноса, очень часто клиенты и психоаналитики переходили границы и вступали в интимные отношения. Об опасности таких соблазнов Фрейд предупреждал своих учеников и глубоко переживал, когда те не прислушивались к нему. Позже в международную практику был введен «этический кодекс», запрещающий вступать с клиентом в любые личные отношения. Невроз переноса — более специфический симптом, возникающий в процессе психоаналитического лечения и характеризующийся вовлечением личности психоаналитика в симптом клиента. Изначально невроз переноса рассматривался Фрейдом как препятствие для психоанализа и классифицировался им как вид сопротивления, но позднее он пришел к выводу, что невроз переноса является важнейшим терапевтическим механизмом, а его развитие — не помеха, а обязательный этап и условие успешного психоаналитического лечения.

Механизм симптомообразования я вообще проследил лишь для истерического невроза. Если вы и не приобрели солидного знания и не запомнили всех деталей, то я все же надеюсь, что вы получили представление о том, какими средствами работает психоанализ, за решение каких вопросов он берется и какие результаты он получил.

Я приписал вам желание, чтобы я начал изложение неврозов с поведения нервнобольных, с изображения того, как они страдают от своего невроза, как от него защищаются и к нему приспосабливаются. Это, несомненно, интересный и достойный изучения материал, также и не очень трудный для обработки, но все же сомнительно с него начинать. Рискуешь не обнаружить

бессознательное, при этом проглядеть большое значение либидо и все отношения оценивать такими, какими они кажутся Я нервнобольного. То, что это Я не является надежной и беспристрастной инстанцией, очевидно. Ведь Я — это сила, которая отрицает бессознательное и низводит его до вытесненного, и разве можно считать его способным отдать должное этому бессознательному? К этому вытесненному в первую очередь относятся отвергнутые требования сексуальности; совершенно естественно, что мы никогда не сможем догадаться об их объеме и значении, если будем рассматривать их с позиции Я. С того момента, когда у нас начинает вырисовываться представление о вытеснении, мы оказываемся также предупреждены не делать судьей в споре одну из спорящих сторон, к тому же еще и побеждающую. Мы готовы к тому, что показания Я введут нас в заблуждение. Если верить Я, то на всех участках оно было активным, само хотело создать и создало симптомы. Мы знаем, что оно позволяет себе изрядную долю пассивности, которую затем хочет скрыть и приукрасить. Правда, оно не всегда решается на такую попытку; в случае симптомов невроза навязчивости нужно признать, что ему противостоит нечто чуждое, от которого оно защищается лишь с огромным трудом.

Кто не может удержать себя этими предостережениями от того, чтобы принимать за чистую монету подделки Я, тому, разумеется, в таком случае легко живется, и он не сталкивается со всеми теми сопротивлениями, которые противостоят психоаналитическому подчеркиванию бессознательного, сексуальности и пассивности Я. Тот может, подобно Альфреду Адлеру (1912), утверждать, что «нервный характер» является причиной невроза, а не его следствием, но он будет также не в состоянии объяснить хотя бы одну деталь симптомообразования или отдельное сновидение.

Альфред Адлер (1870–1937) — австрийский психолог, психиатр и мыслитель, создатель системы индивидуальной психо-

логии, а также основатель концепции индивидуальной теории личности.

Вы спросите: разве не существует возможности правильно оценить причастность Я к нервозности и к симптомообразованию, при этом грубо не пренебрегая открытыми психоанализом моментами? Я отвечаю: разумеется, это должно быть возможным и когда-нибудь это случится; но начинать именно с этого — не соответствует направлению работы психоанализа. Пожалуй, можно предсказать, когда психоанализ столкнется с этой задачей. Существуют неврозы, при которых Я задействовано гораздо более интенсивно, чем при неврозах, которые мы изучали до этого; мы называем их «нарциссическими» неврозами. Аналитическая переработка этих расстройств даст нам возможность беспристрастно и достоверно оценить участие Я в невротическом заболевании.

Нарциссизм — черта характера, заключающаяся в исключительной самовлюбленности. Термин происходит из греческого мифа о Нарциссе, прекрасном молодом человеке, который отверг любовь нимфы Эхо.

В психологии и психиатрии чрезмерный нарциссизм рассматривают как серьезную личностную дисфункцию, или расстройство личности. Фрейд считал, что некоторый нарциссизм является неотъемлемой частью любого человека с самого его рождения, и был первым, кто применил этот термин в психологии. Вспомним его работу «К введению в нарциссизм (О нарцизме)», где Фрейд пояснял: «Термин “нарцизм” заимствован нами из описаной P. Näcke в 1899 г. картины болезни. Термин этот применялся им для обозначения состояния, при котором человек относится к собственному телу, как к сексуальному объекту, т. е. любуется им с чувством сексуального удовольствия, гладит его, ласкает до тех пор, пока не получает от этого полного удовлетворения. Такая форма проявления нарцизма представляет из себя извращение, захватывающее всю область сексуальной жизни данного лица, и вполне соответствует тем представлениям и предположениям, с которыми мы обычно приступаем к изучению всех извращений».

Однако одно из отношений Я к своему неврозу является столь очевидным, что его можно было учитывать с самого начала. По-видимому, оно присутствует во всех случаях; но отчетливее всего его можно выявить при нарушении, которое сегодня пока еще далеко от нашего понимания, — при травматическом неврозе. Собственно, вы должны знать, что в возникновении и в механизме всевозможных форм неврозов постоянно вступают в действие одни и те же моменты, только здесь основное значение для симптомообразования придается одному из этих моментов, а там — другому. Дело обстоит, как с составом театральной труппы, в которой у каждого есть свое определенное амплуа: герой, предатель, интриган и т.д.; но для своего бенефиса каждый изберет другую пьесу. Так и фантазии, которые обращаются в симптомы, нигде не являются более осязаемыми, чем при истерии; контркатексисы и реактивные образования Я преобладают в картине при неврозе навязчивости; то, что в случае сновидения мы назвали вторичной переработкой, в качестве бреда стоит на первом месте при паранойе и т.д.

Катексис (*англ.* cathexis) — термин динамической психологии, соответствующий нем. слову besetzung (букв.: инвестирование, вложение, вклад). Согласно З. Фрейду, катексис — «энергетический заряд», своеобразный квант психосексуальной энергии. Ученый пользовался этим понятием для обозначения энергии бессознательного, которая переключается и прочно сцепляется с некоторыми объектами (точнее, с образами этих объектов). В более широком смысле катектируемые объекты — это небезразличные для субъекта предметы, люди, знаки, действия, идеи; иначе говоря, это объекты, вызывающие интерес и имеющие для него личностный смысл. Например, к первым объектам, катектируемым ребенком, обычно относятся родители. *Контракатексис* — энергия, вложенная для поддержания вытеснения катектированного процесса.

Вторичная переработка — один из психических процессов, принимающих участие в образовании сновидений и невротических заболеваний.

Представление о вторичной переработке было выдвинуто Фрейдом при рассмотрении работы сновидений. В книге «Толкование сновидений» (1900) он провел различие между скрытыми мыслями сновидения и его явным содержанием.

Таким образом, при травматических неврозах, особенно при таких, которые возникают вследствие ужасов войны, для нас становится несомненным эгоистичный, стремящийся к защите и выгоде мотив Я, который пусть и не может самостоятельно создать болезнь, но дает согласие на нее и ее поддерживает, если она однажды возникла. Этот мотив хочет уберечь Я от опасностей, угроза которых стала поводом заболевания, и не допустит выздоровления раньше, чем покажется исключенным повторение этих опасностей, или только после того, как будет получено возмещение за перенесенную опасность.

Но такую же заинтересованность в возникновении и сохранении невроза Я проявляет во всех других случаях. Мы уже говорили, что симптом поддерживается также и Я, поскольку у него имеется сторона, которой он предоставляет удовлетворение вытесняющей тенденции Я. Впрочем, завершение конфликта посредством симптомообразования — самый удобный и самый приемлемый для принципа удовольствия выход из ситуации; оно, несомненно, избавляет Я от большой и воспринимаемой как неприятная внутренней работы. Более того, бывают случаи, в которых даже врач должен признать, что разрешение конфликта посредством невроза представляет собой самое безобидное и наиболее социально приемлемое решение. Не удивляйтесь, если услышите, что даже врач порой принимает сторону болезни, с которой он борется. Ведь ему не подобает по отношению ко всем ситуациям жизни ограничивать себя ролью фанатика от здоровья, он знает, что в мире существует не только невротическая беда, но и реальное, неустранимое страдание, что необходимость может потребовать от человека также того, чтобы он принес в жертву свое здоро-

вье, и он узнает, что такой жертвой отдельного человека часто предотвращается самое серьезное несчастье для многих других. Таким образом, если можно было сказать, что невротик всякий раз в случае конфликта совершает бегство в болезнь, то нужно признать, что в иных случаях это бегство совершенно оправданно, а врач, распознавший подобное положение вещей, безмолвно удалится, проявив снисхождение к больному.

Но в дальнейшем обсуждении мы отрешимся от этих исключительных случаев. При обычных средних условиях мы видим, что благодаря отступлению в невроз Я получает определенную внутреннюю выгоду от болезни. К этому в иных жизненных ситуациях добавляется ощутимое внешнее преимущество, более или менее высоко ценимое в реальности. Рассмотрим чаще всего встречающийся случай этого рода. Жена, с которой грубо обращается и которую беспощадно использует ее муж, довольно регулярно находит выход в неврозе, если ей это позволяют ее задатки, если она слишком малодушна или слишком нравственна, чтобы втайне найти утешение у другого мужчины, если она недостаточно сильна, чтобы вопреки всем внешним препятствиям разойтись со своим мужем, если у нее нет перспективы самой добывать средства к существованию или получить лучшего мужа и если, кроме того, своим сексуальным ощущением она по-прежнему привязана к этому грубому мужу. Ее болезнь становится теперь ее оружием в борьбе с чересчур сильным мужем, оружием, которое она может употребить для своей защиты и злоупотребить для своей мести. Она может жаловаться на свою болезнь, в то время как, вероятно, на свой брак она пожаловаться не могла. Она находит помощника во враче, она заставляет обычно беспощадного мужа щадить ее, тратиться на нее, позволять ей иногда отсутствовать дома и вместе с тем избавляться от супружеского гнета. Там, где такая внешняя или акцидентная выгода от болезни весьма значительна и нельзя найти реальной замены, вы не

будете вправе оценивать возможность влияния на невроз при помощи своей терапии как большую.

Вы упрекнете меня: то, что я вам рассказал о выгоде от болезни, полностью говорит в пользу отвергнутого мною воззрения, что Я само хочет создать и создает невроз. Не торопитесь, уважаемые господа: пожалуй, это означает не более того, что Я мирится с неврозом, которому оно все же не может помешать, и что оно делает самое лучшее из него, если оно вообще что-то может из него сделать. Это лишь одна сторона дела, правда, приятная. Поскольку невроз имеет преимущества, Я, пожалуй, с ним соглашается, но он имеет не только преимущества. Как правило, вскоре выясняется, что Я, согласившись на невроз, совершило плохую сделку. Оно слишком дорого заплатило за ослабление конфликта, и ощущения страдания, которые привязываются к симптомам, возможно, являются эквивалентной заменой мучений конфликта, но, вероятно, имеют еще большее количество неудовольствия. Я хотелось бы избавиться от этого неудовольствия от симптомов, не поступаясь, однако, выгодой от болезни, и как раз этого оно сделать не может. При этом затем оказывается, что оно было не таким уж активным, каким считало себя, давайте возьмем это себе на заметку.

Выгода от болезни — бессознательно мотивируемое стремление извлечь выгоду из невротических симптомов или болезни. При первичной выгоде внутренний мотив ведет к образованию и первому проявлению симптомов — например, наблюдаемых при некоторых невротических (группа расстройств, представляющих собой психопатологическую реакцию на неразрешимую и непереносимую психотравмирующую ситуацию) и соматоформных (группа психогенных заболеваний, в клинической картине которых психические нарушения скрываются за соматовегетативными симптомами, напоминающими соматическое заболевание, но при этом не обнаруживается никаких органических проявлений, которые можно было бы отнести к известной в медицине болезни) расстройствах. Вторичная выгода представляет собой преимущество, которое пациент получает от уже сфор-

мированных симптомов. Эта выгода не приводит к симптомообразованию, но способствует закреплению болезни и сопротивлению лечению. Выгода от болезни в защитном и адаптивном отношении меняется с момента симптомообразования в бесконечном процессе защитных усилий Я. Став заложниками выгоды, пациенты очень часто уходят в свою болезнь, таким образом пытаясь как можно дольше получать внимание и заботу близких и окружающих.

Уважаемые господа, когда вам в роли врача придется иметь дело с невротиками, вы вскоре откажетесь от ожидания, что те из них, которые сильнее всего сокрушаются, жалуются на свою болезнь, будут охотнее всех идти навстречу предлагаемой помощи и оказывать ей наименьшее сопротивление. Скорее наоборот. Но, пожалуй, вы легко поймете, что все, что вносит вклад в выгоду от болезни, будет усиливать сопротивления, проистекающие от вытеснения, и затруднять терапию. К той части выгоды от болезни, которая, так сказать, рождается вместе с симптомом, мы должны, однако, добавить еще и другую, которая появляется позже. Если такая психическая организация как болезнь сохранялась долгое время, то в конце концов она начинает вести себя, как самостоятельное существо; она проявляет нечто сродни влечению к самосохранению, между нею и другими частями душевной жизни, даже такими, которые, в сущности, ей враждебны, формируется своего рода modus vivendi[1], и едва ли может быть так, чтобы не возникали возможности, при которых она снова оказывается полезной и пригодной, так сказать, приобретает вторичную функцию, снова делающую ее более прочной.

Вместо примера из патологии возьмите яркий пример из повседневной жизни. Умелый работник, зарабатывающий себе на жизнь, в результате несчастного случая на работе становится калекой; с работой теперь покончено, но со временем пострадавший получает небольшую пенсию по увечью и научается пользоваться своим увечьем,

[1] Образ жизни *(лат.)*.

как нищий. Его новое, хотя и ухудшившееся существование основывается теперь как раз на том, что лишило его первой формы существования. Если вы сможете устранить его уродство, то прежде всего лишите его средств к существованию; возникает вопрос, способен ли он снова взяться за свою прежнюю работу. То, что при неврозе соответствует такому вторичному использованию болезни, мы можем присоединить в качестве вторичной выгоды от болезни к первичной.

В целом же мне хочется вам сказать, что не стоит недооценивать практическое значение выгоды от болезни, но и не надо допускать того, чтобы оно производило на вас сильное впечатление в теоретическом отношении. Если отрешиться от ранее упомянутых исключений, она все же всегда напоминает примеры «смышлености» животных, которые Оберлендер проиллюстрировал в журнале «Fliegende Blätter». Араб едет верхом на своем верблюде по узкой тропинке, высеченной на отвесном склоне горы. На повороте дороги он вдруг видит перед собой готового к прыжку льва. Он не видит никакого выхода; с одной стороны отвесная стена, с другой — пропасть; развернуться и убежать невозможно; он считает себя погибшим. Иначе поступает животное. Оно вместе со своим всадником совершает прыжок в пропасть — и лев остается ни с чем. Как правило, не дает лучшего результата для больного и помощь, оказываемая неврозом. Наверное, это получается потому, что разрешение конфликта посредством симптомообразования является все же автоматическим процессом, который отвечать требованиям жизни не может и при котором человек отказывается от использования своих лучших и высших сил. Если бы имелся выбор, то следовало бы предпочесть погибнуть в честном бою с судьбой.

Уважаемые господа! Я все же обязан вам разъяснить еще и другие мотивы того, почему при изложении теории неврозов я не исходил из общей нервозности. Быть может, вы предположите, что я сделал так потому, что в таком случае доказательство сексуальной этиологии

неврозов доставило бы мне большие трудности. Но тут вы бы ошиблись. При неврозах переноса сперва нужно проделать всю работу по толкованию симптомов, чтобы прийти к этому выводу. При обычных формах так называемых актуальных неврозов этиологическое значение сексуальной жизни является грубым, легко доступным наблюдению фактом. Я натолкнулся на него более двадцати лет назад, когда однажды задал себе вопрос, почему при расспросах нервнобольных с такой регулярностью не принимаются во внимание их сексуальные проявления. Тогда этим исследованием я принес в жертву мою популярность у больных, но уже после недолгих стараний смог высказать тезис, что при нормальной vita sexualis[1] невроза — я имею в виду: актуального невроза — не бывает.

Разумеется, этот тезис слишком легко отбрасывает индивидуальные различия между людьми, кроме того, он страдает неопределенностью, которую нельзя отделить от оценки «нормального», но он еще и сегодня сохраняет свое значение для общей ориентировки. Тогда я продвинулся так далеко, что установил специфические отношения между определенными формами нервозности и отдельными вредными проявлениями сексуальности, и я не сомневаюсь в том, что сегодня смог бы повторить эти наблюдения, если бы в моем распоряжении имелся аналогичный материал о больных. Довольно часто я узнавал, что мужчина, который довольствовался определенным способом неполного сексуального удовлетворения, например мануальным онанизмом, заболевал определенной формой актуального невроза и что этот невроз сразу же уступал место другому, если тот переходил к столь же небезупречному сексуальному режиму. В таком случае я был способен по изменению состояния больного догадаться о перемене в его сексуальном образе жизни. Тогда я также научился упорствовать в своих предположениях до тех пор, пока не преодолевал неискренность пациентов и не вынуждал их

[1] Сексуальной жизни *(лат.)*.

к подтверждению. Верно и то, что тогда они предпочитали обращаться к другим врачам, которые не расспрашивали с таким усердием об их сексуальной жизни. Тогда от меня также не могло ускользнуть и то, что причины возникновения заболевания не всегда указывали на сексуальную жизнь. Один, правда, непосредственно заболевал от сексуальной вредности, но другой — потому, что потерял свое имущество или перенес истощающую органическую болезнь. Объяснение этого многообразия появилось позднее, когда нам стали понятными взаимоотношения между Я и либидо, и оно становилось тем более удовлетворительным, чем глубже было это понимание. Человек только тогда заболевает неврозом, когда его Я утратило способность каким-либо образом размещать либидо. Чем сильнее Я, тем легче ему решить эту задачу; любое ослабление Я по той или иной причине должно оказывать такое же воздействие, как и чрезмерное усиление требования либидо, то есть способствовать развитию невротического заболевания. Существуют еще и другие и более тесные отношения между Я и либидо, которые, однако, пока еще не попали в наше поле зрения и которые я поэтому не привлекаю здесь для объяснения. Важным и проясняющим для нас остается то, что в каждом случае, причем не имеет значения, каким путем возникло заболевание, симптомы невроза оплачиваются либидо и, таким образом, свидетельствуют о его неправильном применении.

Здесь необходимо различать невроз и невротические расстройства, представляющие собой широкую группу заболеваний, в которую также входят этиологически и клинически неидентичные проявления невроза и тревоги. В возникновении невротических расстройств первичную роль играет взаимодействие между различными факторами, включая психологические, генетические, стресс, биологические нарушения. Фрейд рассматривает наикратчайшую связь между неврозом и либидо, в то время как невротические расстройства в основе своей имеют комплексные механизмы, далеко не ограничивающиеся преимущественной ролью либидо.

Несмотря на то, что концепция невроза долгое время оставалась центральной в классификации невротических расстройств, сегодняшнее понимание тревожных расстройств не придает неврозу исключительного значения. Впрочем, и сам Фрейд делал четкое различие между неврозом и тревогой, о чем он и повествует в следующей лекции.

Тут, однако, я должен обратить ваше внимание на коренное различие между симптомами актуальных неврозов и симптомами психоневрозов, из которых до сих пор нас столь занимала первая группа, неврозы переноса. В обоих случаях симптомы проистекают из либидо, то есть являются неправильными его употреблениями, заменой удовлетворения. Однако симптомы актуальных неврозов — давление в голове, болевое ощущение, состояние возбуждения органа, слабость или торможение некоей функции — «смысла», психического значения не имеют. Они не только преимущественно проявляются на теле, как и, к примеру, истерические симптомы, но и сами сплошь представляют собой телесные процессы, при возникновении которых все сложные душевные механизмы, с чем мы познакомились, отпадают. Стало быть, они действительно являются тем, чем мы так долго считали психоневротические симптомы. Но как тогда они могут соответствовать употреблениям либидо, с которыми мы познакомились как с силой, действующей в психическом? Что ж, уважаемые господа, это очень просто. Позвольте мне напомнить одно из самых первых возражений, которое приводили против психоанализа. Тогда говорили, что он пытается дать чисто психологическую теорию невротических явлений, а это совершенно бесперспективно, ибо психологические теории никогда не смогут объяснить болезнь. Соизволили позабыть, что сексуальная функция ничего чисто душевного собой не представляет, точно так же, как и чего-то исключительно соматического. Она оказывает влияние как на телесную, так и на душевную жизнь. Если в симптомах психоневрозов мы познакомились с проявлениями расстройства в ее психических воздействиях, то не будем удивлены, обнаружив

в актуальных неврозах непосредственные соматические последствия сексуальных расстройств.

Для понимания последних медицинская клиника дает нам ценное указание, которое учитывалось также разными исследователями. Актуальные неврозы в деталях своей симптоматики, но также и в своем свойстве оказывать влияние на системы органов и все функции, обнаруживают очевидное сходство с болезненными состояниями, которые возникают в результате хронического влияния посторонних ядовитых веществ и в результате резкого их лишения, с интоксикациями и состояниями абстиненции. Еще теснее обе группы расстройств примыкают друг к другу благодаря таким состояниям, как при базедовой болезни, которые мы также привыкли относить к воздействию ядовитых веществ, но не тех ядов, которые, будучи чуждыми, вводятся в тело, а которые образуются в результате его собственного обмена веществ. Я думаю, что в соответствии с этими аналогиями мы не можем обойтись без того, чтобы не рассматривать неврозы как следствие нарушений в обмене сексуальных веществ, будь они обусловлены тем, что эти сексуальные токсины продуцируются в большем количестве, чем может осилить человек, или же тем, что внутренние и даже психические условия препятствуют правильному использованию этих веществ. Душа народа с давних пор придерживалась таких предположений о природе сексуального желания, она называет любовь «опьянением» и полагает, что влюбленность вызывается любовным напитком, помещая при этом действующие агенты в известной мере вовне. Для нас здесь был бы повод вспомнить об эрогенных зонах и утверждении, что сексуальное возбуждение может возникать в самых разных органах. Но, впрочем, для нас словосочетание «обмен сексуальных веществ» или «химизм сексуальности» — это ящик без содержимого; мы ничего об этом не знаем и не можем даже решить, должны ли мы предполагать наличие двух сексуальных веществ, которые мы в таком случае назвали бы «мужским» и «женским», или же мы можем довольствоваться одним

сексуальным токсином, в котором должны усматривать носителя всех раздражающих воздействий либидо. Научная система психоанализа, что мы создали, — это на самом деле надстройка, которая должна быть когда-нибудь поставлена на свой органический фундамент; но пока еще мы его не знаем.

Психоанализ как наука характеризуется не материалом, который он обрабатывает, а техникой, которой он работает. Его точно так же можно применять к истории культуры, религиоведению и мифологии, как и к теории неврозов, не учиняя насилия над его сущностью. Он не ставит перед собой никакой другой цели, кроме как раскрыть бессознательное в душевной жизни, и добивается этого. Проблемы актуальных неврозов, симптомы которых, вероятно, возникают вследствие прямого токсического вреда, не предоставляют психоанализу точек приложения, он может дать лишь немногое для их объяснения и должен уступить эту задачу биолого-медицинскому исследованию. Наверное, теперь вы лучше понимаете, почему я не выбрал другую расстановку своего материала. Если бы я обещал вам «Введение в теорию неврозов», то, несомненно, более правильным был бы путь от простых форм актуальных неврозов к сложным психическим заболеваниям, вызванным нарушением либидо. При обсуждении первых я должен был бы сопоставить все то, что мы с разных сторон узнали или полагаем, что знаем, а при обсуждении психоневрозов речь бы тогда зашла о психоанализе как самом важном техническом вспомогательном средстве для прояснения этих состояний. Но я поставил и объявил целью «Введение в психоанализ»; для меня было важнее, чтобы вы получили представление о психоанализе, нежели определенные знания о неврозах, и тут я был вправе не выдвигать больше на передний план бесполезные для психоанализа актуальные неврозы. Я также считаю, что сделал для вас более благоприятный выбор, ибо из-за своих глубоко идущих предположений и всеобъемлющих связей психоанализ заслуживает того, чтобы привлечь к себе интерес всякого

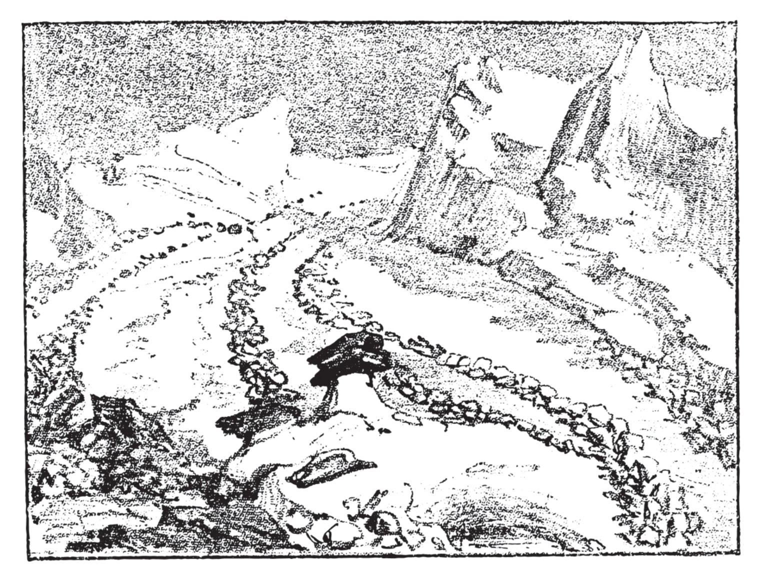
образованного человека; теория же неврозов — это глава медицины, одна среди прочих.

Между тем вы вправе будете ожидать, что мы должны проявить также некоторый интерес и к актуальным неврозам. К этому нас вынуждает уже их тесная связь с психоневрозами. Поэтому я хочу вам сообщить, что мы различаем три чистые формы актуальных неврозов: неврастению, невроз тревоги и ипохондрию.

Неврастения — психическое расстройство из группы неврозов, проявляющееся в повышенной раздражительности, утомляемости, утрате способности к длительному умственному и физическому напряжению. Впервые описана американским врачом Георгом Бирдом в 1869 году.

Невроз тревоги и ипохондрия — состояния человека, проявляющиеся в постоянном беспокойстве по поводу возможности заболеть одной или несколькими болезнями, жалобах или озабоченности своим физическим здоровьем, восприятии своих обычных ощущений как ненормальных и неприятных, предположениях, что кроме основного заболевания есть какое-то дополнительное. При этом человек может считать, что знает, какое у него «на самом деле» заболевание, но степень его убежденности обычно раз от раза меняется, и он считает более вероятным то одно заболевание, то другое.

Также и это разделение не осталось без возражений. Хотя все эти названия вошли в употребление, однако их содержание является неопределенным и неустойчивым. Есть также врачи, которые противятся всякому разделению в запутанном мире невротических явлений, всякому выделению клинических единиц, индивидов болезни, и даже не признают разделения актуальных неврозов и психоневрозов. Я думаю, что они заходят слишком далеко и не вступили на путь, который ведет к прогрессу. Указанные формы невроза иногда встречаются в чистом виде; чаще, однако, они смешиваются между собой и с психоневротическим расстройством. То, что такое встречается, не должно подвигнуть нас к тому, чтобы отказаться от их разделения. Вспомните о различии между



учением о минералах и петрологией в минералогии. Минералы описываются как индивиды, разумеется, с опорой на то обстоятельство, что они часто встречаются в виде кристаллов, резко отграниченных от их окружения. Камни состоят из смесей минералов, соединившихся, разумеется, не случайно, а вследствие условий их возникновения. В теории неврозов мы пока еще слишком мало понимаем о ходе развития, чтобы создать нечто похожее на учение о камнях. Но, разумеется, мы поступаем правильно, когда из массы в первую очередь выделяем знакомых нам клинических индивидов, сопоставимых с минералами.

Заслуживающая внимания связь между симптомами актуальных неврозов и психоневрозов вносит для нас еще один важный вклад в познание симптомообразования у последних; собственно говоря, симптом актуального невроза часто является ядром и предварительной ступенью психоневротического симптома. Отчетливее всего это отношение можно наблюдать между неврастенией и неврозом переноса, получившим название конверсионной истерии, между неврозом тревоги и тревожной истерией, но также между ипохондрией и формами, которые впослед-

ствии будут упомянуты как парафрения (dementia praecox и paranoia). Возьмем в качестве примера случай истерической головной боли или боли в области крестца. Анализ показывает нам, что в результате сгущения и смещения она стала замещающим удовлетворением для целого ряда либидинозных фантазий или воспоминаний. Однако эта боль также была когда-то реальной, и тогда она напрямую представляла собой сексуально-токсический симптом, телесное выражение либидинозного возбуждения. Мы отнюдь не хотим утверждать, что все истерические симптомы содержат такое ядро, однако сохраняется в силе то, что так бывает особенно часто и что все — нормальные или патологические — влияния со стороны тела предпочитаются либидинозным возбуждением именно для образования симптомов истерии. В таком случае они играют роль той песчинки, которую улитка окутала слоями перламутра. Точно таким же образом преходящие признаки сексуального возбуждения, сопровождающие половой акт, используются психоневрозом в качестве самого удобного и самого пригодного материала для симптомообразования.

Аналогичный процесс представляет особый диагностический и терапевтический интерес. У лиц, которые предрасположены к неврозу, но при этом как раз выраженным неврозом не страдают, совсем не редко бывает так, что болезненное телесное изменение — вызванное, скажем, воспалением или повреждением — пробуждает работу симптомообразования, в результате чего она незамедлительно делает симптом, предоставленный ей реальностью, представителем всех тех бессознательных фантазий, которые только и ждали того, чтобы овладеть этим средством выражения. В таком случае врач идет то одним, то другим путем терапии — либо хочет устранить органическую основу, не интересуясь ее парализующей невротической переработкой, либо пытается одолеть невроз, возникший при удобном случае, а на его органический повод обращает мало внимания. Успех покажет правоту или неправоту то этого, то иного вида усилий; для таких смешанных случаев едва ли можно установить общие предписания.

Двадцать пятая лекция
Тревога

Уважаемые дамы и господа! То, что я рассказал вам в последней лекции об общей нервозности, вы наверняка признали самым неполным и недостаточным из моих сообщений. Я это знаю и полагаю, что ничто другое не удивило вас так, как то, что в ней ни слова не было сказано о тревоге, на которую, однако, жалуется большинство нервнобольных, которые сами характеризуют ее как самое ужасное страдание, и она действительно достигает у них необычайной интенсивности и может иметь следствием самые безумные меры. Но во всяком случае в этом вопросе я не хотел бы ничего сокращать; напротив, я решил для себя представить проблему тревоги у нервнобольных особенно четко и подробно вам ее изложить.

Мне нет надобности представлять вам саму тревогу; каждый из нас когда-то однажды на собственном опыте познакомился с этим ощущением, или, точнее сказать, с этим аффективным состоянием. Но я думаю, что никто никогда в достаточной мере серьезно не задавался вопросом, почему именно нервнобольные гораздо чаще и гораздо сильнее испытывают тревогу, чем другие. Возможно, это сочли совершенно естественным; ведь часто слова «нервный» и «тревожный» используются одно вместо другого, как если бы они означали одно и то же. Но для этого нет оснований; есть тревожные люди, которые обычно нервными отнюдь не являются, и, кроме того, нервнобольные, страдающие многочисленными симптомами, среди которых, однако, склонность к тревоге не обнаруживается.

Как бы то ни было, следует констатировать, что проблема тревоги является узловой точкой, где сходятся самые разные и самые важные вопросы, загадка, решение которой во многом должно пролить свет на всю нашу душевную жизнь. Я не буду утверждать, что смогу дать вам это полное решение, но вы, наверное, будете ожидать, что психоанализ также и к этой теме подойдет совершенно

иначе, чем академическая медицина. Там, по-видимому, интересуются прежде всего тем, по каким анатомическим путям возникает состояние тревоги. Утверждают, что раздражается medulla oblongata[1], и больной узнает, что страдает неврозом nervus vagi[2]. Medulla oblongata — очень серьезный и красивый объект. Я совершенно точно помню, сколько времени и труда много лет назад я посвятил его изучению. Но сегодня я должен сказать, что не знаю ничего, что могло бы быть для меня более безразличным для психологического понимания тревоги, чем знание нервного пути, по которому проходят ее возбуждения.

Такое резкое и даже уничижительное высказывание Фрейда сделано в духе зарожденного в те времена противостояния двух подходов в изучении психики, в частности — тревоги: физиологии и психологии. Начиная со второй половины прошлого столетия, нейрофизиология значительно продвинулась в понимании биологии тревоги и тревожных расстройств, что увенчалось внедрением эффективных фармакологических методов лечения. Заметных терапевтических успехов добилась и когнитивно-поведенческая терапия, оказывающая схожее с фармакологией нейрофизиологическое воздействие в мозгу пациентов, что оправдывает ставшую обычной и рекомендуемую практику комбинирования двух методов. Однако клинический опыт показывает, что именно фармакологическое лечение является методом первого выбора в тревожных расстройствах, в силу решающей роли нейроанатомических структур в их возникновении и течении. Кроме того, в пользу физиологического объяснения тревоги говорят и исследования на животных, точно модулирующих страх, поведенческие реакции и демонстрирующие, что в их основе лежат одни и те же структуры мозга, как у людей, так и у животных.

О тревоге можно подолгу говорить, вообще не упоминая нервозности. Вы сразу меня поймете, если я назову эту тревогу реальным страхом в противоположность невротической тревоге. Реальный страх кажется нам чем-то весьма рациональным и понятным. Мы скажем о нем, что

[1] Продолговатый мозг *(лат.)*.
[2] Блуждающий нерв *(лат.)*.

он представляет собой реакцию на восприятие внешней опасности, то есть ожидаемого, предвосхищаемого повреждения, он связан с рефлексом бегства, и его можно рассматривать как выражение влечения к самосохранению. При каких поводах, то есть перед какими объектами и в каких ситуациях появляется этот страх, конечно, большей частью будет зависеть от состояния нашего знания и от ощущения нашей силы по отношению к внешнему миру. Мы находим совершенно естественным, что дикарь боится пушки и опасается солнечного затмения, тогда как белый человек, который умеет обращаться с орудием и может предсказать событие, при этих условиях остается спокойным. В другой раз именно избыток знания содействует появлению страха, поскольку это позволяет своевременно распознавать опасность. Так, дикарь испугается следов в лесу, которые ничего не говорят несведущему, но ему выдают близость хищного зверя, а опытный мореплаватель с ужасом будет смотреть на облачко в небе, кажущееся незначительным пассажиру, тогда как именно мореплавателю оно предвещает приближение урагана.

При дальнейшем размышлении приходится сказать, что суждение о реальном страхе, будь он рациональным и целесообразным, нуждается в основательном пересмотре. Единственно целесообразным поведением при грозящей опасности была бы, собственно говоря, холодная оценка собственных сил в сравнении с величиной угрозы, а вслед за этим принятие решения о том, что сулит больше шансов на благополучный исход — бегство или защита, возможно, даже нападение. В этом контексте, однако, для тревоги вообще не находится места; все, что случается, происходило бы точно так же и, вероятно, еще лучше, если бы к развитию тревоги это не приводило. Вы также видите, что когда тревога становится слишком сильной, она оказывается совершенно нецелесообразной, тогда она парализует всякое действие, в том числе и бегство. Обычно реакция на опасность состоит из смешения аффекта страха и реакции защиты. Испуганное животное боится и убегает, но целесообразным в этом является «бегство», а не «боится».

Таким образом, мы испытываем искушение утверждать, что развитие тревоги никогда не бывает чем-то целесообразным. Возможно, лучшему пониманию поможет, если более тщательно разложить ситуацию тревоги. Первое в ней — это готовность к опасности, которая выражается в повышенном сенсорном внимании и моторном напряжении. Эту готовность-ожидание, несомненно, надо признать полезной, более того, ее отсутствие может привести к серьезным последствиям. Из нее, с одной стороны, проистекает моторное действие, прежде всего бегство, на более высокой ступени — активная защита; с другой стороны — то, что мы ощущаем как состояние тревоги. Чем больше развитие тревоги ограничивается простой подготовкой, одним только сигналом, тем проще осуществляется переход тревожной готовности в действие, тем более целесообразный вид принимает весь ход событий. Стало быть, в том, что мы называем тревогой, тревожная готовность представляется мне целесообразной, развитие тревоги — нецелесообразным.

Я избегаю детально останавливаться на вопросе, обозначается ли в нашем словоупотреблении тревогой, страхом, испугом одно и то же или явно различное. Я лишь считаю, что тревога относится к состоянию и обходится без объекта, тогда как страх направляет внимание как раз на объект. Испуг, напротив, имеет, по-видимому, особое значение, а именно подчеркивает воздействие опасности, которая не воспринимается в состоянии тревожной готовности. Так что можно было бы сказать, что человек посредством тревоги защищается от испуга.

От вас не сможет ускользнуть известная многозначность и неопределенность в употреблении слова «тревога». Чаще всего под тревогой понимают субъективное состояние, в котором оказывается человек вследствие восприятия «развития тревоги», и это состояние называют аффектом. Что же такое аффект в динамическом смысле? Во всяком случае, нечто весьма сложное по составу. Во-первых, аффект включает в себя определенные моторные иннервации или отводы, во-вторых, известные ощущения, причем

двоякого рода, восприятия состоявшихся моторных действий и непосредственные ощущения удовольствия и неудовольствия, которые, как принято говорить, придают аффекту основной тон. Но я не думаю, что этим перечислением оказалась затронутой сущность аффекта. При некоторых аффектах кажется, что можно заглянуть глубже и увидеть, что ядром, удерживающим вместе указанный ансамбль, является повторение определенного значимого переживания. Этим переживанием могло бы быть лишь очень раннее впечатление весьма общего характера, которое следует отнести к предыстории не индивида, а вида. Чтобы выразиться понятней, аффективное состояние построено точно так же, как истерический припадок; подобно ему, оно является осадком реминисценции.

Реминисценция (*от лат.* reminiscentia — воспоминание) — элемент художественной системы, заключающийся в использовании общей структуры, отдельных элементов или мотивов ранее известных произведений искусства на ту же (или близкую) тему. Одним из главных методов реминисценции (по определению воспоминания) являются аллюзия и ретроспекция рефлексирующего сознания.

Стало быть, истерический припадок можно сравнить с недавно образованным индивидуальным аффектом, нормальный аффект — с выражением всеобщей истерии, ставшей наследием.

Не думайте, что то, что я вам здесь сказал об аффектах, — общепризнанное достояние нормальной психологии. Напротив, это воззрения, которые взросли на почве психоанализа и освоены только там. То, что вы можете узнать в психологии об аффектах, например теория Джемса-Ланге, для нас, психоаналитиков, является прямо-таки непонятным и не обсуждаемым. Но и наше знание об аффектах мы не считаем очень надежным; это лишь первая попытка сориентироваться в этой темной области. Теперь я продолжу: что касается аффекта тревоги, то нам кажется, что мы знаем, какое раннее впечатление он воспроизводит в качестве повторения. Мы говорим себе,

что им является акт рождения, во время которого осуществляется та группировка ощущений неудовольствия, побуждений к отводу и телесных ощущений, ставшая прототипом воздействия угрозы для жизни и с тех пор воспроизводимая нами как состояние тревоги. Колоссальное усиление возбуждения вследствие временного прекращения обновления крови (внутреннего дыхания) было тогда причиной переживания тревоги; следовательно, первая тревога была токсической. Названием «тревога» — подчеркивается свойство стеснения дыхания, которое тогда было следствием реальной ситуации, а сегодня чуть ли не регулярно воспроизводится в аффекте. Мы признаем также многозначительным тот факт, что это первое состояние тревоги произошло вследствие отделения от матери. Разумеется, мы убеждены, что предрасположение к повторению первого состояния тревоги настолько основательно ассимилировалось организмом благодаря ряду бесчисленных поколений, что отдельный индивид не может избежать аффекта тревоги, даже если он, подобно легендарному Макдафу, «был вырезан из утробы матери», то есть самого акта рождения не испытал. Что стало прототипом состояния тревоги у других животных, отличных от млекопитающих, мы сказать не можем. Ведь мы также не знаем, какой комплекс ощущений у этих созданий эквивалентен нашей тревоге.

Возможно, вам будет интересно узнать, как можно прийти к подобной идее, что акт рождения является источником и прототипом аффекта тревоги. Умозрительное рассуждение имеет к этому самое незначительное отношение; скорее я позаимствовал ее у наивного мышления простого народа. Когда много лет тому назад мы, молодые врачи, работавшие в больнице, сидели за обеденным столом в ресторане, ассистент акушерской клиники рассказал, какая забавная история случилась во время последнего экзамена акушерок. Одну кандидатку спросили, что означает, если при родах в отходящих водах обнаруживается меконий (первородный кал, экскременты), и она с ходу ответила, что ребенку страшно.

Ее высмеяли и провалили. Но я втайне занял ее сторону и начал подозревать, что бедная женщина из народа верным чутьем обнаружила важную взаимосвязь.

Перейдем теперь к невротической тревоге. Какие новые формы проявления и отношения демонстрирует нам тревога у нервнобольных? Тут можно многое описать. Во-первых, мы находим общую тревожность, так сказать, свободно плавающую тревогу, готовую ухватиться за любое каким-либо образом подходящее содержание представления, влияющую на суждение, выбирающую ожидания, подстерегающую любую возможность, чтобы суметь себя оправдать. Мы называем это состояние «страхом ожидания» или «тревожным ожиданием». Люди, мучающиеся от этого вида тревоги, из всех возможностей всегда предвидят самую ужасную, любую случайность истолковывают как признак беды, любую неопределенность используют в худшем смысле. Склонность к такому ожиданию беды в качестве черты характера встречается у многих людей, которых в остальном нельзя назвать больными, их называют слишком тревожными или пессимистичными; однако бросающаяся в глаза степень тревожного ожидания регулярно относится к нервному расстройству, которое я назвал «неврозом тревоги» и причислил к актуальным неврозам.

Вторая форма тревоги в противоположность только что описанной, напротив, психически связана и присоединена к определенным объектам или ситуациям. Это — тревога чрезвычайно разнообразных и очень часто странных «фобий». Стэнли Холл, авторитетный американский психолог, совсем недавно взял на себя труд представить нам целый ряд этих фобий, дав им блистательные греческие наименования. Это звучит как перечисление десяти египетских казней, разве что их число значительно превышает десять. Послушайте, что может стать объектом или содержанием фобии: темнота, свободное пространство, открытые площади, кошки, пауки, гусеницы, змеи, мыши, гроза, острые предметы, кровь, закрытые пространства, толпа людей, одиночество, переход через мост, поездка

по морю и по железной дороге и т.д. При первой попытке сориентироваться в этой сутолоке напрашивается мысль выделить три группы. Некоторые из внушающих страх объектов и ситуаций также и для нас, нормальных людей, содержат нечто зловещее, связь с опасностью, а потому эти фобии кажутся нам понятными, хотя и весьма преувеличенными по своей силе. Так, например, большинство из нас испытывает неприятное чувство при столкновении со змеей. Фобия змей, можно сказать, является общечеловеческой, и Ч. Дарвин весьма впечатляюще описал, как он не мог защититься от страха перед набрасывавшейся на него змеей, хотя и знал, что защищен от нее толстым стеклом. Сюда относится большинство ситуационных фобий. Мы знаем, что во время поездки по железной дороге имеется больше шансов попасть в катастрофу, чем когда мы остаемся дома, а именно в результате столкновения поездов; мы также знаем, что корабль может пойти ко дну, при этом, как правило, люди тонут, но мы не думаем об этих опасностях и спокойно путешествуем на поезде и корабле. Нельзя также отрицать, что человек свалится в реку, если мост обрушится в тот момент, когда по нему идут, но это случается настолько редко, что как опасность вообще не принимается во внимание. Также и одиночество имеет свои опасности, и мы тоже избегаем его при определенных обстоятельствах; но речь не идет о том, что при каких-то условиях мы не в состоянии его выносить хотя бы совсем короткое время. То же самое относится к толпе людей, к закрытому пространству, грозе и т.п. Что поражает нас в этих фобиях невротиков, так это их интенсивность, а не само по себе их содержание. Тревога фобий прямо-таки несокрушима! И иной раз у нас возникает впечатление, что невротики боятся вовсе не тех вещей и ситуаций, которые при определенных условиях могут вызывать тревогу и у нас тоже и которым они дают те же названия.

Остается еще третья группа фобий, за которыми наше понимание вообще больше не поспевает. Если сильный взрослый мужчина из-за страха не может пройти по улице или площади своего родного, хорошо

знакомого города, если здоровой, хорошо развитой женщиной овладевает безотчетный страх, потому что кошка задела край ее платья или через комнату прошмыгнула мышь, то как мы можем установить связь с опасностью, которая у человека, страдающего фобией, все-таки, без сомнения, существует? При относящихся сюда фобиях животных речь не может идти об усилении общечеловеческих антипатий, ибо — как бы для демонстрации противоположного — существует много людей, которые не могут пройти мимо какой-либо кошки, чтобы не поманить ее к себе и не погладить. Мышь, которую так боятся женщины, вместе с тем является ласкательным именем первой степени; иная девушка, которая с удовлетворением слышит, что так ее называет возлюбленный, тем не менее в ужасе вскрикивает, когда видит милую зверюшку с этим же именем. Что касается мужчины, страдающего страхом улиц или площадей, то напрашивается единственное объяснение, что он ведет себя, как маленький ребенок. Ребенок воспитанием непосредственно приучается избегать таких ситуаций как опасных, и наш больной агорафобией действительно защищен от своего страха, когда его сопровождают по площади.

Обе описанные здесь формы тревоги, свободно плавающее тревожное ожидание и тревога, связанная с фобиями, независимы друг от друга. Одна не является, скажем, более высокой ступенью другой, они встречаются вместе лишь как исключение, да и то как бы случайно. Сильнейшая общая тревожность не обязательно выражается в фобиях; люди, вся жизнь которых ограничивается агорафобией, могут быть полностью свободны от пессимистического тревожного ожидания. Можно доказать, что некоторые из фобий, например страх площадей, страх железной дороги, приобретаются только в зрелые годы, другие, как то: страх темноты, грозы, животных — по-видимому, существуют с самого начала. Фобия первого вида имеет значение тяжелых болезней, последние скорее кажутся причудами, прихотью. У того, кто обнаруживает одну из фобий последнего рода, как правило, можно

заподозрить наличие и других, аналогичных. Я должен добавить, что все эти фобии мы причисляем к тревожной истерии, то есть рассматриваем их как расстройство, родственное известной конверсионной истерии.

Тип конверсионного расстройства — психогенного заболевания с разнообразной симптоматикой, напоминающей самые различные расстройства, при отсутствии органической причины болезни.

Третья из форм невротической тревоги представляет для нас загадку, поскольку мы полностью теряем из виду связь между тревогой и грозящей опасностью. Эта тревога проявляется, к примеру, при истерии в качестве сопутствующего явления истерических симптомов или при разного рода условиях возбуждения, где мы хотя и ожидали бы проявление аффекта, но именно аффекта тревоги меньше всего, или вызывается всеми условиями, одинаково непонятными для нас и для больного, в виде приступа свободной тревоги. Об опасности или о некоем поводе, который мог бы стать ею вследствие преувеличения, не может быть и речи. При таких спонтанных приступах мы затем узнаем, что комплекс, который мы называем состоянием тревоги, способен расщепляться. Весь приступ может замещаться отдельным, ярко выраженным симптомом — дрожью, головокружением, сердцебиением, одышкой, а общее чувство, по которому мы распознаем тревогу, может при этом отсутствовать или быть неотчетливым. И все же эти состояния, которые мы описываем как «эквиваленты тревоги», во всех клинических и этиологических отношениях можно приравнять к тревоге.

Современная психиатрия описывает две группы тревожных расстройств: фобические и другие. Первая группа характеризуется единственным или преобладающим симптомом — боязнью определенных ситуаций и предметов (открытое или закрытое пространство, социальные ситуации, животные, высота и т.д.), не представляющих текущей опасности, которых человек избегает или переносит с крайне тяжелым дискомфортом. Вторая группа объединяет расстройства, при кото-

рых проявление тревоги является основным симптомом и не ограничивается какой-либо конкретной внешней ситуацией (внезапные приступы паники, чрезмерная тревожность).

Теперь возникают два вопроса. Можно ли невротическую тревогу, при которой опасность не играет роли или играет лишь незначительную роль, связать с реальным страхом, сплошь и рядом являющимся реакцией на опасность? И как можно понять невротическую тревогу? И все же вначале мы будем придерживаться предположения: где есть тревога, там должно иметься также и нечто, из-за чего тревожатся.

Клинические наблюдения дают несколько указаний для понимания невротической тревоги, значение которых я хочу с вами обсудить.

а) Нетрудно установить, что тревожное ожидание или общая тревожность тесно связаны с определенными процессами в сексуальной жизни, скажем так: с определенными формами использования либидо. Самым простым и самым поучительным примером этого рода служат люди, которые подвергаются так называемому фрустрированному возбуждению, то есть у которых сильное сексуальное возбуждение не получает достаточного отвода, не приводит к удовлетворительному завершению. То есть, к примеру, у мужчин в период жениховства и у женщин, мужья которых обладают недостаточной потенцией или из мер предосторожности сокращают или прерывают половой акт. При таких обстоятельствах либидинозное возбуждение исчезает, а вместо него возникает тревога, как в форме тревожного ожидания, так и в виде приступов или эквивалентов приступов. Прерывание полового акта в целях предосторожности, если оно осуществляется в качестве основной сексуальной практики, столь регулярно становится причиной невроза тревоги у мужчин, но особенно у женщин, что во врачебной работе рекомендуется в подобных случаях в первую очередь исследовать эту этиологию. Тогда также бесчисленное количество раз можно убедиться на опыте, что невроз тревоги исчезает, если неверная сексуальная практика пресекается.

Насколько я знаю, факт взаимосвязи сексуального воздержания и состояний тревоги уже не оспаривается и врачами, далекими от психоанализа. Однако я могу вполне представить себе, что не преминут предпринять попытку перевернуть отношения, отстаивая точку зрения, что при этом речь идет о лицах, которые с самого начала склонны к тревожности и поэтому проявляют сдержанность также и в сексуальных вещах. Но этому категорически противоречит поведение женщин, сексуальная деятельность которых, по сути, носит пассивный характер, то есть определяется тем, как обращается с ними мужчина. Чем темпераментнее, то есть чем более склонна вступать в половые сношения женщина и чем способнее она получать удовлетворение, тем вернее она будет реагировать проявлениями тревоги на импотенцию мужчины или на coitus interruptus[1], тогда как у анестетических или малолибидинозных женщин такое обращение с ними играет гораздо менее важную роль.

Это же значение для возникновения состояний тревоги имеет столь горячо рекомендуемое ныне врачами сексуальное воздержание, разумеется, только тогда, когда либидо, которому отказано в удовлетворительном отводе, является достаточно сильным и по большей части оказывается неизрасходованным путем сублимации. Решение о том, будет ли результатом болезнь, всегда зависит от количественных факторов. Также и там, где речь идет не о болезни, а о форме характера, легко обнаружить, что сексуальное ограничение идет рука об руку с определенной тревожностью и склонностью к сомнениям, тогда как бесстрашие и лихая отвага приносят с собой полную свободу действий в удовлетворении сексуальной потребности. Как бы ни менялись и ни усложнялись эти отношения разнообразными культурными влияниями, для среднего человека остается все-таки фактом, что тревога связана с сексуальным ограничением.

Я сообщил вам далеко не все наблюдения, свидетельствующие в пользу утверждаемой генетической связи

[1] Прерванный половой акт *(лат.)*.

между либидо и тревогой. Сюда же, к примеру, относится еще и влияние известных фаз жизни на заболевания, сопровождающиеся тревогой, как то: пубертат и период менопаузы, которым можно приписать значительное усиление выработки либидо. В некоторых состояниях возбуждения можно непосредственно наблюдать также смешение либидо и тревоги и конечную замену либидо тревогой. Впечатление, которое получаешь от всех этих фактов, двоякого рода; во-первых, что речь идет о накоплении либидо, которое лишается своего нормального применения, во-вторых, что при этом целиком находишься в области соматических процессов. Каким образом из либидо возникает тревога, сперва непонятно; констатируешь только то, что либидо отсутствует, а вместо него наблюдается тревога.

б) Второе указание мы заимствуем из анализа психоневрозов, в особенности истерии. Мы слышали, что при этом расстройстве тревога часто проявляется в сопровождении симптомов, но также возникает несвязанная тревога, выражающаяся в виде приступа или стойкого состояния. Больные не могут сказать, из-за чего они тревожатся, и в результате несомненной вторичной переработки связывают ее с самыми естественными фобиями, такими как страх умереть, сойти с ума, страх апоплексического удара. Когда мы подвергаем анализу ситуацию, в которой возникли тревога или симптомы, сопровождаемые тревогой, то, как правило, можем указать, какой нормальный психический процесс отсутствовал и заменился феноменом тревоги. Выразим это иначе: мы конструируем бессознательный процесс таким образом, как если бы он не претерпел вытеснения и беспрепятственно продолжался, достигая сознания. Этот процесс также сопровождался бы определенным аффектом, и, к нашему удивлению, мы узнаем, что этот аффект, сопровождающий нормальный процесс, во всех случаях после вытеснения заменяется тревогой, независимо от того, каково его собственное качество. Стало быть, если мы имеем перед собой истерическое состояние тревоги, то его бессознательным коррелятом может быть побуждение сходного характера, то есть импульс трево-

ги, стыда, замешательства, но точно так же позитивное либидинозное возбуждение или враждебно агрессивное, например, гнев и ярость. То есть тревога является ходячей монетой, на которую можно поменять или меняются все аффективные побуждения, если относящееся к ним содержание представления подлежит вытеснению.

в) С третьим эмпирическим фактом мы сталкиваемся у больных с навязчивыми действиями, которых, похоже, примечательным образом пощадила тревога. Если мы попытаемся воспрепятствовать им в осуществлении этого навязчивого действия, их умывания, их церемониала, или если они сами отваживаются на попытку отказаться от своих навязчивостей, то ужасающая тревога заставляет их подчиниться навязчивости. Мы понимаем, что тревога была прикрыта навязчивым действием и что оно осуществлялось лишь для того, чтобы уберечь от этой тревоги. Стало быть, при неврозе навязчивости тревога, которая должна была бы возникнуть при иных обстоятельствах, заменяется симптомообразованием, а если мы обратимся к истерии, то обнаружим при этом неврозе аналогичную связь: как следствие процесса вытеснения — либо развитие тревоги в чистом виде, либо тревога с симптомообразованием, либо более полное симптомообразование без тревоги. Поэтому в абстрактном смысле, казалось бы, не было бы неверным сказать, что симптомы вообще образуются лишь для того, чтобы не допустить неизбежного при других обстоятельствах развития тревоги. Благодаря этому пониманию тревога, так сказать, перемещается в центр нашего интереса в проблемах неврозов.

Из наблюдений над неврозом тревоги мы заключили, что отвлечение либидо от его нормального применения, приводящее к возникновению тревоги, происходит на почве соматических процессов. Из анализов истерии и невроза навязчивости получается дополнение, что такое же отвлечение с тем же самым результатом может быть также следствием отвержения со стороны психических инстанций. Вот и все, стало быть, что нам известно о возникновении невротической тревоги; это

по-прежнему звучит довольно неопределенно. Но пока я не вижу пути, который повел бы дальше. Вторая задача, стоявшая перед нами, — установить связь между невротической тревогой, представляющей собой неправильно употребленное либидо, и реальным страхом, соответствующим реакции на опасности, — кажется еще более трудно разрешимой. Хотелось бы думать, что речь здесь идет о совершенно несовместимых вещах, и все же у нас нет средства отделить в ощущении друг от друга реальный страх и невротическую тревогу.

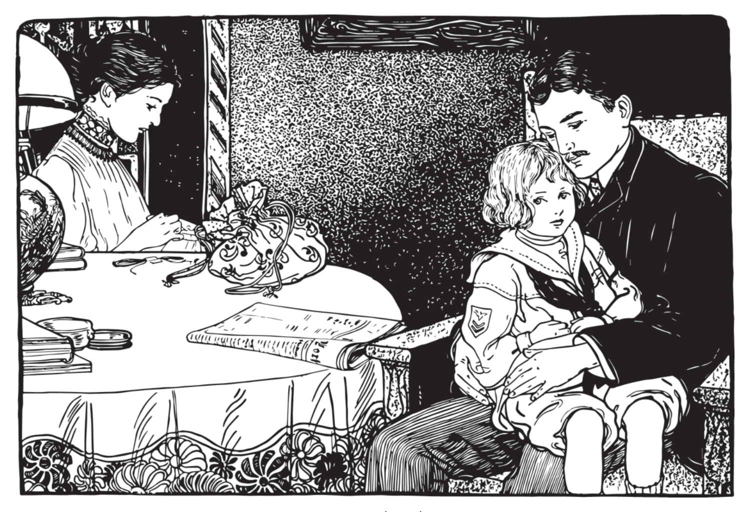
Искомая связь в конце концов устанавливается, если мы исходим из часто утверждавшейся противоположности между Я и либидо. Как мы знаем, развитие тревоги — это реакция Я на опасность и сигнал для обращения в бегство; поэтому нам совершенно естественно допустить, что при невротической тревоге Я предпринимает точно такую же попытку к бегству, сталкиваясь с требованием своего либидо, обходится с этой внутренней опасностью так, как если бы она была внешней. Тем самым сбылось бы ожидание, что там, где обнаруживается тревога, имеет место также и нечто такое, чего боятся. Но эту аналогию можно было бы продолжить. Подобно тому, как попытка к бегству перед внешней опасностью сменяется стойкостью и целесообразными мерами защиты, так и развитие невротической тревоги уступает место симптомообразованию, приводящему к связыванию тревоги.

Трудность понимания находится теперь в другом месте. Тревога, означающая бегство Я от своего либидо, должна все же происходить из самого этого либидо. Это непонятно и содержит призыв не забывать, что либидо человека, в сущности, все же принадлежит ему и что его нельзя противопоставлять человеку как нечто внешнее. Это является топической динамикой развития тревоги, которая нам пока еще неясна, где непонятно, какие душевные энергии при этом расходуются и каких психических систем. Я не могу вам обещать, что отвечу и на этот вопрос, однако мы не хотим упустить возможности пройти по двум другим следам и при этом снова воспользоваться непосредствен-

ным наблюдением и аналитическим исследованием, чтобы помочь нашему умозрительному рассуждению. Мы обратимся к возникновению тревоги у ребенка и к происхождению невротической тревоги, которая связана с фобиями.

Тревожность детей — это нечто весьма обычное, и, похоже, действительно трудно различить, что она собой представляет — невротическую тревогу или реальный страх. Более того, ценность этого различения ставится под вопрос поведением детей. Ибо, с одной стороны, мы не удивляемся, если ребенок боится всех посторонних людей, новых ситуаций и предметов, и очень легко объясняем себе эту реакцию его слабостью и неведением. Стало быть, мы приписываем ребенку выраженную склонность к реальному страху и сочли бы совершенно целесообразным, если бы он появился на свет с этой тревожностью как наследием. Ребенок просто бы повторял этим поведением древнего человека и современного дикаря, который вследствие своего невежества и своей беспомощности боится всего нового и многого из того, что нам знакомо, что сегодня у нас уже не вызывает тревоги. Это также вполне соответствовало бы нашему ожиданию, если бы фобии ребенка, по меньшей мере частично, были бы теми же самыми фобиями, которые мы вправе приписать доисторическим временам человеческого развития.

С другой стороны, мы не можем не заметить, что не все дети в одинаковой степени тревожны и что как раз те дети, которые обнаруживают особую робость перед всеми возможными объектами и ситуациями, впоследствии оказываются нервнобольными. Стало быть, невротическое предрасположение обнаруживает себя также через явно выраженную склонность к реальному страху, тревожность предстает чем-то первичным, и приходишь к выводу, что ребенок, а позже подросток, боится интенсивности своего либидо именно потому, что он боится всего. Тем самым развитие тревоги из либидо было бы опровергнуто, а проследив условия возникновения реального страха, можно было бы логично прийти к заключению, что сознание собственной слабости и беспомощности — неполно-



ценности, по терминологии А. Адлера, — и является последней причиной невроза, если оно может перенестись из детского возраста в зрелую жизнь.

Это звучит так просто и подкупающе, что имеет право на наше внимание. Однако это привело бы к смещению загадки нервозности. Сохранение чувства неполноценности — и вместе с ним условия возникновения тревоги и симптомообразования — кажется столь хорошо обоснованным, что скорее нуждается в объяснении, каким образом, пусть и в виде исключения, возникает то, что мы называем здоровьем. Но что позволяет выявить тщательное наблюдение за тревожностью у детей? Маленький ребенок боится прежде всего посторонних людей; ситуации становятся значимыми лишь потому, что они содержат людей, а предметы вообще начинают учитываться только позднее. Однако этих чужаков ребенок боится не потому, что он приписывает им дурные намерения и сравнивает свою слабость с их силой, то есть воспринимает их как угрозу для своего существования, безопасности и отсутствия боли. Такой недоверчивый ребенок, напуганный господствующим в мире агрессивным влечением, — весьма неудачная теоретическая конструкция. Напротив, ребенок пугается посторонней фигуры,

потому что он настроен увидеть знакомого и любимого человека, в сущности, мать. Именно его разочарование и тоска обращаются в тревогу, то есть ставшее неприменимым либидо, которое в это время не может удерживаться на весу, а отводится в виде тревоги. Едва ли может быть также случайным, что в этой ситуации, служащей прототипом для детской тревоги, повторяется условие первого состояния тревоги при акте рождения, а именно отделение от матери.

В силу возрастных особенностей, в частности психосоматического и социального развития, тревожные расстройства детей рассматриваются в клинической практике отдельно от таковых у взрослых. Во-первых, большинство детей с эмоциональными расстройствами становятся нормальными взрослыми, без признаков болезни. С другой стороны, у многих взрослых с началом невротических расстройств в зрелом возрасте не прослеживается психопатологических предшественников в детстве. В-третьих, предполагается, что психические механизмы эмоциональных расстройств у детей не те же самые, что при взрослом неврозе. И в-четвертых, эмоциональные расстройства у детей не столь четкие, чтобы отнести их к специфичным типам расстройств, наблюдаемых у взрослых.

Первые ситуационные фобии у детей — страх темноты и одиночества; первая часто сохраняется всю жизнь, общим для обеих является отсутствие любимого заботящегося человека, то есть матери. Я слышал, как ребенок, который боялся в темноте, прокричал в соседнюю комнату: «Тетя, поговори со мной, я боюсь». — «Но что тебе от этого? Ты ведь меня не видишь». Ребенок в ответ на это: «Когда кто-нибудь говорит, становится светлее». Тоска в темноте превращается, таким образом, в страх темноты. Далекие от того, чтобы считать невротическую тревогу лишь вторичной и частным случаем реального страха, мы, напротив, видим у маленького ребенка, что нечто ведет себя как реальный страх, нечто такое, что с невротической тревогой имеет общую важную черту — возникновение из неиспользованного либидо. Похоже,

ребенок рождается, почти не имея реального страха. Во всех ситуациях, которые впоследствии могут стать условиями фобий, на большой высоте, на узких мостиках над водой, во время поездки по железной дороге и на корабле ребенок никакой тревоги не проявляет, причем тем меньше, чем более он несведущ. Было бы весьма желательно, если бы он получил в наследство больше таких защищающих жизнь инстинктов; задача надзора, которая должна помешать ему в том, чтобы подвергать себя одной угрозе за другой, благодаря этому весьма бы облегчилась. На самом же деле ребенок вначале переоценивает свои силы и ведет себя беззаботно, потому что не знает опасностей. Он будет бегать по краю воды, взбираться на подоконник, играть с острыми предметами и огнем, словом, делать все то, что должно нанести ему вред и доставлять беспокойство его воспитателям. Если же в конце концов у него пробуждается реальный страх, то это целиком является продуктом воспитания, поскольку нельзя допустить, чтобы он обучался всему на собственном опыте.

Если же имеются дети, которые в этом приучении к страху идут навстречу чуть дальше, а затем и сами находят опасности, по поводу которых их не предупреждали, то для их объяснения достаточно будет того, что в своей конституции они принесли с собой бо́льшую меру либидинозной потребности или очень рано были избалованы либидинозным удовлетворением. Неудивительно, если среди этих детей находятся и будущие нервнобольные; мы ведь знаем, что больше всего облегчает возникновение невроза неспособность в течение долгого времени выносить более значительное запруживание либидо. Вы замечаете, что также и здесь добивается своего конституциональный момент, права которого мы никогда не хотели оспаривать. Мы возражаем только тогда, когда кто-нибудь, обращаясь к нему, пренебрегает всеми другими и вводит конституциональный момент также и там, где согласно объединенным результатам наблюдения и анализа его нет или где он должен быть задвинут на последнее место.

Позвольте нам из наблюдений над тревожностью детей подытожить: инфантильная тревога имеет весьма мало общего с реальным страхом, напротив, она очень близка невротической тревоге взрослых. Она, как и та, возникает из неиспользованного либидо и заменяет отсутствующий объект любви внешним предметом или ситуацией.

Теперь вам приятно будет услышать, что анализ фобий многому новому нас не научил. При них, собственно говоря, происходит то же самое, что и при детском страхе; не нашедшее применения либидо непрерывно превращается в мнимый реальный страх, и, таким образом, ничтожная внешняя опасность становится представителем требований либидо. В этом сходстве нет ничего удивительного, ибо инфантильные фобии являются не только прототипом последующих фобий, которые мы причисляем к «тревожной истерии», но и непосредственной их предпосылкой и прелюдией к ним. Любая истерическая фобия восходит к детскому страху и продолжает его, даже если она имеет другое содержание и, стало быть, должна иначе обозначаться. Различие этих расстройств заключается в механизме. У взрослого для превращения либидо в тревогу уже недостаточно, чтобы либидо в виде тоски в данный момент не нашло себе применения. Он давно научился сохранять такое либидо свободно парящим или использовать по-другому. Но если либидо относится к психическому побуждению, подвергшемуся вытеснению, то тогда создаются такие же условия, как у ребенка, у которого пока еще нет разделения на сознательное и бессознательное, и в результате регрессии к инфантильной фобии, так сказать, открывается проход, по которому легко может осуществиться превращение либидо в тревогу. Как вы помните, мы много говорили о вытеснении, но при этом всегда прослеживали только судьбу представления, подлежащего вытеснению, разумеется, потому, что ее легче было распознать и изобразить. То, что происходит с аффектом, связанным с вытесненным представлением, мы всегда оставляли в стороне, и только

теперь мы узнали, что естественная судьба этого аффекта заключается в превращении в тревогу, в качестве которой он в любом случае проявился бы и при нормальном ходе событий. Однако это превращение аффекта является гораздо более важной частью процесса вытеснения. Рассуждать об этом не так просто, поскольку мы не можем говорить о существовании бессознательных аффектов в том же смысле, в каком говорим о бессознательных представлениях. За исключением одного отличия представление остается точно таким же, каким бы оно ни было — осознанным или бессознательным; мы можем указать, что́ соответствует бессознательному представлению. Аффект же — это процесс отвода, его нужно оценивать совершенно иначе, чем представление; о том, что ему соответствует в бессознательном, нельзя сказать без углубленных рассуждений и не пояснив наших исходных положений, касающихся психических процессов. Этого здесь мы сделать не можем. Но мы будем дорожить полученным теперь впечатлением, что развитие тревоги тесно связано с системой бессознательного.

Я говорил, что превращение в тревогу, или, лучше сказать, отвод в форме тревоги, является ближайшей судьбой либидо, затронутого вытеснением. Я должен добавить: не единственной или окончательной. При неврозах действуют процессы, которые стараются связать это развитие тревоги и которым это разными способами удается. При фобиях, к примеру, можно отчетливо различить две фазы невротического процесса. Первая обеспечивает вытеснение и перевод либидо в тревогу, которая связывается с внешней опасностью. Вторая состоит в создании всех тех мер предосторожности и безопасности, благодаря которым должно быть избегнуто соприкосновение с нею как с опасностью, рассматриваемой как внешняя. Вытеснение соответствует попытке бегства со стороны Я от либидо, воспринимаемого как опасность. Фобию можно сравнить с оборудованием траншеи против внешней опасности, которую тут представляет внушающее страх либидо. Слабость системы

защиты при фобиях, разумеется, заключается в том, что укрепление, столь усиленное вовне, изнутри осталось уязвимым для нападения. Проекция опасности либидо вовне никогда не может вполне удаться. Поэтому при других неврозах используются другие системы защиты от возможности развития тревоги. Это весьма интересная часть психологии неврозов, но, к сожалению, она уведет нас слишком далеко и предполагает наличие более основательных специальных знаний. Мне хочется добавить еще только одно. Я ведь уже вам говорил о «контркатексисе», который использует Я при вытеснении и который приходится непрерывно поддерживать, чтобы вытеснение было прочным. Этому контркатексису выпадает задача осуществлять различные формы защиты от развития тревоги после вытеснения.

Вернемся обратно к фобиям. Я могу тут сказать: вы видите, сколь недостаточно объяснять в них только содержание, интересоваться исключительно тем, как получается, что тот или этот объект или любая ситуация становится предметом фобии. Содержание фобии имеет для нее примерно такое же значение, какое имеет явный фасад сновидения для сна. С необходимыми ограничениями надо признать, что среди этих содержаний фобий имеются некоторые, которые, как подчеркивает Стэнли Холл, способны становиться объектами тревоги благодаря филогенетическому наследию. С этим согласуется то, что многие из этих внушающих тревогу вещей могут связаться с опасностью лишь благодаря символическому отношению.

Таким образом, мы убедились, какое место — его можно прямо-таки назвать центральным — занимает проблема тревоги в вопросах психологии неврозов. На нас произвело сильное впечатление то, сколь тесно развитие тревоги связано с судьбами либидо и с системой бессознательного. И лишь один пункт кажется нам стоящим особняком, пробелом в нашем понимании — тот факт, который трудно оспорить: что реальный страх нужно рассматривать как выражение влечений Я к самосохранению.

Психология масс
и анализ Я

Введение

Различие между индивидуальной психологией и социальной психологией (или психологией масс), на первый взгляд кажущееся нам столь значительным, при ближайшем рассмотрении теряет почти всю остроту. Хотя индивидуальная психология ориентирована на отдельного человека и изучает, какими способами он стремится достичь удовлетворения импульсов своих влечений, она лишь изредка, при определенных исключительных условиях, может отстраниться от отношений данного отдельного человека к другим индивидам. В психической жизни одного человека другой всегда учитывается как образец, как объект, как помощник и как противник, а потому индивидуальная психология с самого начала является одновременно и психологией социальной в этом расширенном, но вполне обоснованном понимании.

Уже в вводной части своего труда Фрейд дает ясно понять, что он не видит существенной разницы между психологией индивида и психологией масс, поскольку каждый отдельный индивид является составной частью социума. В этом смысле Фрейд остается верен своей теории, он непоколебим в убежденности, что причина всего происходящего в жизни человечества скрыта в индивидуальных мотивах, наклонностях и влечениях, вытесняемых порой в бессознательное. Именно поэтому личная мораль ставится Фрейдом в центре как индивидуальной, так и социальной жизни, в которой поступки человека равнозначны мере его личной ответственности. Возможно, возвышение индивида над толпой обусловлено отчасти характером самого Фрейда, для которого высокие моральные принципы были основными требованиями к самому себе.

Отношение отдельного человека к своим родителям, к братьям и сестрам, к объекту своей любви, к своему учителю и к своему врачу, то есть все отношения, которые до сих пор были преимущественно предметом психоаналитического исследования, могут претендовать на

то, чтобы их расценивали как социальные феномены, и в таком случае они оказываются противопоставленными другим известным процессам, названным нами *нарциссическими*, при которых удовлетворение влечения лишается влияния других людей или от них отказывается. Стало быть, противоположность между социальными и нарциссическими — Эйген Блейлер (1912) сказал бы, наверное, аутистическими — душевными актами полностью относится к области индивидуальной психологии и не годится для того, чтобы отделить ее от социальной психологии, или психологии масс.

В упомянутых отношениях к родителям, к братьям и сестрам, к возлюбленной, к другу, к учителю и к врачу индивид всегда испытывает влияние только одного человека или весьма незначительного числа людей, из которых каждый приобрел для него огромное значение. Теперь, когда говорят о социальной психологии, или психологии масс, вошло в привычку не принимать во внимание эти отношения и выделять в качестве предмета исследования одновременное влияние на индивида большого числа людей, с которыми он чем-то связан, хотя во многих отношениях они могут быть ему чуждыми. Стало быть, психология масс рассматривает отдельного человека как члена племени, народа, касты, сословия, института или как составную часть человеческой толпы, в известное время с определенной целью организующейся в массу. После такого разрыва естественной взаимосвязи понятным образом возникла мысль трактовать явления, которые обнаруживаются в этих особых условиях, как выражение особого, далее ни к чему не сводимого влечения, социального влечения — *herd instinct, group mind*[1], — которое в других ситуациях не проявляется. Но, пожалуй, мы вправе возразить, что нам трудно придать количественному моменту столь большое значение, что он сам по себе сумел пробудить в душевной жизни человека новое влечение, которое в противном случае бездействовало

[1] Стадного инстинкта, группового разума (*англ.*).

бы. Тем самым наши ожидания направляются на две другие возможности: что социальное влечение не может быть изначальным и неразложимым и что зачатки его формирования можно найти в более тесном кругу, например, в семье.

Психология масс, хотя она находится в самом начале своего становления, охватывает необозримое множество отдельных проблем и ставит перед исследователем бесчисленные, в настоящее время пока еще даже как следует не рассортированные задачи. Одна только группировка различных форм массовых образований и описание проявляемых ими психических феноменов требуют немалых затрат, связанных с наблюдением и изображением, и они уже породили богатую литературу. Тот, кто сравнит эту скромную книжицу с объемом психологии масс, сразу вправе будет предположить, что здесь должно будет обсуждено лишь несколько пунктов из всего материала. Это действительно будут лишь отдельные вопросы, к которым глубинное психоаналитическое исследование проявляет особый интерес.

Изображение Лебоном массовой души

Представляется более целесообразным вместо определения начать с указания на область явлений и выхватить из нее некоторые особенно поразительные и характерные факты, с которых можно приступить к исследованию. Мы достигаем того и другого благодаря выдержке из по праву ставшей знаменитой книги Лебона «Психология масс».

Гюстав Лебон (1841–1931) — французский психолог, социолог, антрополог и историк.

Проясним для себя положение вещей еще раз: если бы психология, которая прослеживает задатки, импульсы влечения, мотивы, намерения отдельного человека индивида вплоть до его поступков и отношений к сво-



Гюстав Лебон

им ближним, без остатка решила свою задачу и сделала бы прозрачными все эти взаимосвязи, то тогда она неожиданно оказалась бы перед новой неразрешенной задачей. Она должна была бы объяснить поразительный факт, что этот ставший ей понятным индивид при определенном условии чувствует, думает и действует иначе, чем можно было бы от него ожидать, и этим условием является включение в человеческую толпу, которая при-

обрела свойство «психологической массы». Что же это за «масса», благодаря чему она приобретает способность оказывать решающее влияние на душевную жизнь индивида и в чем состоит душевное изменение, которое она навязывает индивиду?

Ответить на три эти вопроса есть задача теоретической психологии масс. По-видимому, к ним проще всего подступиться, если исходить из третьего вопроса. Именно наблюдение за изменившейся реакцией индивида поставляет материал для психологии масс; каждой попытке дать объяснение должно предшествовать описание того, что требуется объяснить.

Тут я предоставлю слово Лебону. Он пишет: «Самое странное в психологической массе следующее: какими бы ни были составляющие ее индивиды, какими бы схожими или несхожими ни были их образ жизни, занятия, их характер или их умственное развитие, благодаря одному простому обстоятельству — своему преобразованию в массу — они становятся обладателями коллективной души, вследствие которой они чувствуют, думают и действуют совершенно иначе, чем каждый из них думал бы, действовал и чувствовал по отдельности. Существуют идеи и чувства, которые возникают или превращаются в действия только у индивидов, объединенных в массы. Психологическая масса — существо временное, состоящее из гетерогенных элементов, которые на мгновение соединились друг с другом, подобно тому как клетки организма благодаря своему соединению образуют новое существо с совершенно другими свойствами, чем свойства отдельных клеток».

Позволив себе прерывать изложение Лебона своими комментариями, выскажем здесь замечание: если индивиды в массе связаны в единое целое, то, пожалуй, должно быть нечто такое, что их друг к другу привязывает, и этим вяжущим веществом могло бы быть именно то, что характерно для массы. Однако Лебон не отвечает на этот вопрос, он подробно останавливается на изменении индивида в массе и описывает его в выражениях,

которые хорошо согласуются с основными гипотезами нашей глубинной психологии.

«Легко констатировать степень отличия индивида, принадлежащего массе, от изолированного индивида, но менее легко раскрыть причины этого отличия».

«Чтобы хотя бы отчасти выявить эти причины, прежде всего нужно вспомнить факт, установленный современной психологией, что не только в органической жизни, но и в интеллектуальных функциях решающую роль играют бессознательные феномены. Сознательная духовная жизнь представляет собой лишь поистине незначительную часть по сравнению с бессознательной психической жизнью. Самый тонкий анализ, самое строгое наблюдение добираются лишь до небольшого числа сознательных мотивов душевной жизни. Наши сознательные поступки выводятся из некоего бессознательного субстрата, созданного, в частности, влияниями наследственности. Он содержит бесчисленные следы предков, из которых образуется душа расы. За признаваемыми мотивами наших поступков, несомненно, стоят тайные причины, в которых мы не признаемся, а за ними скрываются еще более тайные, которые неизвестны даже нам. Множество наших повседневных поступков являются лишь последствием скрытых, не замечаемых нами мотивов».

В массе, по мнению Лебона, стираются индивидуальные приобретения отдельных людей, и вместе с тем исчезает их своеобразие. На передний план выступает расовое бессознательное, гетерогенное утопает в гомогенном. Мы бы сказали, что сносится, лишается силы психическая надстройка, столь по-разному развитая у отдельных людей, и обнажается (становится действенным) однородный у всех бессознательный фундамент.

Таким образом, осуществился бы средний характер массовых индивидов. Однако Лебон полагает, что они проявляют также и новые качества, которыми они до сих пор не обладали, и ищет причину этого в трех разных моментах.

«Первая из этих причин состоит в том, что в массе в силу самого факта численности индивид приобретает чувство неодолимой силы, позволяющей ему предаваться влечениям, которые он, оставшись один, обязательно бы обуздал. Теперь же у него тем меньше будет для этого повода, ибо при анонимности и, стало быть, также безответственности масс чувство ответственности, которое всегда сдерживает индивида, полностью исчезает».

С нашей точки зрения мы должны были придавать меньше значения появлению новых качеств. Нам достаточно было сказать, что в массе индивид попадает в условия, которые ему позволяют устранить вытеснения своих бессознательных побуждений. Якобы новые качества, которые он тогда проявляет, — всего лишь выражения этого бессознательного, в задатках которого содержится все зло человеческой души; исчезновение совести или чувства ответственности при этих условиях не создает затруднений для нашего понимания. Мы давно утверждали, что ядром так называемой совести является «социальный страх».

Известное различие между взглядом Лебона и нашим возникает из-за того, что его понятие бессознательного не совсем совпадает с понятием, принятым психоанализом. Бессознательное Лебона содержит прежде всего самые глубокие отличительные черты расовой души, которая, собственно говоря, не принимается во внимание индивидуальным психоанализом. Правда, мы не отрицаем того, что ядро Я (Оно, как я его обозначил позднее), которому принадлежит «архаическое наследие» человеческой души, является бессознательным; но, кроме того, мы выделяем «бессознательное вытесненное», которое возникло из некой части этого наследия. Это понятие вытесненного у Лебона отсутствует.

«Я и Оно» — фундаментальная книга Фрейда, вышедшая в 1923 году, в ней Фрейд описывает концепцию психической организации, выделив три структурных элемента личности: «Оно» (или «Ид», *нем.* Das), «Я» (или «Эго», *нем.* Ego)

и «Сверх-Я» (или «Супер-Эго», нем. Das Über-Ich). Согласно его представлениям, «Оно» является подсознательной силой, управляющей поступками человека и служащей основой для двух других проявлений личности. В своих трудах Фрейд подчеркивает, что Оно — «темная, недоступная часть нашей личности... Мы подходим к Оно через аналогии: мы называем его хаосом, бурлящим котлом возбуждений».

Бессознательное вытесненное — т.е. не находящиеся в сознании содержания психики, способствующие образованию невротических симптомов и возникновению психических расстройств.

«Вторая причина, заражение, точно так же способствует проявлению в массах особых качеств, и вместе с тем она задает их направленность. Заражение — это легко констатируемый, но непонятный феномен, который должен быть нами причислен к феноменам гипнотического характера, к изучению каковых мы сейчас перейдем. В толпе заразительно каждое чувство, каждое действие, причем в такой большой степени, что индивид очень легко жертвует своим личным интересом в пользу общего интереса. Это — умение, совершенно противоположное его натуре, на которое человек способен лишь как составная часть массы».

В дальнейшем этот последний тезис мы возьмем за основу одного важного предположения.

«Третья причина, причем самая важная, обусловливает появление у индивидов, объединенных в массу, особых качеств, которые совершенно противоположны качествам изолированного индивида. Я говорю здесь о внушаемости, причем упомянутое заражение является лишь ее следствием».

«Чтобы понять это явление, необходимо ясно себе представлять известные новые открытия физиологии. Мы теперь знаем, что посредством разнообразных процедур человека можно ввести в такое состояние, что после потери всей своей сознательной личности он подчиняется всем внушениям того, кто лишил его сознания своей личности, и что он совершает поступ-

ки, которые находятся в самом резком противоречии с его характером и привычками. Очень тщательные наблюдения показывают, что индивид, на какое-то время помещенный в лоно активной массы, вскоре — под воздействием исходящих от нее излучений или по какой-то другой неизвестной причине — оказывается в особом состоянии, весьма приближающемся к зачарованности, овладевающей загипнотизированным под влиянием гипнотизера… Сознательная личность полностью исчезла, воля и способность различать отсутствуют, все чувства и мысли ориентированы в направлении, установленном гипнотизером».

«Примерно таким же является и состояние индивида, принадлежащего к психологической массе. Он уже не осознает своих действий. У него, как и у загипнотизированного, в то время как одни способности упразднены, другие могут быть доведены до высшей степени интенсивности. Под влиянием суггестии он с непреодолимым влечением будет совершать определенные действия.

Суггестия (*лат.* suggestio) — внушение, психологическое воздействие на сознание человека, при котором происходит некритическое восприятие им убеждений и установок.

И это неистовство у масс является еще более непреодолимым, чем у загипнотизированного, поскольку суггестия, одинаковая для всех индивидов, благодаря взаимности возрастает».

«Стало быть, главные особенности индивида, находящегося в массе, таковы: исчезновение сознательной личности, преобладание бессознательной личности, одинаковая направленность мыслей и чувств вследствие суггестии и заражения, тенденция к немедленному осуществлению внушенных идей. Индивид перестает быть самим собой, он стал безвольным автоматом».

Я так подробно воспроизвел эту цитату, чтобы подтвердить, что Лебон действительно считает состояние индивида в массе гипнотическим, а не просто сравни-

вает его с таковым. Мы не усматриваем здесь никакого противоречия, а хотим лишь подчеркнуть, что обе последние причины изменения отдельного человека в массе, заражение и повышенная внушаемость, явно не однородны, поскольку заражение тоже должно быть проявлением внушаемости. Также и воздействия обоих моментов, как нам кажется, в тексте Лебона строго не разграничены. Возможно, мы лучше всего истолкуем его высказывание, если отнесем заражение к влиянию отдельных членов массы друг на друга, тогда как суггестивные явления в массе, приравненные к феноменам гипнотического воздействия, указывают на другой источник. Но на какой? Нас должно затронуть как ощутимый пробел, что одна из главных частей этого уподобления, а именно человек, заменяющий для массы гипнотизера, в изображении Лебона не упоминается. Тем не менее он отделяет от этого оставшегося непонятным очаровывающего влияния заражающее воздействие, которое оказывают друг на друга индивиды и благодаря которому первоначальная суггестия усиливается.

Еще одна важная точка зрения для оценки массового индивида: «Кроме того, в силу простой принадлежности к организованной массе человек опускается на несколько ступеней вниз по лестнице цивилизации. Наедине с собой он, возможно, был образованным индивидом, в массе он — варвар, то есть существо, обуреваемое влечениями. Ему присущи стихийность, порывистость, дикость, а также энтузиазм и героизм первобытного существа». Затем Лебон особо останавливается на снижении интеллектуальной деятельности, которому подвергается индивид в результате своего растворения в массе.

Примечательно, что, оппонируя таким устоявшимся исследователям коллективной психологии как Лебон, Мак-Дугалл (1871–1938) — англо-американский психолог, один из основателей социально-психологических исследований, ввел понятие «социальная психология» (1908).), Троттер (Вильфред Троттер (1872–1939), Фрейд словно намеренно игнорирует

Карла Юнга и его концепцию коллективного бессознательного, термин которого тот впервые ввел в 1916 году. Причина может крыться в разрыве между двумя знаковыми психоаналитиками. В 1912 году Юнг опубликовал труд «Психология бессознательного» и фактически открыто выступил с жесткой критикой в адрес учения Фрейда. Нужно сказать, что в том конфликте Фрейд придерживался более достойной позиции и желал сохранить дружеские отношения с бывшим учеником и соратником. Навряд ли обида стала истинной причиной того, почему Фрейд не ссылается на воззрение Юнга. Основной труд последнего на тему коллективного бессознательного «Об архетипах коллективного бессознательного» вышел в 1959 году. В частности, Юнг полагал, что мысли, чувства, поступки человека находятся под влиянием архетипов, развивающихся от поколения к поколению и наследуемых психикой.

Оставим теперь отдельного человека и обратимся к описанию Лебоном массовой души. В нем нет ни одной черты, выведение и распределение которой доставило бы трудности психоаналитику. Лебон сам указывает нам путь, отмечая соответствие с душевной жизнью первобытных людей и детей.

Масса импульсивна, изменчива, раздражительна. Она чуть ли не исключительно руководствуется бессознательным. Импульсы, которым повинуется масса, в зависимости от обстоятельств могут быть благородными или жестокими, героическими или трусливыми, но в любом случае они настолько властные, что личное и даже интересы самосохранения проявиться не могут. Ничего не бывает у нее преднамеренным. Даже если она чего-то страстно желает, то все же всегда ненадолго, она не способна к продолжительному проявлению воли. Она не выносит отсрочки между своим желанием и осуществлением желаемого. Она обладает чувством всемогущества, у индивида в массе понятие невозможного исчезает.

Старший современник Фрейда Томас Карлейль однажды заметил: «Сравнительно с народною толпою мало явлений заслуживают большего изучения. Она настоящий продукт

природы: все прочее только гримасы, а здесь искренность и действительность. Смотри на народную толпу, если хочешь, с трепетом, но смотри внимательно: то, что она сделает, никому не известно, и еще менее ей самой».

Масса чрезвычайно подвержена чужому влиянию и легковерна, она некритична, невероятного для нее не существует. Она мыслит образами, которые ассоциативно вызывают друг друга, как это бывает у отдельного человека в состоянии свободного фантазирования, и которые ни одной разумной инстанцией не проверяются на соответствие с действительностью. Чувства массы всегда очень простые и экзальтированные. Стало быть, масса не ведает ни сомнения, ни неуверенности.

Она тотчас доходит до крайностей, высказанное подозрение тут же превращается у нее в непоколебимую уверенность, зародыш антипатии — в дикую ненависть.

Сама склонная ко всем крайностям, масса возбуждается лишь чрезмерными раздражителями. Тот, кто хочет на нее повлиять, не нуждается в логической проверке своих аргументов, он должен живописать ярчайшими красками, преувеличивать и всегда повторять то же самое.

Так как масса не сомневается в истинном или лживом и при этом сознает свою огромную силу, она столь же нетерпима, как и слепо следует авторитету. Она уважает силу, а добротой, которая для нее означает только своего рода слабость, на нее можно повлиять лишь умеренно. То, чего она требует от своих героев, — это сила, даже насилие. Она хочет, чтобы ее подчинили власти и подавили, хочет бояться своего господина. В основе своей совершенно консервативная, она испытывает глубокое отвращение ко всем новшествам и прогрессу и безграничное благоговение перед традицией.

До Фрейда этой теме уделяли внимание такие философы как Платон («Государство»), Аристотель («Никомахова этика» и «Политика»), Макиавелли («Государь»). Потому он в своих наблюдениях не оригинален. Сегодня же данное утверждение Фрейда кажется довольно спорным. Достаточ-

но взглянуть на перемены общества, начавшиеся в середине прошлого века. Особенно показательно наше сегодняшнее общество, в котором вековой консерватизм, традиции, устои фактически рухнули. Но на месте руин всегда возводятся новые сооружения, при рассмотрении которых видны пусть и видоизмененные или даже перевернутые, но по сути те же самые устои, претендующие на еще более жесткие и менее терпимые консерватизм и традиции. Общество, которое верило в завоевание всех мыслимых свобод и благ, свыкается с новыми предписанными ему ограничениями, боясь или не желая идти против авторитаризма.

Интересно также отметить, что данная проблема нашла отражение и в русской художественной литературе XIX века в произведениях М. Лермонтова, М. Салтыкова-Щедрина, Н. Некрасова. Так, в неоконченном романе «Вадим» Лермонтов писал: «Русский народ, этот сторукий исполин, скорее перенесет жестокость и надменность своего повелителя, чем слабость его; он желает быть наказываем — по справедливости, он согласен служить — но хочет гордиться рабством, хочет поднимать голову, чтобы смотреть на своего господина, и простит в нем скорее излишество пороков, чем недостаток добродетелей».

Чтобы правильно оценить нравственность масс, нужно принять во внимание, что, когда массовые индивиды собираются вместе, все индивидуальные торможения отпадают, а все жестокие, грубые, разрушительные инстинкты, дремлющие в человеке как пережиток древних времен, пробуждаются для свободного удовлетворения влечений. Но под влиянием внушения массы способны также и на высшие проявления — на отречение, бескорыстие, преданность идеалу. Если у обособленного индивида чуть ли не единственной движущей силой является личная выгода, то у масс она очень редко оказывается преобладающей. Можно сказать, что масса прививает нравственность индивиду. Если интеллектуальные достижения массы всегда далеко отстают от таковых индивида, то ее этическое поведение может точно так же значительно превосходить этот уровень, как и опускаться глубоко ниже его.

Яркий свет на правомерность отождествления массовой души с душой первобытных людей проливают некоторые другие черты характеристики, данной Лебоном. У масс могут сосуществовать и уживаться друг с другом самые противоположные идеи, причем из их логического противоречия не возникает конфликт. Но то же самое имеет место в бессознательной душевной жизни отдельных людей, детей и невротиков, как это уже давно доказано психоанализом.

Далее, масса подвержена поистине магической силе слов, способных вызвать в массовой душе страшнейшие бури, а также их усмирить. «Разумом и аргументами невозможно бороться с определенными словами и формулами. Стоит только их с благоговением произнести перед массами, как тут же выражение лиц становится почтительным и головы склоняются. Многие их рассматривают как силы природы или как сверхъестественные силы». При этом нужно вспомнить только о табу имен у первобытных народов, о магических силах, которые связываются у них с именами и словами.

И наконец: массы никогда не знали жажды истины. Они требуют иллюзий, от которых не могут отказаться. Ирреальное всегда имеет у них преимущество перед реальным, недействительное оказывает на них почти такое же сильное влияние, как и действительное. Они имеют явную тенденцию не делать никакого различия между ними.

Поразительно, насколько это обличающее суждение Фрейда правдиво и в известной мере пророчески ужасающе. Фрейд уличил людей в том, что позже будет широко изучаться психологией, социологией и нейронаукой: в желании быть обманутыми. Ради снятия с себя ответственности, ради избавления от внутренних терзаний и выплеска своих эмоций. Машины манипуляции мнением общества, орудия пропаганды окажутся вскоре востребованными и не потеряют власти над массами по сей день.

Это преобладание жизни в фантазии и иллюзии, движимой неосуществленным желанием, как мы установи-

ли, является важнейшим моментом в психологии неврозов. Мы обнаружили, что для невротиков значение имеет не обычная объективная, а психическая реальность. Истерический симптом основывается на фантазии, а не на повторении действительного переживания; сознание вины при неврозе навязчивости — на факте злого намерения, которое никогда не осуществилось. Более того, как в сновидении и в гипнозе, так и в душевной деятельности массы проверка реальности отступает на задний план перед силой аффективно катектированных желаний.

То, что Лебон говорит о вождях масс, является менее исчерпывающим и не позволяет столь же отчетливо высветить закономерности. Он полагает, что как только живые существа — будь то стадо животных или толпа людей — собираются вместе в определенном количестве, они инстинктивно подчиняются авторитету вождя. Масса — это послушное стадо, в принципе не способное жить без своего господина. У нее такая сильная жажда повиновения, что она инстинктивно подчиняется каждому, кто объявляет себя ее властителем.

Если, таким образом, потребность массы идет навстречу вождю, то он должен все-таки обладать соответствующими личными качествами. Он должен быть сам захвачен глубокой верой (в идею), чтобы пробудить веру в массе; он должен обладать сильной, производящей впечатление волей, которую у него перенимает безвольная масса. Затем Лебон обсуждает различные манеры вождей и средства, с помощью которых они влияют на массу. В целом он полагает, что вожди приобретают вес благодаря идеям, к которым они сами относятся фанатически.

Этим идеям, равно как и вождям, он, кроме того, приписывает таинственную, непреодолимую силу, называемую им «престижем». Престиж — это своего рода власть, которую получает над нами индивид, деяние или идея. Она парализует всю нашу способность к критике и наполняет нас изумлением и почтением. Она может вызвать чувство, подобное очарованию при гипнозе.

Лебон различает приобретенный, или искусственный, и личный престиж. Первый у людей придается именем, богатством, репутацией; в случае воззрений, художественных произведений и т.п. — традицией. Поскольку во всех случаях он восходит к прошлому, он мало способствует пониманию этого загадочного влияния. Личным престижем обладают немногие люди, которые благодаря ему становятся вождями; он делает так, что всё повинуется им, словно под воздействием магнетического очарования. Однако всякий престиж зависит также и от успеха и может быть утрачен вследствие неудачи.

Не возникает впечатления, что у Лебона роль вождей и подчеркивание престижа приведены в надлежащее соответствие со столь блестяще представленным изображением массовой души.

Внушение и либидо

Мы исходили из фундаментального факта, что у отдельного человека, находящегося в массе, под ее влиянием происходит зачастую радикальное изменение его душевной деятельности. Его аффективность чрезвычайно усиливается, его интеллектуальная деятельность заметно ограничивается, оба процесса, очевидно, следуют в направлении уподобления другим массовым индивидам; этот результат может быть достигнут только благодаря устранению присущих каждому отдельному человеку торможений влечения и благодаря отказу от особых для него форм проявления его наклонностей. Мы слышали, что эти зачастую нежелательные последствия (по меньшей мере, частично) можно предотвратить посредством более высокой «организации» масс, но фундаментальному факту психологии масс — двум тезисам об усилении аффективности и о торможении мыслительной деятельности в примитивной массе — это ничуть не противоречит. Мы заинтересованы в том, чтобы найти

психологическое объяснение этому душевному изменению отдельного человека в массе.

Рациональные моменты — как, например, вышеупомянутое запугивание отдельного человека, то есть проявления его влечения к самосохранению, — очевидно, не покрывают наблюдаемых феноменов. То, что нам обычно предлагается в качестве объяснения авторами, занимающимися социологией и психологией масс, всякий раз оказывается тем же самым, хотя и под разными именами, — волшебным словом *внушение*. У Тарда (1890) оно называлось *подражанием*, однако мы должны признать правоту автора, который нам поясняет, что подражание подпадает под понятие суггестии и даже является ее следствием. У Лебона все необычное в социальных явлениях было сведено к двум факторам: к взаимному внушению отдельных людей и к престижу вождей. Но престиж опять-таки выражается только в способности вызывать суггестию. У Мак-Дугалла у нас могло на какой-то момент сложиться впечатление, что его принцип «первичной индукции аффекта» делает излишней гипотезу о суггестии.

Мак-Дугалл предлагал принцип «первичной индукции аффекта», считая его удачной заменой внушению.

Но при дальнейшем рассуждении мы должны все-таки согласиться, что этот принцип выражает не что иное, как известные утверждения о «подражании» или «заражении», разве что при более решительном подчеркивании аффективного момента. То, что подобная тенденция — восприняв признаки аффективного состояния у другого человека, впадать в такой же аффект — у нас существует, не вызывает сомнения. Но как часто мы успешно ей противостоим, отметаем аффект, реагируем совершенно противоположным образом? Так почему же мы регулярно поддаемся этому заражению в массе? Опять-таки нужно будет сказать, что именно суггестивное влияние массы заставляет

нас повиноваться этой тенденции подражания, индуцирует в нас аффект. Впрочем, у Мак-Дугалла мы не обходимся без суггестии; от него, как и от других, мы слышим: массы отличаются особой внушаемостью.

Этим словосочетанием «мы слышим» Фрейд словно сторонится понятия «внушение», будто бы считая его чем-то ненаучным и спекулятивным. Но тут нужно отметить, что в годы практики под руководством Брейера и Шарко Фрейд не только использовал гипнотические методы в целях лечения, но и был яростным сторонником гипноза, публично выступая в его защиту. Однако со временем Фрейд обнаружил, что не все пациенты поддаются внушению, и более того — что метод гипноза удаляет их от понимания собственных психических проблем. Фрейд все чаще стал критиковать метод гипноза и испытывать недовольство этим методом. Но тем не менее именно гипноз (вернее, сопротивление пациентов ему) подвел Фрейда к одному из основных его открытий — к методу свободных ассоциаций, давшему начало психическому анализу. В отличие от гипноза метод психического анализа нашел широкое и успешное применение в клинической практике.

Итак, мы подготовлены к высказыванию, что внушение (точнее, внушаемость) — это первичный, далее не редуцируемый феномен, фундаментальный факт душевной жизни человека. Так считал и Бернгейм, удивительное искусство которого мне довелось наблюдать в 1889 году. Но я могу также вспомнить о глухом сопротивлении этой тирании внушения. Когда на больного, который не проявлял уступчивости, закричали: «Что же вы делаете? *Vous contre-suggestionnez!*»[1], то я себе сказал, что это явная несправедливость и насилие. Человек, несомненно, имеет право на контрсуггестию, если его пытаются подчинить посредством внушения. Мое сопротивление затем приняло форму протеста против того, что внушение, которым объясняли все, само объяснения не имело. В связи с этим я повторил старый шутливый вопрос:

[1] Вы сопротивляетесь внушению *(фр.)*. — *Примеч. пер.*

Cristophorus Christum, sed Christus sustulit orbem:
Constiterit pedibus die ubi Christophorus? [1]

Когда теперь, после почти тридцатилетнего перерыва, я снова обращаюсь к загадке внушения, то нахожу, что в ней ничего не изменилось. Утверждая это, я вправе пренебречь одним-единственным исключением, которое как раз доказывает влияние психоанализа. Я вижу, что сейчас особенно стараются правильно сформулировать понятие суггестии, то есть установить общепринятое применение термина, и это нелишне, ибо это слово все больше применяется в менее строгом значении, и вскоре любое влияние будет обозначаться, как в английском языке, где «*to suggest, suggestion*» соответствует нашему «настоятельно предлагать», нашему «побуждать». Но объяснения сущности суггестии, то есть условий, при которых осуществляется влияние без достаточного логического обоснования, не появилось. Я не уклонился бы от задачи подкрепить это утверждение анализом литературы за последние тридцать лет, но я не стану этого делать, поскольку я знаю, что рядом со мной подготавливается обстоятельное исследование, поставившее перед собой именно эту задачу.

Вместо этого я попытаюсь применить для объяснения психологии масс понятие *либидо*, которое сослужило не столь добрую службу при изучении психоневрозов.

Либидо — это выражение, взятое из учения об аффективности. Мы называем так рассматриваемую в качестве количественной величины — даже если в настоящее время она неизмерима — энергию таких влечений, которые имеют отношение ко всему, что можно обобщить понятием *любовь*. Ядро того, что названо нами любовью, разумеется, образует то, что обычно называют любовью и что

---

[1] Konrad Richter, «Der deutsche St. Christoph», Berlin 1896. *Acta Germanica* V. 1.

Христоф нес Христа,
Христос — весь мир земной,
Теперь скажи-ка мне, друг мой,
Куда Христоф ступал ногой? *(лат.) — Прим. пер.*



Платон

воспевают поэты, то есть половая любовь, имеющая целью слияние полов. Но мы не отделяем от нее и всего того, что так или иначе причастно к названию «любовь»: с одной стороны — любовь к себе, с другой стороны — любовь к родителям, любовь к детям, дружбу и вообще любовь ко всем людям, а также преданность конкретным предметам и абстрактным идеям. Наше оправдание состоит в том, что психоаналитическое исследование нам показало: все эти стремления являются выражением одних и тех же импульсов влечений, которые стремятся подвести оба пола к слиянию, хотя при иных обстоятельствах они отклоняются от этой сексуальной цели или удерживаются от ее достижения, но при этом все же всег-

да сохраняют достаточно много от своей первоначальной сущности, чтобы обозначить свою идентичность (самопожертвование, стремление к сближению).

Таким образом, мы полагаем, что словом «любовь» в его многообразных применениях язык создал совершенно правомерную взаимосвязь и что мы не можем сделать ничего лучшего, чем положить ее в основу наших научных дискуссий и описаний. Принятием такого решения психоанализ вызвал бурю негодования, как будто он был повинен в кощунственном нововведении. И все же этим «расширенным» пониманием любви психоанализ не создал ничего оригинального. «Эрос» философа Платона в своем происхождении, проявлении и отношении к половой любви полностью совпадает с любовной энергией, либидо в психоанализе, как по отдельности показали Нахманзон и Пфистер, а когда апостол Павел в знаменитом Послании к Коринфянам превозносит любовь над всем остальным, он, несомненно, понимает ее именно в таком «расширенном» смысле, из чего можно лишь почерпнуть, что люди не всегда принимают всерьез своих великих мыслителей, даже если они якобы весьма восхищаются ими.

Эти любовные влечения *a potiori*[1] и по своему происхождению называются в психоанализе сексуальными влечениями. Большинство «образованных» восприняло это наименование как оскорбление и отомстило за него, бросив психоанализу упрек в «пансексуализме». Кто считает сексуальность чем-то постыдным и унизительным для человеческой природы, тот волен воспользоваться более благородными выражениями «эрос» и «эротика». Я и сам мог бы так поступить с самого начала и тем самым избежал бы многих упреков, но я не хотел этого, ибо не люблю идти на уступки малодушию. Нельзя знать, куда тебя заведет этот путь; сначала уступаешь на словах, а затем постепенно и на деле. Я не нахожу никакой заслуги в том, чтобы стыдиться сексуальности; греческое слово «эрос», которое должно умерить стыд, в конечном

1 Большей частью *(лат.)*. — *Примеч. пер.*

счете не что иное, как перевод нашего немецкого слова «Liebe» [«любовь»], и, наконец, кто может ждать, тому нет надобности идти на уступки.

Итак, мы попытаемся начать с предположения, что любовные отношения (выражаясь индифферентно: эмоциональные связи) составляют сущность также и массовой души. Вспомним о том, что про таковые у авторов не говорится. То, что им соответствовало бы, очевидно, скрыто за ширмой внушения. Наше ожидание сперва подкрепляют две мимолетные мысли. Во-первых, что масса удерживается вместе, очевидно, какой-то силой. Но какой силе можно было бы приписать это действие, кроме эроса, удерживающего вместе все в этом мире? Во-вторых, складывается впечатление, что, когда индивид отказывается в массе от своей самобытности и поддается внушению со стороны других, он делает это потому, что у него существует потребность скорее быть в согласии с ними, чем в противоречии, — то есть, возможно, «из любви к ним».

Две искусственные массы: церковь и войско

Из морфологии масс мы вспоминаем, что можно выделить различные виды масс и противоположные направления в их образовании. Существуют весьма недолговечные массы и в высшей степени прочные; гомогенные ((от греч. ὁμός — равный, одинаковый; γένω — рождать) — однородные), состоящие из однородных индивидов, и негомогенные (неоднородные); естественные массы и искусственные, для сплочения которых требуется внешнее принуждение; примитивные массы и расчлененные, высокоорганизованные. По причинам, которые пока еще непонятны, мы хотели бы особое значение придать разделению, на которое авторы, пожалуй, обращают слишком мало внимания; я имею в виду массы, не имеющие вождя, и массы, возглавляемые вождями. В противоположность привычному навыку наше исследование

выберет в качестве исходного пункта не относительно простое массовое образование, а начнет с высокоорганизованных, прочных искусственных масс. Самыми интересными примерами таких образований являются церковь, сообщество верующих людей, и армия, войско.

Церковь и войско — это искусственные массы, то есть для того чтобы их уберечь от распада и предупредить изменения в их структуре, применяется известное внешнее насилие. Как правило, человека не спрашивают, хочет он или нет вступить в подобную массу, и не предоставляют ему выбора; попытка выйти из нее обычно преследуется, или строго наказывается, или связывается с совершенно определенными условиями. Почему эти общественные образования нуждаются в таких особых мерах охраны — в настоящее время это нас не очень интересует. Нас привлекает только одно обстоятельство, а именно то, что в этих высокоорганизованных массах, защищающихся таким способом от распада, с большой отчетливостью можно выявить определенные отношения, которые где-нибудь в другом месте скрыты гораздо сильнее. Против такого понимания либидинозной структуры армии справедливо возразят, что здесь не нашлось места идеям родины, национальной славы и др., которые столь важны для сплоченности армии. Ответ на это таков: это другой, уже не такой простой случай массового образования, и, как показывают примеры великих полководцев, Цезаря, Валленштейна, Наполеона, такие идеи для прочности армии обязательными не являются. О возможной замене вождя руководящей идеей и о соотношении того и другого мы вкратце поговорим позднее. Пренебрежение этим либидинозным фактором в армии, даже если он не является единственно действительным, представляется не только теоретическим недостатком, но и кажется нам опасным в практическом отношении. Прусский милитаризм, который был таким же непсихологическим, как и немецкая наука, должен был, наверное, это узнать в великую мировую войну. Военные неврозы, разложившие германскую армию, были

признаны большей частью протестом отдельного человека против навязанной ему роли в армии, и, опираясь на сообщения Э. Зиммеля (1918), можно утверждать, что среди мотивов заболевания на первом месте стояло бессердечное отношение к обычному человеку его начальников. При лучшей оценке этого либидинозного притязания в фантастические обещания, содержащиеся в четырнадцати пунктах американского президента, наверное, было бы нелегко поверить, и великолепный инструмент не сломался бы в руках немецких военных деятелей.

Заметим, что в двух этих искусственных массах каждый отдельный человек либидинозно связан, с одной стороны, с вождем (Христом, полководцами), с другой стороны — с другими массовыми индивидами. Как соотносятся две эти связи, однородны ли и равноценны они и как их следовало бы психологически описать — это мы должны будем оставить для дальнейшего исследования. Но мы позволим себе уже сейчас слегка упрекнуть других авторов в том, что они недостаточно оценили значение вождя для психологии масс, тогда как благодаря выбору первого объекта исследования мы оказались в более выгодном положении. Нам кажется, что мы находимся на правильном пути, который поможет нам разъяснить основное явление психологии масс — несвободу отдельного человека в массе. Если у каждого отдельного человека существует столь интенсивная эмоциональная связь в двух направлениях, то нам будет нетрудно вывести из этого отношения наблюдаемое изменение и ограничение его личности.

Указание на то, что сущность массы состоит в имеющихся у нее либидинозных связях, мы получаем также и в феномене паники, который лучше всего можно изучить на примере военных масс. Паника возникает в том случае, когда подобная масса распадается. Ее особенностью является то, что уже ни один приказ начальника не остается услышанным и что каждый человек заботится о себе, не считаясь с другими. Взаимные связи распада-

ются, высвобождается огромная бессмысленная тревога. Разумеется, также и здесь снова напрашивается возражение, что происходит как раз обратное: тревога настолько усилилась, что перестала с чем-либо считаться и сумела разрушить все связи. Мак-Дугалл (1920) даже использовал случай паники (правда, не военной) в качестве примера отмеченного им усиления аффекта вследствие заражения *(«primary induction»)*. Однако это рациональное объяснение здесь оказывается совершенно ошибочным. Как раз и требуется объяснить то, почему тревога стала столь сильной. Возложить вину на степень опасности нельзя, ибо та же самая армия, которая ныне впадает в панику, может безупречно противостоять таким же большим и еще большим опасностям, и сущность паники как раз и составляет то, что она не соотносится с грозящей опасностью и зачастую возникает по самым ничтожным поводам. Когда отдельный человек в паническом страхе начинает заботиться лишь о самом себе, этим он подтверждает мысль, что аффективные связи, которые до сих пор преуменьшали для него опасность, перестали существовать. Теперь, поскольку он противостоит угрозе один, он, естественно, вправе оценивать ее выше. Стало быть, дело обстоит так, что панический страх предполагает ослабление либидинозной структуры массы и оправданным образом на это реагирует, а не наоборот, что либидинозные связи массы якобы оказались разрушенными страхом перед опасностью.

Эти замечания отнюдь не противоречат утверждению, что тревога возрастает в массе до чудовищных размеров в результате индукции (заражения). Точка зрения Мак-Дугалла совершенно верна для случая, когда опасность реально велика и когда в массе не существует сильных эмоциональных связей, то есть в условиях, которые соблюдаются, когда, например, в театре или в другом увеселительном месте вспыхивает пожар. Поучительным и пригодным для наших целей случаем является вышеупомянутый пример паники в общевойсковом соединении, когда опасность не превысила при-

вычной и часто уже хорошо переносившейся степени. Не следует ожидать, что слово «паника» употребляется в строго и однозначно определенном значении. Иногда так называют любую массовую тревогу, в других случаях — страх отдельного человека, когда она превышает всякую меру; зачастую это название оставляют для случая, когда вспышка тревоги не оправдывается вызвавшим ее поводом. Если взять слово «паника» в значении массовой тревоги, то мы сможем провести далеко идущую аналогию. Страх индивида вызывается либо размерами опасности, либо упразднением эмоциональных связей (либидинозных катексисов); последний случай — это случай невротической тревоги. Точно так же паника возникает при усилении грозящей всем опасности или вследствие устранения эмоциональных связей, удерживающих массу вместе, и этот последний случай аналогичен невротической тревоге.

Если, подобно Мак-Дугаллу (1920), описывать панику как одно из наиболее ярких проявлений «*group mind*»[1], то получается парадокс: эта массовая душа в одном из своих самых удивительных проявлений сама себя упраздняет. Не может быть никакого сомнения в том, что паника означает разложение массы, она имеет следствием то, что отдельные люди в массе перестают считаться друг с другом.

Типичный повод для возникновения паники — примерно такой, каким его изображает Иоганн Нестрой в своей пародии «Юдифь и Олоферн» на драму Геббеля[2]. Воин кричит: «Полководец потерял голову!» — и после этого все ассирияне обращаются в бегство. Потеря вождя, в некотором смысле разочарование в нем вызывают панику, хотя опасность остается той же самой; вместе с исчезновением привязанности к вождю, как правило, исчезают и взаимные связи массовых индивидов. Масса разлетается, как болонская склянка, у которой обломали верхушку.

---

[1] Групповой психики *(англ.)*. — *Примеч. пер.*

[2] Речь идет о трагедии К.Ф. Геббеля «Юдифь».

Распад религиозной массы наблюдать не так просто. Недавно мне попался написанный католиком и рекомендованный лондонским епископом английский роман под названием «Когда было темно», в котором искусно и, на мой взгляд, верно изображена такая возможность и ее последствия. В романе, словно из настоящего времени, рассказывается о том, что тайному заговору врагов персоны Христа и христианской веры удается разыскать в Иерусалиме гробницу, в надписи на которой Иосиф Аримафейский признается, что он, почитая Христа, на третий день после Его погребения тайно вынул тело из гроба и похоронил именно здесь. Этим была уничтожена вера в воскресение Христа и в Его Божественную природу, а следствием этого археологического открытия является потрясение европейской культуры и чрезвычайный рост всякого рода насилия и преступлений, который прекратится лишь после того, как будет разоблачен заговор фальсификаторов.

При предполагаемом здесь распаде религиозной массы проявляется не тревога, для которой нет повода, а эгоистические и враждебные импульсы по отношению к другим людям, которые до сих пор не могли выразиться благодаря одинаковой любви Христа. Но вне этой связи также и во времена царствия Христова находятся те индивиды, которые не принадлежат к общине верующих, которые не любят Его и которых Он не любит; поэтому религия, хотя она и называет себя религией любви, должна быть жестокой и немилосердной к тем, кто к ней не принадлежит. В сущности, каждая религия является такой религией любви для всех, кого она охватывает, и каждой присущи жестокость и нетерпимость к тем, кто к ней не принадлежит. Не стоит из-за этого, как бы трудно ни было в личном плане, делать горькие упреки верующим; в этом пункте неверующим и индифферентным психологически гораздо проще. Если сегодня эта нетерпимость уже не проявляется столь насильственно и жестоко, как в прошлые столетия, то из этого едва ли можно сделать вывод о смягчении людских нравов. Скорее всего, при-

чину этого надо искать в очевидном ослаблении религиозных чувств и зависящих от них либидинозных связей. Если место религиозной связи займет какая-нибудь другая массовая связь, как это сейчас, по-видимому, удается социалистической, то в результате возникнет та же самая нетерпимость к стоящим особняком, как и в эпоху религиозных войн, и если бы разногласия научных воззрений когда-нибудь смогли приобрести для масс такое же значение, то такой же результат повторился бы и для этой мотивировки.

Идентификация

Идентификация известна в психоанализе как самое раннее выражение эмоциональной связи с другим человеком.

Впервые описав психологический механизм «идентификации», являющийся самым ранним проявлением эмоциональной связи индивида с объектом через бессознательное уподобление ему, Фрейд заложил основу будущей концепции идентичности, охватившую когнитивные, психодинамические, психосексуальные, нейробиологические и культурные направления. В частности, теория идентификации Фрейда оказала существенное влияние на Эрика Эриксона, основателя последующей концепции личности.

Она играет определенную роль в предыстории эдипова комплекса.

Эдипов комплекс — понятие, введенное в психоанализ Зигмундом Фрейдом, обозначающее бессознательное или сознательное сексуальное влечение к родителю противоположного пола и двойственные чувства к родителю того же пола. В общем же смысле эдипов комплекс обозначает бессознательное эротическое влечение ребенка к родителю. Это понятие является одним из основных в психоаналитической теории. Название явления основано на древнегреческом мифе о царе Эдипе и одноименной драме Софокла, в которой Эдип, вопреки своей воле и не ведая того, убивает своего отца Лая и женится на матери Иокасте. Понимание эдипо-

вой ситуации в качестве основного фактора в образовании невротических заболеваний возникло у Фрейда в ходе самоанализа, который он провел после смерти своего отца; понимание это пришло на смену теории соблазнения.

Маленький мальчик проявляет особый интерес к своему отцу, ему хочется стать и быть таким, как он, во всем быть на его месте. Вполне можно сказать: он делает отца своим идеалом. Это поведение не имеет ничего общего с пассивным или женственным отношением к отцу (и к мужчине вообще), напротив, оно совершенно мужское. Оно хорошо согласуется с эдиповым комплексом, который помогает подготовить.

Одновременно с этой идентификацией с отцом, возможно даже раньше, мальчик начал осуществлять настоящий объектный катексис по типу опоры. Стало быть, он обнаруживает две психологически разные связи: с матерью — чисто сексуальный объектный катексис, с отцом — идентификацию как с образцом. Та и другая какое-то время существуют рядом друг с другом без взаимного влияния и без помех. Вследствие безостановочно продолжающейся унификации душевной жизни они наконец встречаются, и благодаря такому слиянию возникает нормальный эдипов комплекс. Малыш замечает, что путь к матери ему преграждает отец; теперь его идентификация с отцом приобретает враждебный оттенок и становится идентичной желанию заменить отца также и в отношениях с матерью. Таким образом, идентификация амбивалентна с самого начала, она точно так же может служить выражением нежности, как и желания устранения. Она ведет себя как потомок первой *оральной* фазы либидинозной организации, в которой желанный и ценимый объект поглощался с едой и при этом как таковой уничтожался. Как известно, каннибал сохраняет эту позицию; он любит врагов, которых съедает, и не ест тех, кого по какой-то причине не может любить.

Позднее судьбу этой идентификации с отцом легко потерять из виду. Может случиться так, что эдипов

комплекс претерпевает инверсию, в результате чего при женственной установке объектом выбирается отец, от которого ждут удовлетворения своих непосредственных сексуальных влечений, и в таком случае идентификация с отцом становится предтечей объектной связи с отцом. То же самое — с соответствующими заменами — относится и к маленькой дочери.

Отличие такой идентификации с отцом от выбора отца как объекта легко выразить формулой. В первом случае отец является тем, чем хотят *быть*, во втором случае — тем, чем хотят *обладать*. Стало быть, отличие состоит в том, к кому относится эта связь — к субъекту или к объекту Я. Поэтому первая связь возможна уже до всякого выбора сексуального объекта. Гораздо сложнее наглядно представить это различие метапсихологически.

Метапсихология (*нем.* Metapsychologie) — термин был предложен З. Фрейдом для обозначения общего теоретического фундамента психоанализа, а также для описания подхода к изучению психики в рамках данной науки. В научную литературу термин был введен в труде Фрейда «Психопатология обыденной жизни» (1901–1904). В ней ученый, рассуждая о суевериях и «мифологическом миросозерцании», приходил к выводу, что любое восприятие реальности через обращение к легендам — это проекция «личной психологии» во внешний мир. Фрейд отмечал, что «можно было бы попытаться разрешить таким путем мифы о рае и грехопадении <…> превратить метафизику в метапсихологию».

Затем Фрейд более чем на десятилетие оставил для себя этот термин в стороне и только в работе «Бессознательное» (1915) вернулся к его использованию, предложив несколько иную его трактовку. Теперь он стал характеризовать подход к рассмотрению психологических процессов в трех различных аспектах — динамическом, топографическом и экономическом. Прошло еще несколько лет, и в труде «По ту сторону принципа удовольствия» (1920) ученый утвердился во мнении о правильности избранного им подхода, и с этого времени термин «метапсихология» становится одним из важнейших понятий его теории. В книге «Конечный и бесконечный анализ» (1937) Фрейд, говоря об устранении

внутриличностных конфликтов, отметил: «Без метапсихологических спекуляций и теоретизирования <…> здесь не сдвинешься ни на шаг».

Можно только заметить, что идентификация стремится к тому, чтобы сформировать собственное Я так же, как Я другого человека, взятого за «образец».

Из более запутанной взаимосвязи мы выделяем идентификацию при невротическом симптомообразовании. Маленькая девочка, которую мы здесь хотим взять в качестве примера, приобретает тот же болезненный симптом, что и ее мать, — скажем, тот же самый мучительный кашель. Это может происходить различными путями. Это является либо идентификацией с ней вследствие эдипова комплекса, означающей враждебное желание занять место матери, и этот симптом выражает объектную любовь к отцу; он реализует замену матери под влиянием чувства вины: «Ты хотела быть матерью, теперь ты стала ею, по крайней мере в страдании». Таков в данном случае полный механизм образования истерического симптома. Или же симптом точно такой, как симптом у любимого человека (как, например, Дора из «Фрагмента анализа одного случая истерии» имитировала кашель отца).

«Фрагмент анализа одного случая истерии» (1901, дополнен в 1925), известный как «Случай Доры» (настоящее имя пациентки — Ида Бауэр; на момент начала работы с Фрейдом ей исполнилось 19 лет), описывает работу психоанализа с истерией. Причинами развития конверсионных симптомов стали длительная болезнь отца девушки, его любовная связь с госпожой К. и попытки мужа последней соблазнить саму Дору.

Тогда мы можем описать положение вещей только так, что *идентификация заняла место выбора объекта, а выбор объекта регрессировал к идентификации*. Мы слышали, что идентификация — это самая ранняя и самая первая форма эмоциональной связи; в условиях симптомообразования, то есть вытеснения, и при господ-

стве механизмов бессознательного часто бывает так, что выбор объекта снова становится идентификацией, стало быть, Я перенимает свойства объекта. Примечательно, что при этих идентификациях Я копирует то нелюбимого, то любимого человека. Нам должно также броситься в глаза, что в обоих случаях идентификация является частичной, в высшей степени ограниченной, заимствуется одна-единственная черта человека-объекта.

Третьим, особенно часто встречающимся и важным случаем симптомообразования является то, что идентификация совершенно не учитывает объектное отношение к копируемому лицу. Когда, например, девушка, живущая в пансионате, получает письмо от тайного возлюбленного, которое пробуждает у нее ревность и на которое она реагирует истерическим припадком, некоторые из ее подруг, знающие об этом, перенимают этот припадок, как мы говорим, путем психического заражения. Механизм, который здесь действует, — это механизм идентификации на основе желания или возможности поместить себя в такое же положение. Другим тоже хочется иметь тайную любовную связь, и они принимают под влиянием сознания вины также и связанное с нею страдание. Было бы неправильно утверждать, что они перенимают симптом из сочувствия. Напротив, сочувствие возникает вследствие идентификации, и доказательство этого заключается в том, что подобная инфекция или имитация возникает также в условиях, когда можно предположить еще меньшую предшествовавшую симпатию между двумя людьми, чем та, что обычно бывает среди подруг по пансионату. Одно Я почувствовало в другом важную аналогию в одном пункте, в нашем примере — в одинаковой эмоциональной готовности; вслед за этим создается идентификация в этом пункте, и под влиянием патогенной ситуации эта идентификация смещается на симптом, который был продуцирован Я. Таким образом, идентификация через симптом становится признаком общности обоих Я, которая должна оставаться вытесненной.

Сведения, полученные нами из этих трех источников, мы можем свести к тому, что, во-первых, идентификация является первоначальной формой эмоциональной связи с объектом, во-вторых, она становится регрессивным путем, так сказать, благодаря интроекции объекта в Я, заменой либидинозной связи с объектом, и, в-третьих, она может возникнуть при каждой вновь воспринятой общности с человеком, не являющимся объектом сексуальных влечений.

Интроекция (*от лат.* intro — внутрь и *лат.* jacio — бросаю, кладу) — бессознательный психологический процесс, который относится к механизмам психологической защиты, когда индивид вводит в свой внутренний мир воспринимаемые им от других людей взгляды, мотивы, установки (интроекты).

Чем значительнее эта общность, тем успешнее должна быть эта частичная идентификация, и, таким образом, она должна соответствовать возникновению новой связи.

Мы уже догадываемся, что взаимная связь массовых индивидов по своей природе представляет собой одну из таких идентификаций, возникающих благодаря важной аффективной общности, и можем предположить, что эта общность заключается в характере связи с вождем. Другая догадка может нам подсказать, что мы далеки от того, чтобы исчерпать проблему идентификации, что мы имеем дело с процессом, который психология называет «вчувствованием» и который больше всего задействован в понимании нами чуждости Я у других людей. Но мы хотим ограничиться здесь ближайшими аффективными последствиями идентификации, а также оставить в стороне ее значение для нашей интеллектуальной жизни.

Психоаналитическое исследование, которое иногда обращалось уже и к более трудным проблемам психозов, смогло показать нам идентификацию также и в некоторых других случаях, которые не сразу доступны нашему пониманию. Два таких случая я подробно разберу в качестве материала для наших последующих рассуждений.

В целом ряде случаев мужская гомосексуальность имеет следующее происхождение: молодой человек чрезвычайно долго и интенсивно был фиксирован на своей матери в значении эдипова комплекса. Наконец, после завершения пубертата, наступает пора заменить мать на другой сексуальный объект. И тут происходит внезапная перемена: юноша не покидает свою мать, а с нею идентифицируется, он в нее превращается и теперь ищет объекты, которые могут ему заменить его Я, и он сможет любить и оберегать их так, как это делала с ним его мать. Этот процесс встречается часто, его можно подтвердить множеством примеров, и, разумеется, он совершенно не связан с какими бы то ни было предположениями, которые делаются относительно органических движущих сил и мотивов этой внезапной метаморфозы. В этой идентификации обращает на себя внимание ее обширность; она изменяет Я в крайне важной части, в сексуальном характере, по образцу прежнего объекта. При этом от самого объекта человек отказывается; полностью или только в том смысле, что он сохраняется в бессознательном, — этот вопрос не является здесь предметом нашего обсуждения. Идентификация с отвергнутым или утраченным объектом с целью его замены, интроекция этого объекта в Я, разумеется, уже не является для нас чем-то новым. Такой процесс можно иногда непосредственно наблюдать у маленького ребенка. Недавно в «Международном журнале психоанализа» было опубликовано такое наблюдение: ребенок, чувствовавший себя несчастным из-за потери котенка, бойко заявил, что он теперь сам котенок; соответственно этому он стал ползать на четвереньках, не хотел есть за столом и т.д.

Другой пример такой интроекции объекта дал нам анализ меланхолии, нарушения, к числу самых явных поводов которого относят реальную или аффективную утрату любимого объекта. Главной особенностью этих случаев является жестокое самоунижение Я вместе с беспощадной самокритикой и горькими самообвинениями. Анализы показали, что эта оценка и эти упреки, в сущности, относятся к объекту и являются ме-

стью ему со стороны Я. Тень объекта упала на Я, — так было сказано мной в другом месте. Интроекция объекта проявляется здесь с несомненной отчетливостью.

Однако эти меланхолии демонстрируют нам и нечто иное, что может быть важным для наших последующих рассуждений. Они показывают нам Я разделенным, распавшимся на две части, одна из которых свирепствует против другой. Эта другая часть изменена вследствие интроекции, она включает в себя утраченный объект. Но и та часть, которая ведет себя так жестоко, не является для нас незнакомой. Она включает совесть, критическую инстанцию в Я, которая и в обычные времена критически противопоставляла себя Я, разве что никогда не делала этого так безжалостно и несправедливо. Мы уже раньше имели повод сделать предположение, что в нашем Я развивается такая инстанция, которая может отделиться от остального Я и вступить с ним в конфликт. Мы назвали ее «Я-идеал» и приписали ей функции самонаблюдения, моральной совести, цензуры сновидения и главную роль в вытеснении. Мы сказали, что она является наследницей первоначального нарцизма, в котором детское Я удовлетворяло само себя. Постепенно из влияний окружения она восприняла требования, которые та предъявляет Я и которые Я не всегда может выполнить, и поэтому человек, если он не может быть сам доволен своим Я, все же имеет возможность находить свое удовлетворение в отмежевавшемся от Я Я-идеале. Далее мы установили, что в бреде наблюдения становится очевидным распад этой инстанции и при этом выявляется ее происхождение из влияния авторитетов, прежде всего родителей. Но мы не забыли указать, что степень отдаления этого Я-идеала от актуального Я у отдельного индивида очень варьируется и что у многих эта дифференциация внутри Я не простирается дальше, чем у ребенка.

Но прежде чем мы сможем использовать этот материал для понимания либидинозной организации массы, мы должны принять во внимание другие взаимоотношения между объектом и Я.

Влюбленность и гипноз

Даже в своих причудах словоупотребление остается верным какой-либо действительности. Хотя «любовью» в нем называются очень разные эмоциональные отношения, которые также и мы теоретически объединяем словом «любовь», но потом в нем опять возникает сомнение, является ли эта любовь настоящей, подлинной, истинной, и указывается на целую градацию возможностей в рамках феноменов любви. Нам также будет нетрудно выявить путем наблюдения.

В ряде случаев влюбленность — это не что иное, как объектный катексис со стороны сексуальных влечений с целью непосредственного сексуального удовлетворения, который с достижением этой цели угасает; это то, что называют вульгарной, чувственной любовью. Но, как известно, либидинозная ситуация редко бывает такой простой. Уверенность, с которой можно было рассчитывать на новое пробуждение только что угасшей потребности, должна, наверное, быть ближайшим мотивом к тому, чтобы катектировать сексуальный объект в течение долгого времени, «любить» его также в промежутки времени, свободные от вожделения.

Из весьма удивительной истории развития любовной жизни человека добавляется другой момент. В первой фазе, завершающейся, как правило, уже к пяти годам, ребенок находит в одном из родителей первый объект любви, на котором объединяются все его требующие удовлетворения сексуальные влечения. Наступающее затем вытеснение вынуждает отказ от большинства этих детских сексуальных целей и оставляет после себя глубокое изменение отношения к родителям. Ребенок и дальше остается связан с родителями, но влечениями, которые следует назвать «заторможенными по отношению к цели». Чувства, которые он отныне испытывает к этим любимым людям, называются «нежными». Известно, что в бессознательном сохраняются более или менее интенсивные прежние «чувственные» стремления, а по-



тому первоначальный полноводный поток продолжает существовать и дальше.

С наступлением пубертата, как известно, появляются новые, весьма интенсивные стремления, направленные на непосредственные сексуальные цели. В неблагоприятных случаях они в виде чувственного потока остаются отделены от устойчивых «нежных» эмоциональных направлений. Тогда мы имеем перед собой картину, обе стороны которой так охотно идеализируются известными литературными направлениями. Мужчина проявляет романтические наклонности в отношении глубокоуважаемых женщин, которые, однако, не побуждают его к любовному общению, и он обнаруживает потенцию только с другими женщинами, которых не «любит», не уважает или даже презирает. Между тем подрастающему

юноше чаще удается известная степень синтеза платонической, небесной любви и любви земной, чувственной, и его отношение к сексуальному объекту характеризуется взаимодействием незаторможенных влечений и влечений, заторможенных по отношению к цели. По вкладу целезаторможенных нежных влечений можно судить о силе влюбленности в противоположность чисто чувственному вожделению.

В рамках этой влюбленности нам с самого начала бросается в глаза феномен сексуальной переоценки, тот факт, что любимый объект пользуется достаточной свободой от критики, что все его качества оцениваются выше, чем качества нелюбимых людей или его самого в то время, когда его не любили. При более или менее действенном подавлении или оттеснении на задний план чувственных стремлений возникает иллюзия, что за его душевные достоинства объект любят также и чувственно, тогда как на самом деле, возможно, наоборот, как раз чувственное удовлетворение и наделило его этими достоинствами.

Стремлением, которое здесь искажает суждение, является *идеализация*. Тем самым, однако, нам облегчается ориентировка; мы видим, что с объектом обращаются так, как с собственным Я, что, стало быть, при влюбленности бóльшая часть нарциссического либидо изливается на объект. В некоторых формах любовного выбора становится даже очевидным, что объект служит тому, чтобы заменить свой собственный недостижимый Я-идеал. Его любят за совершенства, к которым человек стремился для собственного Я и которые ему хочется теперь приобрести этим окольным путем для удовлетворения своего нарцизма.

Если сексуальная переоценка и влюбленность еще более возрастают, то толкование этой картины становится еще более очевидным. Стремления, требующие непосредственного сексуального удовлетворения, теперь могут быть полностью оттеснены, как это, к примеру, обычно бывает при мечтательной любви юноши; Я ста-

новится все более непритязательным, скромным, объект — все более замечательным, ценным; в конце концов он овладевает общим себялюбием Я, а потому самопожертвование этого Я становится естественным следствием. Объект, так сказать, истощил Я. Черты покорности, ограничение нарцизма, причинение себе вреда имеют место во всех случаях влюбленности; в крайнем случае они только усиливаются и вследствие отступления на задний план чувственных притязаний остаются единственно господствующими.

Особенно легко это происходит в случае несчастной, недостижимой любви, поскольку всякий раз при сексуальном удовлетворении сексуальная переоценка снижается. Одновременно с этой «преданностью» Я объекту, которая уже ничем не отличается от сублимированной преданности абстрактной идее, полностью перестают выполняться функции, отведенные Я-идеалу.

Сублимация — переключение психической энергии из одного состояния в другое; процесс, в ходе которого инстинктивные энергии переключаются в неинстинктивные формы поведения. Этим понятием З. Фрейд объяснял те типы человеческой активности, которые не имеют видимой связи с сексуальностью, но явлены сексуальным влечением: «Сексуальное влечение обеспечивает труд огромной массой энергии; это происходит в силу присущей ему способности изменять свою цель, не ослабляя напора. Эта способность менять первоначальную сексуальную цель на другую, несексуальную, но психологически ей близкую, называется сублимацией».

Критика, осуществляемая этой инстанцией, умолкает; все, что делает и чего требует объект, является правильным и безупречным. Во всем, что делается во благо объекта, совесть не находит для себя применения; в любовном ослеплении человек, не раскаиваясь, становится преступником. Всю ситуацию без остатка можно охватить формулой: *объект занял место Я-идеала*.

Теперь легко описать отличие идентификации от влюбленности в ее высших проявлениях, которые назы-

вают ослеплением, любовной подчиненностью. В первом случае Я обогатилось свойствами объекта, «интроецировало» его, по выражению Ференци (1909); во втором случае оно обеднело, уступило себя объекту, поставило его на место своей важнейшей составной части. Между тем при ближайшем рассмотрении можно заметить, что подобное изображение ложно указывает на противоречия, которые не существуют. С экономической точки зрения речь не идет об обеднении или обогащении; также и крайнюю влюбленность можно описать так, что Я интроецировало объект. Возможно, другое разграничение скорее ухватит существенное. В случае идентификации объект либо утрачен, либо отвергнут; затем он снова воссоздается в Я, причем частично изменяется по образцу утраченного объекта. В другом же случае объект сохраняется и как таковой гиперкатектируется со стороны и за счет Я. Но и против этого возникает сомнение. Разве установлено, что идентификация предполагает отказ от объектного катексиса, разве не может быть идентификации при сохраненном объекте? И, прежде чем пуститься в обсуждение этого щекотливого вопроса, у нас уже может забрезжить мысль, что сущность этого положения вещей включает в себя другую альтернативу, а именно: *на чье место становится объект — на место Я или на место Я-идеала*.

От влюбленности, очевидно, недалеко до гипноза. Соответствие того и другого очевидно: то же смиренное подчинение, уступчивость, отсутствие критики в отношении гипнотизера, что и в отношении объекта любви. То же отсутствие личной инициативы; нет сомнения в том, что гипнотизер занял место Я-идеала.

Чувство любви, влюбленность были не чужды Фрейду. То чувство, которое он испытал при первой встрече с будущей женой, потрясло его, ведь до этого он только доверял холодному, критичному рассудку, не подверженному каким-либо лишним эмоциям. Помимо возвышенных переживаний период влюбленности для Фрейда обернулся вынужденными долгими разлуками, мучительными размышлениями о буду-

щем, в первую очередь в связи со своей финансовой состоятельностью и, как он признавался, нервозностью и напряженностью, сродни тому, что испытывают юноши на почве томительных ожиданий интимных отношений. Будучи абсолютно честным перед собой и другими, Фрейд как исследователь тайн психики не мог не использовать свой личный опыт для объяснения этого загадочного феномена души — влюбленности. Сравнение Фрейдом влюбленности с эффектом гипноза в какой-то мере перекликается с некоторыми нейробиологическими попытками сравнить состояние любви с психотическим состоянием на том основании, что в обоих случаях вовлечена дофаминовая система мозга. Но несмотря на пополняющееся знание об анатомии и химии влюбленности, данный феномен по-прежнему остается неразгаданным.

При гипнозе все соотношения являются лишь более отчетливыми и интенсивными, и поэтому было бы целесообразнее объяснять влюбленность через гипноз, а не наоборот. Гипнотизер представляет собой единственный объект; помимо него никто другой не принимается во внимание. Тот факт, что Я словно во сне переживает все, что он требует и утверждает, напоминает нам, что среди функций Я-идеала мы упустили осуществление проверки реальности. Неудивительно, что Я считает восприятие реальным, если психическая инстанция, которой поручена задача проверки реальности, за эту реальность вступается. Полное отсутствие стремлений с незаторможенными сексуальными целями во многом содействует крайней чистоте проявлений. Гипнотическое отношение представляет собой неограниченное отречение от себя влюбленного человека при исключении сексуального удовлетворения, тогда как при влюбленности оно лишь на время откладывается и остается на заднем плане как более поздняя целевая возможность.

Но, с другой стороны, мы можем также сказать, что гипнотическое отношение представляет собой — если позволительно такое выражение — массовое образование из двух людей. Гипноз не является хорошим объектом для сравнения с массовым образованием, поскольку

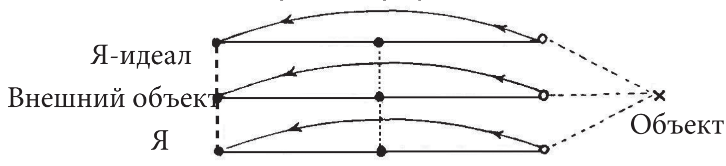
он скорее идентичен ему. Из сложной структуры массы он изолирует один элемент — отношение массового индивида к вождю. Этим ограничением численности гипноз отличается от массового образования, а отсутствием непосредственно сексуальных стремлений — от влюбленности. Тем самым он находится посредине между ними.

Любопытно увидеть, что именно целезаторможенные сексуальные стремления создают столь прочные связи между людьми. Но это легко понять из того факта, что они не способны к полному удовлетворению, тогда как незаторможенные сексуальные стремления каждый раз при достижении сексуальной цели чрезвычайно ослабевают. Чувственной любви уготовано угасать при удовлетворении; чтобы суметь сохраниться, она с самого начала должна быть разбавлена чисто нежными, то есть целезаторможенными, компонентами или претерпеть подобную трансформацию.

Гипноз легко разрешил бы нам загадку либидинозной конституции, если бы сам не содержал черт, которые не поддаются предыдущему рациональному объяснению, таких как влюбленность при исключении непосредственно сексуальных стремлений. В нем еще многое следует признать непонятным, мистическим. Он содержит примесь парализованности, вытекающей из отношения могущественного человека к слабому, беспомощному, что в чем-то сродни гипнозу, порожденному испугом, у животных. То, как он вызывается, его отношение к сну непонятно, а загадочный выбор пригодных для гипноза людей, в то время как другие ему совершенно не поддаются, указывает на еще один неизвестный момент, который в нем осуществляется и, возможно, как раз и обеспечивает чистоту либидинозных установок. Заслуживает внимания и то, что моральная совесть загипнотизированного человека нередко оказывает сопротивление даже при полной суггестивной покорности в остальном. Но это может быть обусловлено тем, что при гипнозе в том виде, как он чаще всего производится, может сохраняться зна-

ние о том, что это всего лишь игра, ненастоящее воспроизведение другой, гораздо более важной жизненной ситуации.

Однако предыдущими рассуждениями мы полностью подготовлены к тому, чтобы представить формулу либидинозной конституции массы. Во всяком случае, такой массы, какую мы до сих пор рассматривали, которая, стало быть, имеет вождя и не могла благодаря слишком большой «организованности» вторично приобрести качества индивида. *Такая первичная масса представляет собой множество индивидов, поставивших один и тот же объект на место своего Я-идеала и вследствие этого идентифицировавшихся друг с другом в своем Я.* Это отношение можно изобразить графически:



Стадное влечение

Мы лишь короткое время порадуемся иллюзии, что с помощью этой формулы решили загадку массы. Вскоре нас должно обеспокоить напоминание, что, в сущности, мы сослались на загадку гипноза, в которой еще многое осталось неразрешенным. И тут новое возражение указывает нам дальнейший путь.

Мы вправе сказать себе, что обширных аффективных связей, которые мы выявляем в массе, вполне достаточно для того, чтобы объяснить некоторые из ее особенностей — недостаток самостоятельности и инициативы у отдельного человека, однородность его реакций с реакциями всех остальных, его понижение, так сказать, до уровня массового индивида. Но масса, если мы будем ее рассматривать как единое целое, обнаруживает нечто большее; признаки ослабления интеллектуальной деятельности, аффективной несдержанности, неспособ-

ность проявлять умеренность и неспособность отсрочки действий, склонность переходить все границы дозволенного в проявлении чувств и склонность к их полному отводу в действии — все это и многое подобное, что так впечатляюще изображено Лебоном, в результате дает несомненную картину регрессии душевной деятельности на более раннюю ступень, которая не вызывает у нас удивления, когда мы обнаруживаем ее у дикарей и детей. Такая регрессия особенно характерна для обычной массы, тогда как у высокоорганизованных, искусственных масс она, как мы слышали, может быть в значительной степени сдержана.

Таким образом, у нас создается впечатление, что мы имеем дело с состоянием, в котором отдельное эмоциональное побуждение и личный интеллектуальный акт индивида слишком слабы, чтобы проявиться самостоятельно, и должны непременно дожидаться подкрепления в виде однородного повторения со стороны других людей. Вспомним о том, сколько этих феноменов зависимости относится к нормальной конституции человеческого общества, как мало в нем можно найти оригинальности и личного мужества, насколько каждый отдельный человек находится во власти установок массовой души, которые дают о себе знать в расовых особенностях, сословных предрассудках, общественном мнении и тому подобном. Загадка суггестивного влияния для нас усложняется, если признать, что такое влияние оказывает не только вождь, но и каждый отдельный человек на другого, и мы делаем себе упрек в том, что односторонне выпятили отношение к вождю и неподобающим образом отодвинули на второй план другой фактор — фактор взаимного внушения.

Призвав таким образом к скромности, мы будем склонны прислушаться к другому голосу, который сулит нам дать объяснение на более простых основаниях. Я заимствую его из толковой книги В. Троттера о стадном влечении (1916), по поводу которой я лишь сожалею, что она не сумела полностью избежать антипатий, вызванных последней великой войной.

Троттер выводит описанные душевные феномены массы из стадного инстинкта *(«gregariousness»),* который у человека, как и у других видов животных, является врожденным. В биологическом отношении эта стадность представляет собой аналогию и, так сказать, продолжение многоклеточности; с точки зрения теории либидо она является дальнейшим выражением проистекающей из либидо склонности всех однородных живых существ объединяться в более крупные единицы. Отдельный человек ощущает себя неполным *(«incomplete»),* когда остается один. Уже страх маленького ребенка является выражением этого стадного инстинкта. Противоречие стаду равносильно отделению от него и поэтому под влиянием страха избегается. Стадо же отвергает все новое, непривычное. Стадный инстинкт представляет собой нечто первичное, далее неразложимое *(«which cannot be split up»).*

Троттер приводит ряд влечений (или инстинктов), которые, по его предположению, являются первичными: влечение к самосохранению, к принятию пищи, половое и стадное влечение. Последнее часто оказывается в ситуации противопоставления себя другим влечениям. Сознание вины и чувство долга являются характерными особенностями «*gregarious animal*». От стадного инстинкта, по мнению Троттера, происходят также вытесняющие силы, которые психоанализ выявил в Я, и, следовательно, равным образом сопротивление, на которое наталкивается врач во время психоаналитического лечения. Своим значением язык обязан своей пригодности для взаимного понимания в стаде, на нем большей частью основывается идентификация отдельных людей друг с другом.

Если Лебон уделял основное внимание характерным недолговечным массовым образованиям, а Мак-Дугалл — стабильным сообществам, то Троттер поместил в центр своих интересов самые распространенные союзы, в которых живет этот ζφον πολιτικὸν[1] и дал им психологическое обоснование. Троттеру не нужно было

---

[1] «Политическое животное» (Аристотель, «Политика». 1252).

искать происхождение стадного влечения, поскольку он называет его первичным и далее неразложимым. Его замечание, что Борис Сидис выводит стадное влечение из внушаемости, к счастью, для него излишне; это представляет собой объяснение по известному, неудовлетворительному шаблону, и если перевернуть этот тезис, то есть сказать, что внушаемость является потомком стадного влечения, то это положение кажется мне гораздо более убедительным.

Борис Сидис (Сайдис) был одним из самых значительных психиатров и психологов США своего времени. Он основал такое направление психиатрии как психопатология, занимался вопросами гипноза и групповой психотерапии, написал книгу «Психология внушения», которая и сегодня достаточно авторитетное издание. Деятельность Зигмунда Фрейда Сидис критиковал и выступал против «безумной эпидемии фрейдизма, вторгающейся <…> в Америку».

Но против такого подхода Троттера с еще большим правом, чем против других, можно возразить, что в нем обращается слишком мало внимания на роль вождя в массе, тогда как мы склоняемся к противоположному мнению, что сущность массы нельзя понять, если пренебречь ролью вождя. Стадный инстинкт вообще не оставляет места вождю, тот лишь случайно добавляется к стаду, и с этим связано то, что от этого влечения не ведет путь к потребности в Боге; стаду недостает пастуха. Но, кроме того, подход Троттера можно опровергнуть психологически, то есть можно по меньшей мере доказать вероятность того, что стадное влечение не является неразложимым, первичным в таком же смысле, как влечение к самосохранению и половое влечение.

Разумеется, онтогенез проследить нелегко.

Онтогенез — индивидуальное развитие организма от оплодотворения до смерти.



Тревога маленького ребенка, когда он остается один, которую Троттер расценивает уже как проявление влечения, скорее требует иного истолкования. Она относится к матери, впоследствии к другим хорошо знакомым людям и является выражением неисполненного желания, с которым ребенок ничего не может поделать, кроме как превратить его в тревогу. Тревога оставшегося в одиночестве маленького ребенка не исчезает также при виде любого человека «из стада»; напротив, приближение такого «чужака» как раз и вызывает ее. Далее у ребенка долгое время не отмечается никакого стадного инстинкта или массового чувства. Оно впервые возникает в детской комнате, где много детей, из отношения детей к родителям, а именно как реакция на первоначальную зависть, с которой старший ребенок воспринимает младшего. Разумеется, старшему ребенку хочется ревниво оттеснить пришедшего следом, отдалить его от родителей и лишить всех его прав, но ввиду того, что и этого ребенка — как и всех последующих — родители точно так же любят, и вследствие невозможности сохранить свою враждебную установку без вреда для себя он вынужден идентифицироваться с другими детьми, и в ватаге детей создается чувство массы, или общности, которое потом получает в школе свое дальнейшее развитие. Первое требование этого реактивного образо-

вания — требование справедливости, одинакового обращения со всеми. Известно, как громко и настойчиво это требование выражается в школе. Если самому нельзя быть любимчиком, то пусть уж тогда не будут предпочитать и никого другого. Это изменение и замену ревности массовым чувством в детской комнате и школьном классе можно было бы счесть неправдоподобными, если бы такой же процесс не наблюдался позднее снова при других обстоятельствах. Вспомним о толпе восторженно-влюбленных женщин и девушек, обступающих певца или пианиста после его концерта. Несомненно, каждая из них проявляла бы к другим ревность, но ввиду их многочисленности и с этим связанной невозможности достичь цели своей влюбленности они от этого отказываются и вместо того, чтобы вцепиться друг другу в волосы, ведут себя как единая масса, преклоняющаяся перед виновником торжества в совместных действиях и благоговеющая перед тем, кого они чествуют, проявляя это сообща; были бы рады поделиться его локоном. Первоначально соперницы, они могут друг с другом идентифицироваться благодаря одинаковой любви к одному и тому же объекту. Если ситуация, относящаяся к влечению, как это обычно бывает, может иметь различные исходы, то мы не удивимся тому, что получается тот исход, с которым связана возможность известного удовлетворения, тогда как другой исход, даже более естественный, не имеет места, поскольку реальные условия в достижении этой цели отказывают.

Будущее одной иллюзии

I

Если ты долгое время жил в определенной культуре и поэтому часто пытался исследовать ее истоки и путь развития, то однажды испытываешь искушение обратить взор в другом направлении и поставить вопрос, какая судьба ждет эту культуру в дальнейшем и какие изменения ей предстоит пережить. Но вскоре замечаешь, что такое исследование с самого начала обесценивается многочисленными моментами. Прежде всего тем, что существует не так много людей, которые могут обозреть поведение человека во всех его проявлениях. Для большинства стало необходимым ограничение одной или несколькими областями; но чем меньше знают о прошлом и настоящем, тем менее надежным окажется его суждение о будущем, потому что именно в этом суждении субъективные ожидания индивида играют трудноопределимую роль; однако они зависят от исключительно личных моментов его собственного опыта, его более или менее полной надежд жизненной установки, которая ему была определена темпераментом, успехами или неудачами. Наконец, воздействует тот поразительный факт, что люди в общем и целом воспринимают свою современную жизнь, так сказать, наивно, не будучи способными оценить ее содержание; сначала им нужно занять по отношению к ней некоторую дистанцию, то есть настоящее должно превратиться в прошлое, чтобы получить из него отправные точки для оценки будущего.

Кто, таким образом, поддается искушению выразить свое мнение о вероятном будущем нашей культуры, тот сделает правильно, если будет помнить о только что высказанном опасении, равно как и о ненадежности, свойственной вообще всякому предсказанию.

Дело в том, что Фрейд крайне скептически относился ко всякого рода предсказаниям и неоднократно повторял это в разговорах и воспоминаниях. Может показаться ироничным, но тем не менее в свое время известное пророчество оказало влияние на самооценку Фрейда. Как-то его молодая

мать столкнулась в булочной со старухой-крестьянкой, которая предсказала маленькому Фрейду славу, сообщив матери, что она подарила жизнь великому человеку. Гордая и счастливая мать твердо уверовала в это предсказание, и ее убежденность передалась сыну. Этот рассказ повторялся среди домочадцев настолько часто, что когда в 11-летнем возрасте Фрейд услышал новое предсказание, то такая череда «пророчеств» произвела-таки на него некоторое впечатление. Но в период взросления Фрейд, будучи скептиком, перестал легко принимать эти предсказания на веру. Он писал: «Подобные предсказания должны делаться очень часто; на свете столь много счастливых, полных ожидания матерей и столь много старых крестьянок или других старых женщин, которые обращают свой взор к будущему, как только земные силы их покидают, так что предсказательница вряд ли несет наказание за свои предсказания». Скрывалось ли в отношении Фрейда к пророчествам некое кокетство? Навряд ли. Достигнув заслуженной славы и признания, Фрейд понимал цену своим достижениям и то, каким трудом давались ему они, поэтому желал быть абсолютно непредвзятым и реалистичным ко всему, что с ним происходило.

Из этого я делаю для себя вывод, что мне следует спешно уклониться от слишком большой задачи, как только отыщу небольшую частную область, которая и раньше привлекала мое внимание, после того как я определил ее место в рамках огромного целого.

Как известно, человеческая культура — я имею в виду все то, в чем человеческая жизнь возвысилась над своей анималистической обусловленностью и в чем она отличается от жизни животных (при этом я пренебрегаю различием между культурой и цивилизацией), — показывает наблюдателю две стороны. С одной стороны, она включает в себя все приобретенное людьми знание и умение, позволяющее им овладеть силами природы и использовать ее блага для удовлетворения человеческих потребностей; с другой стороны, в нее входят все институты, необходимые для регуляции отношений между людьми и особенно для распределения полученных благ. Оба направления культуры связаны

между собой, во-первых, поскольку на взаимоотношениях людей во многом сказывается степень удовлетворения влечений, обеспечиваемая имеющимися благами, во-вторых, поскольку отдельный человек сам может вступать в отношения с другим в связи с неким благом, когда тот использует его рабочую силу или делает его сексуальным объектом, в-третьих же, поскольку каждый отдельный индивид потенциально является врагом культуры, которая все же должна представлять общечеловеческий интерес. Примечательно, что люди, какими бы не способными они ни были к разобщенному существованию, воспринимают жертвы, требуемые от них культурой, чтобы сделать возможной совместную жизнь, как тяжкий гнет. Поэтому культура должна защищать себя от отдельных людей, а ее учреждения, институты и заповеди служат этой задаче; они ставят целью не только обеспечение определенного распределения благ, но и его сохранение; более того, они должны защищать от враждебных побуждений людей все то, что служит покорению природы и производству благ. Творения человека легко можно разрушить, а наука и техника, которые ее создали, могут быть использованы и для ее уничтожения.

Таким образом, создается впечатление, что культура представляет собой нечто такое, что было навязано сопротивляющемуся большинству меньшинством, которому удалось завладеть средствами власти и принуждения. Совершенно естественно предположить, что эти трудности не коренятся в сущности культуры как таковой, а обусловливаются несовершенством форм культуры, которые были созданы до сих пор. Действительно, эти недостатки нетрудно выявить. Если в покорении природы человечество постоянно двигалось вперед и мы вправе ожидать еще большего прогресса в будущем, то такой же прогресс в регулировании отношений между людьми нельзя с уверенностью констатировать, и, вероятно, во все времена, как и теперь, многие люди задавались вопросом, стоит ли вообще защищать эту

часть приобретений культуры. Хочется думать, что все же возможно переустройство человеческих отношений, которое упразднит источники неудовлетворенности культурой, поскольку она откажется от принуждения и подавления влечений, благодаря чему люди, не испытывая внутреннего разлада, смогут предаться приобретению благ и наслаждению ими. Это был бы золотой век; разве что возникает вопрос, достижимо ли подобное состояние. Скорее представляется, что любая культура должна строиться на принуждении и запрете влечений; совсем не гарантировано, что после отмены принуждения большинство человеческих индивидов будет готово поддерживать производительность труда, которая требуется для получения новых жизненных благ. Я думаю, нужно считаться с тем фактом, что у всех людей имеются деструктивные, то есть антисоциальные и антикультурные, тенденции и что у большого числа людей они достаточно сильны, чтобы определять их поведение в человеческом обществе.

Знаменитая концепция «влечения к смерти» возникла у Фрейда умозрительно, но ее рождение предрекла жестокость жизни. Первая мировая война, представляющая внушительное зрелище агрессии, грубости и жестокости, страшные истории искалеченных ветеранов навели Фрейда на мысль, что в психике сосуществуют препятствующие одна другой силы: он назвал их соответственно влечениями к жизни и влечениями к смерти. Эти жизненные инстинкты называются еще «эрос» и «танатос». Они обладают равной законностью и статусом и находятся в постоянной борьбе друг с другом, хотя в конце неизбежно побеждает влечение к смерти. Фрейд признал существование в человеческой психике первичного агрессивного, или деструктивного, влечения, которое в сочетании с сексуальными импульсами становится известным извращением, называемым садизмом. Понимая, какой разрушительной силой наделено влечение к смерти, единственным действенным противостоянием этой силе Фрейд видел культуру. «В силу изначальной враждебности людей друг к другу культурному обществу постоянно грозит развал… Культура должна мобилизовать

все свои силы, чтобы поставить предел агрессивным первичным влечениям человека», — напутствовал он.

Этот психологический факт имеет решающее значение при оценке человеческой культуры. Если вначале можно было подумать, что главное в ней — покорение природы ради получения жизненных благ и что грозящие ей опасности можно устранить благодаря целесообразному распределению этих благ между людьми, то теперь центр тяжести перемещается с материального на душевное. Решающим становится то, удастся ли, и в какой мере, уменьшить бремя возлагаемой на людей обязанности жертвовать своими влечениями, примирить их с жертвой, остающейся необходимой, и вознаградить их за это. Подобно тому как нельзя обойтись без принуждения к культурной работе, точно так же нельзя обойтись без господства меньшинства над массой, ибо массы инертны и неразумны, они не любят отказываться от влечений, их нельзя убедить с помощью аргументов в неизбежности этого, а их индивиды поддерживают друг друга в свободном проявлении распущенности. Только благодаря влиянию образцовых индивидов, которых они признают своими вождями, их можно подвигнуть на трудовые достижения и самоотверженность, от которых зависит прочность культуры. Все это хорошо, если этими вождями становятся люди с превосходным пониманием необходимостей жизни, сумевшие овладеть своими собственными желаниями-влечениями. Но для них существует опасность того, что они, чтобы не утратить свое влияние, будут уступать массе больше, чем она им, и поэтому представляется необходимым, чтобы они, обладая средствами власти, были независимыми от массы. Если выразить кратко, то существуют две широко распространенные особенности людей, повинные в том, что культурные институты могут быть сохранены лишь благодаря известной степени принуждения, а именно: во-первых, сами по себе люди не любят работать, и, во-вторых, аргументы бессильны против их страстей.

Я знаю, что против этих моих рассуждений будут возражать. Мне скажут, что изображенный здесь характер человеческих масс, призванный доказать неизбежность принуждения к культурной работе, сам является лишь следствием недоброкачественных культурных институтов, из-за которых люди стали озлобленными, мстительными, замкнутыми. Новые поколения, воспитанные с любовью и приученные высоко ценить мысль, рано познавшие благодеяния культуры, иначе будут к ней относиться, будут воспринимать ее как свое собственное достояние, будут готовы приносить ей жертвы, трудясь и отказываясь от удовлетворения влечений, необходимые для ее сохранения. Они смогут обходиться без принуждения и будут мало чем отличаться от своих вождей. Если же человеческих масс такого качества до сих пор не существовало ни в одной культуре, то это объясняется тем, что ни одна культура пока еще не создала институтов, которые влияли бы на людей таким образом, причем с самого детства.

Можно усомниться в том, мыслимо ли вообще или уже сейчас, на нынешнем уровне нашего господства над природой, создать подобные культурные институты; можно поставить вопрос, откуда возьмется большое число превосходных, непоколебимых и бескорыстных вождей, которые должны выступить в качестве воспитателей будущих поколений; можно прийти в ужас от чудовищных затрат на принуждение, которые будут неизбежны вплоть до осуществления этих намерений. Грандиозность этого плана, его значимость для будущего человеческой культуры нельзя будет оспаривать. Он, несомненно, основывается на психологическом понимании того, что человек наделен самыми разнообразными задатками влечений, окончательное направление которым задают ранние детские переживания. Поэтому пределы возможностей воспитания человека устанавливают также и границы действенности такого изменения культуры. Можно лишь сомневаться, сумеет ли, и в какой степени, другая культурная среда упразднить две

особенности человеческих масс, которые так затрудняют управление делами в отношениях между людьми. Такой эксперимент пока еще не был произведен. Вероятно, известный процент человечества — вследствие болезненного предрасположения или огромной силы влечений — всегда будет оставаться асоциальным, но если бы хоть удалось нынешнее враждебное культуре большинство свести к меньшинству, то было бы достигнуто очень многое — наверное, даже все, чего только можно достичь.

Мне не хочется создавать впечатления, будто я ушел далеко в сторону от предначертанного пути моего исследования. Поэтому я хочу со всей определенностью заверить читателя, что далек от мысли обсуждать великий культурный эксперимент, который в настоящее время проводится в огромной стране, расположенной между Европой и Азией. Я не настолько осведомлен и не обладаю должной способностью, чтобы судить о том, насколько он осуществим, проверить целесообразность применяемых методов или измерить ширину неизбежной пропасти между замыслом и исполнением. То, что там подготавливается, из-за своей незавершенности не поддается рассмотрению, для которого дает материал наша давно устоявшаяся культура.

II

Неожиданно мы соскользнули из экономической области в психологическую. Сначала мы пытались найти обретения культуры в имеющихся благах и институтах, возникших для их распределения. С пониманием того, что каждая культура покоится на принуждении к труду и отказе от влечений и поэтому неизбежно вызывает противодействие со стороны тех, кого эти требования касаются, стало ясно, что сами блага, средства к их получению и их распределение не могут быть существенным или единственным в культуре. Ибо им угрожает бунт и тяга к разрушению со стороны тех, кто причастен к культуре. Наряду с благами теперь появляются средства, могущие служить защите культуры, средства

принуждения и другие, которым должно удаться примирить людей с нею и вознаградить их за принесенные жертвы. Последние можно, однако, описать как душевное имущество культуры.

Ради единообразия способа выражения тот факт, что влечение не может быть удовлетворено, назовем отказом, учреждение, устанавливающее этот отказ, — запретом, а состояние, вызываемое запретом, — лишением. Тогда в качестве следующего шага мы проведем разграничение между лишениями, которые касаются всех людей, и такими, которые касаются не всех, а только групп, классов или даже отдельных людей. Первые — самые древние: с запретами, которые к ним приводят, неизвестно сколько тысячелетий назад культура начала свой отход от первобытного анималистического состояния. К своему удивлению, мы обнаружили, что они по-прежнему действенны, по-прежнему образуют ядро враждебного отношения к культуре. Страдающие от них влечения-желания заново рождаются с каждым ребенком; существует класс людей, невротики, которые уже на эти отказы реагируют асоциально. Речь идет об инцестуозных влечениях-желаниях, каннибализме и кровожадности. Выглядит странным, когда эти желания, в осуждении которых все люди, по-видимому, единодушны, сопоставляют с другими, об удовлетворении которых или об отказе от которых в нашей культуре ведется столь оживленный спор, но психологически это оправданно. Отношение культуры к этим древнейшим влечениям-желаниям отнюдь не одинаково, только каннибализм всем представляется предосудительным и при неаналитическом рассмотрении — полностью преодоленным; силу инцестуозных желаний мы по-прежнему можем ощутить за запретом, а убийство нашей культурой при определенных условиях до сих пор практикуется и даже считается необходимым. Возможно, нам еще предстоит пройти через новые этапы развития культуры, на которых удовлетворение и других, сегодня вполне допустимых, желаний будет казаться таким же неприемлемым, как в настоящее время каннибализм.

Уже в этих древнейших отказах от влечения принимается во внимание один психологический фактор, который остается значимым и для всех последующих. Неверно, что человеческая душа с древнейших времен не проделала никакого развития и в противоположность прогрессу науки и техники еще и сегодня остается такой же, как в начале истории. Один из примеров такого психического прогресса мы можем здесь привести. Наше развитие идет в том направлении, что внешнее принуждение постепенно становится внутренним, поскольку особая душевная инстанция, Сверх-Я, также Супер-Эго человека, включает его в свои заповеди.

Сверх-Я (*нем.* Über-Ich), *Супер-Эго* (*англ.* Super-ego) — один из трех компонентов (наряду с Я и Оно) психики человека, согласно теории психоанализа Фрейда. Сверх-Я отвечает за моральные и религиозные установки человека, нормы поведения и моральные запреты и формируется в процессе воспитания человека. Функциями Сверх-Я являются совесть, самонаблюдение и формирование идеалов людей.

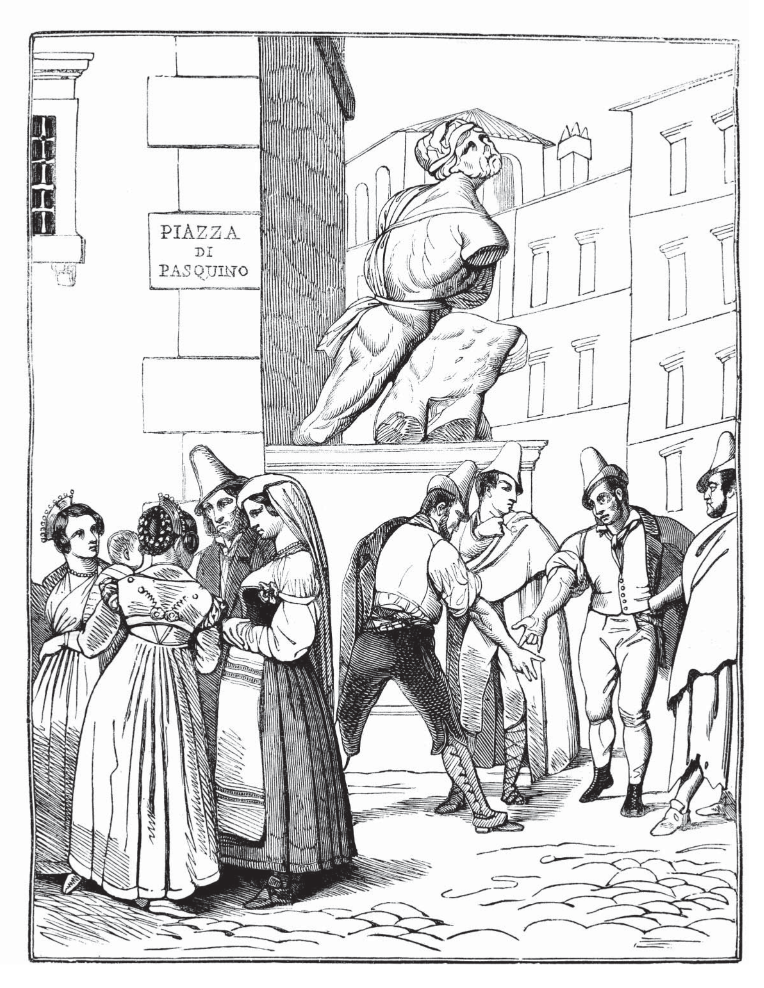
Каждый ребенок демонстрирует нам процесс подобного превращения, только благодаря ему становится моральным и социальным. Это усиление Сверх-Я является в высшей степени ценным психологическим достоянием культуры. Лица, у которых оно произошло, из противников культуры превращаются в ее носителей. Чем больше их число в культурном кругу, тем надежнее эта культура, тем скорее она может обойтись без средств внешнего принуждения. Степень этой интернализации для отдельных запретов влечений весьма различается. В отношении упомянутых самых древних требований культуры интернализация, если оставить в стороне невротиков, составляющих нежелательное исключение, по всей видимости, в значительной мере достигнута.

Интернализация (*от лат.* interior — внутренний) — процесс превращения внешних реальных действий, свойств предметов, социальных форм общения в устойчивые вну-

тренние качества личности через усвоение индивидом выработанных в обществе норм, ценностей, верований, установок, представлений и т.д.

Ситуация меняется, если обратиться к другим требованиям влечения. С удивлением и беспокойством мы тогда замечаем, что огромное число людей подчиняется соответствующим культурным запретам лишь под давлением внешнего принуждения, то есть только там, где оно дает о себе знать, и до тех пор, пока его следует опасаться. Это относится также и к тем так называемым требованиям культуры, которые равным образом обращены ко всем. Большая часть того, что узнаешь о моральной ненадежности людей, относится к этому. Бесконечное множество культурных людей, которые ужаснулись бы убийству или инцесту, не отказывает себе в удовлетворении своей алчности, своей агрессивности, своих сексуальных вожделений, не упускают случая навредить другим ложью, обманом, клеветой, если могут при этом остаться безнаказанными, и так было, пожалуй, на протяжении многих культурных эпох.

В случае ограничений, относящихся лишь к определенным классам общества, мы сталкиваемся с грубыми и совершенно очевидными условиями. Следует ожидать, что эти обойденные классы завидуют привилегиям тех, кто имеет преимущество, и будут делать все, чтобы избавиться от своего собственного избытка лишений. Там, где это невозможно, в этой культуре утверждается стойкое недовольство, которое может повлечь за собой опасные протесты. Если же, кроме того, культура не смогла выправить ситуацию, когда удовлетворение некоторого числа ее представителей имеет предпосылкой угнетение других, возможно большинства, — а так обстоит дело во всех современных культурах, — то совершенно понятно, что эти угнетенные проявляют сильнейшую враждебность к культуре, существование которой они обеспечивают своим трудом, но к благам которой они причастны лишь в незначительной степени. В таком случае интер-



нализации культурных запретов у угнетенных ожидать не приходится; напротив, они не готовы признавать эти запреты, стремятся разрушить саму культуру, упразднить, по мере возможного, сами ее предпосылки. Враждебность культуре у этих классов столь очевидна, что из-за нее осталась незамеченной скрытая враждебность лучше обеспеченных слоев общества. Не стоит говорить, что культура, оставляющая столь большое число участников неудовлетворенными и толкающая их на бунт, не

имеет шансов существовать долгое время, да и не заслуживает этого.

Степень интернализации предписаний культуры — выражаясь популярно и ненаучно, моральный уровень участников — не единственное духовное благо, которое принимается во внимание при оценке культуры. Наряду с этим ей принадлежат идеалы и произведения искусства, которые могут приносить удовлетворение.

Мы слишком склонны причислять идеалы культуры, то есть оценки того, какие достижения считать наивысшими и к чему надо стремиться, к ее психическому достоянию. Вначале кажется, будто этими идеалами определяются успехи культуры; однако настоящий ход событий, пожалуй, таков, что идеалы формируются после первых достижений, которым способствует взаимодействие внутреннего дарования и внешних условий культуры, и что эти первые достижения закрепляются затем идеалом, взывающим к их продолжению. Удовлетворение, которое идеал дарит участникам культуры, имеет, стало быть, нарциссическую природу, оно покоится на гордости уже достигнутыми успехами. Для своей полноты оно нуждается в сравнении с другими культурами, нацеленными на другие достижения и развивавшими другие идеалы. В силу этих различий каждая культура считает себя вправе презирать другие. Таким образом, идеалы культуры становятся поводом к расколу и вражде между различными культурными кругами, что отчетливее всего проявляется среди наций.

Нарциссическое удовлетворение идеалом культуры тоже относится к тем силам, которые успешно противодействуют в рамках культурного круга неприязненному отношению к культуре. Не только привилегированные классы, которые наслаждаются благодеяниями данной культуры, но и угнетенные могут иметь в нем свою долю, поскольку право презирать чужаков возмещает им ущерб, наносимый в их собственном кругу. Пусть я презренный, измученный долгами и воинской повинностью плебей, но зато я римлянин, имею свою долю в общей за-

даче покорять другие нации и предписывать им законы. Однако эта идентификация угнетенных с классом тех, кто ими правит и их эксплуатирует, — всего лишь часть более крупной взаимосвязи. С другой стороны, те могут быть аффективно связаны с этими, несмотря на враждебность, видеть в своих господах свои идеалы. Если бы существовали такие, в сущности, удовлетворительные отношения, осталось бы непонятным, почему так много культур, несмотря на оправданную враждебность больших человеческих масс, сохранялось столь долгое время.

Удовлетворение другого рода — это удовлетворение, которое доставляет искусство представителям культурного круга, хотя оно, как правило, остается недоступным для масс, занятых изнурительным трудом и не получивших личного воспитания. Искусство, как мы уже давно выяснили, дает эрзац-удовлетворение, компенсируя самые древние, все еще глубочайшим образом переживаемые культурные запреты, и поэтому как ничто другое примиряет с принесенными им жертвами. Кроме того, его творения усиливают чувства идентификации, в которых так остро нуждается каждый культурный круг, давая повод к совместно пережитым, высоко оцененным ощущениям; но они также служат нарциссическому удовлетворению, когда изображают достижения особой культуры, внушительным образом напоминают о ее идеалах.

Возможно, самая важная часть психического инвентаря культуры пока еще не была упомянута. Речь идет о ее религиозных в самом широком смысле представлениях; другими словами, которые будут обоснованы позже, — о ее иллюзиях.

III

В чем состоит особая ценность религиозных представлений? Мы говорили о враждебности к культуре, порожденной гнетом, оказываемым ею, отказом от влечений, которого она требует. Если представить себе, что ее запреты упразднены, то есть что каждый теперь вправе

избрать сексуальным объектом любую женщину, которая ему нравится, вправе, ничуть не раздумывая, убить своего соперника в борьбе за женщину или того, кто просто стоит на его пути, может забрать у другого, не спрашивая на то разрешения, что-либо из его имущества, как было бы замечательно, какой вереницей удовлетворений стала бы тогда жизнь! Правда, мы вскоре наталкиваемся на следующее затруднение. Любой другой имеет точно такие же желания, как и я, и будет обходиться со мной не более бережно, чем я с ним. Поэтому, в сущности, только один-единственный человек может стать безгранично счастливым благодаря подобному упразднению всех культурных ограничений — тиран, диктатор, прибравший к рукам все средства власти, и даже он имеет все основания желать, чтобы другие соблюдали по меньшей мере одну из заповедей культуры: «Не убий».

Но как неблагодарно, как недальновидно вообще стремиться к упразднению культуры! Все, что тогда остается, — это природное состояние, а перенести его гораздо сложнее. Действительно, природа не потребовала бы от нас никаких ограничений влечения, она предоставила бы нам свободу действий, но у нее есть свой особенно действенный способ нас ограничить, она губит нас холодно, жестоко, беспощадно, как нам кажется, возможно, как раз в связи с удовлетворением нами своих влечений. Именно из-за этих опасностей, которыми нам угрожает природа, мы объединились и создали культуру, которая помимо прочего должна сделать возможной также и нашу совместную жизнь. Ведь основная задача культуры, истинная основа ее существования и состоит в том, чтобы защитить нас от природы.

Известно, что в некоторых отношениях она уже и сейчас довольно хорошо с нею справляется, а когда-нибудь позже, очевидно, будет это делать значительно лучше. Но ни один человек не питает иллюзий, полагая, что природа уже сейчас покорена; мало кто смеет надеяться, что однажды когда-нибудь она подчинится человеку полностью. Перед нами стихии, которые словно насме-

хаются над всяким принуждением со стороны человека: земля, которая дрожит, разрывается, погребает все человеческое и человеческий труд; вода, которая в своем буйстве все заливает и затопляет; буря, которая все сметает; перед нами болезни, которые мы лишь совсем недавно стали сознавать как посягательства других живых существ; наконец, мучительная загадка смерти, против которой до сих пор не найдено никакого лекарства и, наверное, никогда и не будет найдено. Этими силами природа восстает против нас, величественная, жестокая, безжалостная, снова и снова демонстрирует нам нашу слабость и беспомощность, от которых мы собирались избавиться благодаря своей культурной работе. Одно из немногих отрадных и возвышенных впечатлений, которые можно получить о человечестве, это когда оно перед лицом стихийного бедствия забывает о своих культурных распрях, о всех внутренних трудностях и неприязни и вспоминает о великой общей задаче — о своем сохранении вопреки превосходству природы.

Как человечеству в целом, так и отдельному человеку справиться с жизнью непросто. Часть лишений на него накладывает культура, к которой он причастен, какую-то меру страдания ему доставляют другие люди либо вопреки предписаниям культуры, либо из-за несовершенства этой культуры. К этому добавляется ущерб, наносимый ему непобежденной природой, — он называет его судьбой. Следствием такого положения вещей должны были стать состояние постоянного тревожного ожидания и тяжелая травма, нанесенная естественному нарцизму. О том, как отдельный человек реагирует на ущерб, причиненный ему культурой и другими людьми, мы уже знаем: он проявляет соответствующую степень сопротивления институтам этой культуры, враждебного к ней отношения. Но как он защищается от превосходящих сил природы, судьбы, которые угрожают ему, как и всем остальным?

Культура облегчает ему эту задачу, она равным образом возлагает ее на всех; примечательно, что, в общем-то,

все культуры делают здесь то же самое. Она не останавливается в выполнении своей задачи — защитить человека от природы, разве что продолжает свою работу другими средствами. Задача здесь многообразная: больно задетое самолюбие человека нуждается в утешении; нужно избавить мир и жизнь от их ужасов, наряду с этим хочет найти ответ и любознательность людей, движимая, разумеется, сильнейшим практическим интересом.

Уже первым шагом достигнуто очень многое, и этот шаг заключается в очеловечивании природы. К безличным силам и судьбам нельзя подступиться, они остаются вечно чужими. Но если в стихиях бушуют страсти, как в собственной душе, если даже смерть не есть нечто спонтанное, а является актом насилия злой воли, если повсюду в природе человека окружают существа, каких он знает и в собственном обществе, то тогда можно с облегчением вздохнуть, почувствовать себя среди зловещего мира как дома, можно психически переработать свою бессмысленную тревогу. Человек, может быть, по-прежнему беззащитен, но он уже не парализован бессилием — по крайней мере, может реагировать; а может быть, он даже и вовсе не беззащитен — ведь против этих жестоких сверхчеловеческих существ вовне можно применить те же средства, которыми пользуешься в своем обществе: можно попробовать их заговорить, умиротворить, подкупить, лишив подобным влиянием части их силы. Такая замена естествознания психологией не только дает моментальное облегчение, но и показывает путь к дальнейшему овладению ситуацией.

Ведь эта ситуация ничуть не нова, она имеет инфантильный прообраз, является, собственно говоря, лишь продолжением более ранней ситуации, ибо в такой же беспомощности человек однажды уже пребывал — в качестве маленького ребенка по отношению к родителям, которых не без основания следовало бояться, особенно отца, обеспечивавшего, однако, надежную защиту от известных в то время опасностей. Поэтому было вполне естественным приравнять обе ситуации друг к другу.

При этом, как в жизни во сне, заняло подобающее место также желание. Предчувствие смерти овладевает спящим, хочет поместить его в гроб, но работа сновидения умеет выбрать условие, при котором также и это внушающее страх событие превращается в исполнение желания; сновидец видит себя в древней этрусской гробнице, в которую он спустился, радуясь тому, что сумел удовлетворить свои археологические интересы. Сходным образом человек не делает силы природы просто людьми, с которыми он может общаться как с равными (это не отвечало бы также и впечатлению об их превосходстве), а придает им характер отца, делает их богами, следует при этом не только инфантильному, но и, как я попытался показать, филогенетическому образцу.

Со временем делаются первые наблюдения, касающиеся регулярности и закономерности природных явлений; тем самым силы природы теряют свои человеческие черты. Но беспомощность людей остается, а вместе с нею их тоска по отцу и божеству. Боги сохраняют свою тройственную задачу: устранить ужасы природы, примирить человека с жестокостью судьбы, особенно в таком его проявлении как смерть, а также вознаградить за страдания и лишения, выпадающие на долю людей в совместной культурной жизни.

Но постепенно акцент этих функций смещается. Человек замечает, что природные явления происходят сами собой в силу внутренней необходимости; разумеется, боги — властители природы, они создали ее такой и теперь могут предоставить ее самой себе. Лишь иногда при помощи так называемых чудес они вмешиваются в ее течение, словно чтобы удостовериться, что ничего из того, что первоначально находилось в сфере их власти, они не уступили. Что касается того, кому какая выпадет судьба, то сохраняется неприятное подозрение, что со слабостью и беспомощностью человеческого рода ничего не поделать. Здесь боги отказывают в первую очередь; если они сами определяют судьбу, то их решения приходится назвать непостижимыми; у самого одаренного наро-

да древности неясно вырисовывается понимание того, что *Мойра* стоит над богами и что боги сами имеют свои судьбы. И чем более самостоятельной становится природа, чем больше отдаляются от нее боги, тем значительнее все ожидания сосредоточиваются на третьей функции, которая им отведена, тем в большей степени сфера морали становится их истинной вотчиной. Задача богов теперь состоит в том, чтобы возместить недостатки и вред культуры, облегчать страдания, которые люди доставляют друг другу в совместной жизни, следить за исполнением предписаний культуры, которым люди так плохо следуют. Самим предписаниям культуры приписывается божественное происхождение, они поднимаются над человеческим обществом, распространяются на природу и события в мире.

Так создается богатство представлений, порожденных потребностью сделать человеческую беспомощность переносимой, выстроенных из материала воспоминаний о беспомощности собственного детства и детства человеческого рода. Очевидно, что это достояние защищает человека в двух направлениях — от опасностей природы и рока и от повреждений со стороны самого человеческого общества. В общей взаимосвязи это гласит: жизнь в этом мире служит высшей цели, которую, правда, нелегко разгадать, но, несомненно, она означает совершенствование человеческой сущности. Вероятно, объектом этого возвеличения и возвышения должно быть духовное в человеке, душа, которая с течением времени так медленно и неохотно отделялась от тела. Все, что происходит в этом мире, является исполнением намерений превосходящего нас интеллекта, который трудно прослеживаемыми прямыми и обходными путями в конечном счете направляет всех к доброму, то есть к радостному для нас. О каждом из нас заботится благосклонное, лишь кажущееся строгим провидение, которое не допускает, чтобы мы стали игрушкой сверхсильных и беспощадных сил природы; даже смерть — не уничтожение, не возврат к неорганическому безжиз-

ненному, а начало нового вида существования, находящегося на пути высшего развития. Если же обратиться к другой стороне, то те же самые нравственные законы, установленные нашими культурами, управляют также и всеми мировыми событиями, разве что они охраняются высшей судейской инстанцией с несравненно большей властью и последовательностью. Всякое добро в конце концов вознаграждается, а всякое зло карается, если не в этой форме жизни, то в последующих способах существования, начинающихся после смерти. Тем самым все ужасы, страдания и тяготы жизни должны быть искоренены; жизнь после смерти, продолжающая нашу земную жизнь подобно тому, как невидимая часть спектра присоединена к видимой, приносит все то совершенство, которого, возможно, мы здесь недосчитались. И превосходящая мудрость, управляющая этим течением, выражающаяся в нем вселенская доброта, утверждающаяся в нем справедливость — все это свойства божественных существ, создавших также нас и мир в целом. Или, скорее, одного Божественного существа, в котором в нашей культуре сконцентрировались все божества древних времен. Народ, которому впервые удалась такая концентрация божественных качеств, немало гордился этим успехом. Он раскрыл отцовское ядро, которое с давних пор скрывалось за фигурой каждого божества; в сущности, это был возврат к историческим истокам идеи Бога. Теперь, когда Бог стал единственным, отношения с Ним снова могли обрести искренность и интенсивность отношения ребенка к отцу. Раз для отца так много было сделано, то хотелось, чтобы это было и вознаграждено, хотя бы стать его единственным любимым ребенком, избранным народом. Гораздо позднее благочестивая Америка будет притязать на то, чтобы быть *«God's onw country»*[1], и это относится также к одной из форм, в которых люди поклоняются божеству.

[1] «Собственной страной Бога» (*англ.*). — *Примеч. пер.*

По воспоминаниям доктора Джонса, Фрейд, несмотря на благодарность за дружеские приемы, на признание его трудов и оказанные ему в Америке всяческие почести, имел не очень благоприятное впечатление об этой стране, и его предубеждение никогда в нем не исчезало. Правда, после многих лет тесного контакта с американцами он несколько смягчил об Америке свое мнение. Надо отметить, что ученый с трудом приспосабливался к свободным и непринужденным манерам Нового Света. Он был добропорядочным европейцем, уважающим науку и знания, а такие качества в то время не очень-то ценились в Америке. К тому же у Фрейда с каждой поездкой туда обострялись проблемы со здоровьем, что отчасти объясняло его негативное отношение. Однажды Фрейд признался: «Америка является ошибкой, правда, великой, но тем не менее ошибкой».

Религиозные представления, обобщенные выше, разумеется, прошли долгий путь развития, закрепились в разных культурах на разных стадиях. Я выбрал отдельную такую фазу развития, которая примерно соответствует окончательной форме в нашей нынешней белой, христианской культуре. Нетрудно заметить, что не все части этого целого одинаково хорошо согласуются между собой, что не на все неотложные вопросы можно ответить, что расхождение с повседневным опытом удается устранить лишь с огромным трудом. Но и в том виде, как они есть, эти представления — в самом широком смысле религиозные — считаются ценнейшим достоянием культуры, самым дорогим из того, что она может предложить тем, кто к ней причастен, гораздо более ценным, чем любые умения извлекать из земли ее богатства, обеспечивать человечество пищей или предотвращать болезни. Люди считают, что не смогут вынести жизнь, если не будут придавать значения этим представлениям, на которые они притязают. Возникает вопрос: что являют собой эти представления в свете психологии, откуда они получают свою высокую оценку и, если робко продолжить, какова их настоящая ценность?

IV

Исследование, безмятежно продвигающееся вперед, как монолог, не совсем безопасно. Слишком легко поддаться искушению отставить в сторону мысли, угрожающие его прервать, и обрести взамен чувство неуверенности, которое в конце концов хочется заглушить чрезмерной решимостью. Поэтому я представлю себе противника, с недоверием следящего за моими рассуждениями, и предоставлю ему возможность время от времени высказываться.

Я слышу, как он говорит: «Вы постоянно использовали выражения: “Культура создает эти религиозные представления”, “Культура предоставляет их в распоряжение своим участникам”. Это звучит несколько странно; сам я не смог бы сказать, почему; это не воспринимается так же естественно, как то, что культура установила предписания, касающиеся распределения трудового дохода или касающиеся прав на жену и ребенка».

Но я все же думаю, что вправе так выражаться. Я попытался показать, что религиозные представления произошли из той же потребности, что и все остальные завоевания культуры, — из необходимости защитить себя от подавляющего превосходства природы. К этому добавился второй мотив, стремление исправить болезненно воспринимаемые несовершенства культуры. И поэтому так же верно будет сказать, что культура дарит отдельному человеку эти представления, ибо он принимает их как данность, они преподносятся ему готовыми, он был бы не в состоянии найти их самостоятельно. Это наследие многих поколений, в которое он вступает, которое он перенимает как таблицу умножения, геометрию и т.д. Здесь, правда, имеется одно отличие, но оно состоит в чем-то другом, и пока его показать будет нельзя. В ощущении странности, которое вы упоминаете, повинно, пожалуй, то, что эту сумму религиозных представлений обычно нам преподносят как Божественное откровение. Но ведь это уже само по себе часть религиозной системы, которая полностью пренебрегает известным нам исто-

рическим развитием этих идей и их различием в разные эпохи и у разных культур.

«Другой момент, который кажется мне более важным. Вы выводите очеловечение природы из потребности положить конец человеческой растерянности и беспомощности перед ее внушающими страх силами, вступить в отношения с ними и в конечном итоге на них повлиять. Но такой мотив, похоже, излишний. Ведь первобытный человек не имеет выбора, другого пути мышления. Для него естественно, словно свойственно от рождения, что он проецирует свою сущность на мир, все события, которые он наблюдает, рассматривает как проявления существ, в сущности, подобных ему самому. Это единственный для него метод понимания. И если благодаря такому свободному проявлению своих природных задатков ему удалось удовлетворить одну из своих важных потребностей, то это отнюдь не нечто само собой разумеющееся, а скорее удивительное совпадение».

Я не нахожу это столь необычным. Неужели Вы думаете, что мышлению людей не ведомы практические мотивы, что оно является выражением бескорыстной любознательности? Это все же весьма маловероятно. Скорее, я полагаю, человек, даже когда он персонифицирует силы природы, следует инфантильному образцу. С людьми из своего первого окружения он научился тому, что, когда он устанавливает с ними отношения, это является способом на них повлиять, а потому позднее со всем остальным, с чем он сталкивается, он обращается с тем же намерением, как с теми людьми. Стало быть, я не возражаю на Ваше дескриптивное замечание; человеку действительно свойственно персонифицировать все, что он хочет понять, чтобы в дальнейшем этим распоряжаться, — психическое преодоление как подготовка к физическому, — но я добавляю мотив и генез этого характерного свойства человеческого мышления.

«И теперь еще третье: однажды раньше, в своей книге "Тотем и табу" (1912–1913), Вы уже обсуждали происхождение религии. Но там это выглядит по-другому. Все

сводится к отношениям сына с отцом, Бог — это возвеличенный отец, тоска по отцу является корнем религиозной потребности. С тех пор Вы, похоже, открыли момент человеческого бессилия и беспомощности, которому обычно и приписывается важнейшая роль в формировании религии, и теперь переписываете на эту беспомощность то, что раньше было отцовским комплексом. Могу ли я у Вас справиться по поводу такой перемены?»

Охотно отвечу, я только и ждал этой просьбы. Если только это действительно перемена. В «Тотеме и табу» нужно было объяснить не возникновение религий, а возникновение тотемизма. Можете ли Вы с какой-либо из известных Вам точек зрения растолковать, почему первая форма, в которой человеку явилось защищающее божество, была животной, почему существовал запрет убивать и съедать это животное и вместе с тем торжественный ритуал — раз в год совместно его убивать и съедать? Именно это происходит в тотемизме. И едва ли целесообразно спорить о том, следует ли называть тотемизм религией. Он имеет внутренние связи с последующими религиями с богами, тотемные животные становятся священными животными богов. И первые, но самые глубокие нравственные ограничения — запрет убийства и инцеста — возникают на почве тотемизма. Принимаете ли Вы выводы «Тотема и табу» или нет, Вы, надеюсь, признаете, что в книге объединено в непротиворечивое целое множество удивительных разрозненных фактов.

Почему животного бога не хватило на долгое время и он был сменен человеческим, — этот вопрос в «Тотеме и табу» почти не затрагивается, другие проблемы образования религии там вообще не упоминаются. Неужели такое ограничение Вы считаете тождественным отрицанию? Моя работа — хороший пример строгого обособления того вклада, который психоаналитический подход может внести в решение религиозной проблемы. Если теперь я пытаюсь добавить нечто другое, не так глубоко запрятанное, то Вы не должны обвинять меня в проти-

воречии, как раньше — в односторонности. Разумеется, моя задача состоит в том, чтобы показать соединительные пути между сказанным раньше и представленным теперь, между более глубокой и явной мотивировками, отцовским комплексом и беспомощностью человека, испытывающего потребность в защите.

Эти связи нетрудно найти. Речь идет об отношении беспомощности ребенка к продолжающей ее беспомощности взрослого, так что, как и следовало ожидать, психоаналитическая мотивировка образования религии становится инфантильным вкладом в его явную мотивировку. Перенесемся в душевную жизнь маленького ребенка. Помните ли Вы о выборе объекта по опорному типу, о котором говорит психоанализ? Либидо придерживается путей нарциссических потребностей и привязывается к объектам, которые обеспечивают их удовлетворение. Так, мать, утоляющая голод ребенка, становится первым объектом любви и, несомненно, также первой защитой от всех неопределенных грозящих опасностей внешнего мира, мы бы сказали, первой защитой от тревоги.

В этой функции мать вскоре сменяется более сильным отцом, и ощущение его силы теперь сохраняется на протяжении всего детства. Однако отношение к отцу отягощено своеобразной амбивалентностью. Он сам представлял угрозу, возможно, с тех пор, как возникли прежние отношения с матерью. Так что его боятся не меньше, чем стремятся к нему и им восхищаются. Признаки этой амбивалентности отношения к отцу глубоко запечатлены во всех религиях, как это показано также и в «Тотеме и табу». Когда теперь взрослеющий человек замечает, что ему суждено навсегда остаться ребенком, что он никогда не перестанет нуждаться в защите от чуждых превосходящих сил, он наделяет их чертами отцовского образа, создает себе богов, которых боится, которых пытается склонить на свою сторону и на которых все-таки возлагает свою защиту. Таким образом, мотив тоски по отцу идентичен потребности в защите от



последствий человеческого бессилия; защита от детской беспомощности придает реакции на беспомощность, которую вынужден признать взрослый, то есть религиозному образованию, свои характерные черты. Однако дальнейшее исследование развития идеи Бога в наши намерения не входит; мы здесь имеем дело с готовым богатством религиозных представлений, которое культура передает отдельному человеку.

VII

Коль скоро признали религиозные учения иллюзиями, тут же возникает дальнейший вопрос: не имеет ли сходную природу и другое достояние культуры, которым мы дорожим и которому позволяем управлять нашей жизнью? Не следует ли называть также иллюзиями предпосылки, которыми руководствуются наши государственные институты, не затуманиваются ли отношения между полами в нашей культуре одной или рядом эротических иллюзий? Раз уж у нас пробудилось недоверие, то мы не побоимся также задать вопрос, не имеет ли лучшего обоснования наша уверенность в том, что благодаря использованию наблюдения и мышления в научной работе мы сможем что-то узнать о внешней реальности. Ничто не вправе нас удержать от того, чтобы обратить наблюдение на наше собственное существо и применить мышление для своей собственной критики. Здесь начинается ряд исследований, исход которых должен оказаться решающим для построения «мировоззрения». Мы также догадываемся, что такое усилие не будет потрачено зря и что оно, по крайней мере отчасти, сумеет оправдать наше предчувствие. Однако столь объемлющая задача превышает возможности автора, он поневоле сужает свою работу до прослеживания одной-единственной из этих иллюзий, а именно религиозной.

Зычный голос нашего оппонента велит нам остановиться. Нас призывают к ответу за наше запретное деяние. Он нам говорит: «Археологические интересы вполне похвальны, но раскопок не производят, если из-за них подкапывают жилища живых людей, так что они могут обрушиться и завалить людей под их развалинами. Религиозные учения — не тот предмет, над которым можно умничать, как над любым другим. На них построена наша культура, сохранение человеческого общества имеет своей предпосылкой веру подавляющего большинства людей в истину этих учений. Если их будут учить, что всемогущего и справедливейшего Бога не существует, нет Божественного мирового порядка и будущей жизни,

то они почувствуют себя свободными от всякой обязанности следовать предписаниям культуры. Каждый будет беспрепятственно, безбоязненно следовать своим асоциальным, эгоистическим влечениям, пытаться демонстрировать свою силу, снова начнется хаос, который мы преодолевали многотысячелетней культурной работой. Даже если бы можно было узнать и доказать, что религия не обладает истиной, нужно было бы об этом молчать и вести себя так, как того требует философия "как если бы". В интересах сохранения всех! Не говоря уже об опасности этого предприятия, оно, ко всему прочему, еще и бесцельно жестоко. Огромное множество людей находит в учениях религии свое единственное утешение, только с их помощью может вынести тяготы жизни. Вы хотите отнять у них эту опору, не дав им ничего лучшего взамен. Было признано, что в настоящее время наука дает немного, но даже если бы она продвинулась значительно дальше, она была бы недостаточна для людей. У человека есть еще и другие императивные потребности, которые никогда не смогут быть удовлетворены холодной наукой, и очень странно, прямо-таки верх непоследовательности, когда психолог, который всегда подчеркивал, насколько далеко в жизни человека разум отступает на задний план по сравнению с жизнью влечений, теперь пытается лишить людей ценного способа удовлетворения желаний и хочет ему это возместить интеллектуальной пищей».

Как много обвинений сразу! Но я готов на них возразить и, кроме того, буду отстаивать утверждение, что для культуры опасность будет больше, если сохранить ее нынешнее отношение к религии, чем если подобное отношение упразднить. Не знаю только, с чего мне начать свой ответ.

Может быть, с уверения, что сам я считаю свое предприятие совершенно безобидным и неопасным. Завышенная оценка интеллекта на этот раз не на моей стороне. Если люди таковы, как их описывают оппоненты, и я не могу на это возразить, — то не существует опасности, что какой-нибудь благочестивый верующий под

влиянием моих рассуждений позволит лишить себя своей веры. Кроме того, я не сказал ничего, чего до меня намного полнее, энергичнее и убедительнее не сказали другие, лучшие люди. Имена этих людей известны; я не буду их приводить, чтобы не произвести впечатления, будто я хочу поставить себя в один ряд с ними. Я просто добавил — и это единственное новшество в моем изложении — к критике моих великих предшественников некое психологическое обоснование. Едва ли следует ожидать, что именно эта добавка произведет тот эффект, который остался недостигнутым до меня. Правда, меня можно было бы здесь спросить, зачем писать о подобных вещах, если уверен в их неэффективности. Но к этому мы вернемся позднее.

Единственный, кому эта публикация может принести вред, это я сам. Мне придется услышать самые нелюбезные упреки по поводу моей поверхностности, ограниченности, недостатка идеализма и понимания высших интересов человечества. Но, с одной стороны, эти упреки для меня не новы, а с другой — если кому-то уже в юные годы не было дела до недовольства его современников, то что может задеть его в старческом возрасте, когда он уверен, что вскоре избавится от всякой их милости и немилости? В прежние времена было иначе, тогда подобного рода высказываниями человек верным образом сокращал срок своего земного существования и приближал возможность на собственном опыте сделать выводы о потусторонней жизни. Но, повторяю, те времена прошли, и сегодня подобная писанина неопасна также для автора. В крайнем случае его книгу нельзя будет переводить и распространять в той или иной стране. Разумеется, именно в той стране, которая чувствует себя уверенной в высоком уровне своей культуры. Но если человек вообще выступает за отказ от желаний и за покорность судьбе, то нужно уметь снести и эту потерю.

Затем у меня возник вопрос, не может ли все-таки публикация этого сочинения принести кому-то беды. Не человеку, а делу, делу психоанализа. Ведь нельзя от-

рицать, что это мое творение, к нему вдоволь проявляли недоверие и недоброжелательство; если теперь я выступлю со столь нежелательными высказываниями, то с большой легкостью произойдет смещение с моей персоны на психоанализ. «Теперь ясно, — будет сказано, — куда ведет психоанализ. Маска упала; к отрицанию Бога и нравственного идеала, как мы это всегда и подозревали. Чтобы удержать нас от этого открытия, перед нами прикидывались, что психоанализ не имеет мировоззрения и не может его создать».

Эта шумиха будет мне действительно неприятна из-за многих моих сотрудников, среди которых иные не разделяют мое отношение к религиозным проблемам.

Фрейд считал себя убежденным атеистом, что нередко приводится ненавистниками фрейдизма как довод его безбожия и порочности, объясняющих его «тягу к примитивным сексуальным теориям». Однако не стоит забывать, что атеизм был вынужденной формой противостояния медицины и науки той эпохи религии, чуждающейся научных объяснений и прогресса. Кроме того, Фрейд вырос в религиозной среде, и хотя всякая церковность и обрядность вызывали у него отторжение, он достаточно трепетно относился к своим корням. Фрейд откровенно признавался, что часто вел внутренние диалоги с Богом и сетовал, что будь он так же религиозен, как его собратья, то смог бы легче переносить невзгоды и болезнь. Одним из мысленных упреков Фрейда Богу было его недовольство, что Тот не дал ему лучших мозгов. Атеизм Фрейда полон сентиментальности, навеянной чувством одиночества и пониманием несчастного существования человека. «Задача сделать человека счастливым не входила в план сотворения мира», — говорил он. Религия, по убеждению Фрейда, не более чем иллюзия, самоутешение. Но в то же время Фрейд прекрасно понимал важную роль религиозной традиции в воспитании общества, в привитии ему сдерживающих правил, разрушение или радикальное изменение которых, по его мнению, могло быть чревато для будущего общественного устройства.

Однако психоанализ уже пережил много бурь, стоит подвергнуть его и этой новой. На самом деле психоанализ — это метод исследования, беспристрастный инструмент, такой, скажем, как исчисление бесконечно малых величин. Если физику с его помощью довелось разузнать, что через какое-то определенное время Земля погибнет, то все же сомнительно будет приписывать деструктивные тенденции самому вычислению и поэтому его запретить. Все, что я здесь сказал об истинности религий, к психоанализу не относилось, и это было сказано другими задолго до того, как он стал существовать. Если благодаря применению психоаналитического метода можно получить новый аргумент против содержания истины в религии, то *tant pis*[1] для религии, но защитники религии с тем же правом будут пользоваться психоанализом, чтобы в полной мере оценить аффективное значение религиозного учения.

Что ж, продолжим защиту. Очевидно, что религия сослужила человеческой культуре великую службу, для обуздания асоциальных влечений сделала много, но недостаточно. Многие тысячелетия она имела власть над человеческим обществом; у нее было время показать, что она может сделать. Если бы ей удалось осчастливить, утешить, примирить с жизнью массы людей, сделать их носителями культуры, то никому не пришло бы в голову стремиться изменить существующие отношения. Что видим мы вместо этого? Что пугающе большое число людей недовольно культурой и в ней несчастно, воспринимает ее как бремя, которое надо сбросить; что эти люди либо прилагают все силы, чтобы изменить эту культуру, либо в своем враждебном отношении к культуре заходят так далеко, что вообще ничего не желают знать о культуре и ограничении влечений. Нам здесь возразят, что это состояние происходит как раз от того, что религия утратила часть своего влияния на массы людей, а именно из-за прискорбного воздействия прогресса в науке. Отметим для себя это признание и его обоснование, чтобы позднее

[1] Тем хуже *(фр.)*. — *Примеч. пер.*

использовать это для наших целей, однако сам этот упрек не имеет силы.

Сомнительно, чтобы люди в эпоху неограниченного господства религиозных учений в целом были счастливее, чем сегодня; нравственнее они не были точно. Им всегда удавалось лишить глубины религиозные предписания и тем самым сорвать их намерения. При этом священнослужители, которые должны были следить за повиновением религии, шли им навстречу. Доброта Бога препятствовала Его правосудию: человек грешил, затем приносил жертву или каялся, после чего был свободен, чтобы грешить по-новому. Сокровенная сущность русского человека решилась на вывод, что грех необходим, чтобы наслаждаться всеми блаженствами Божьей милости, то есть, по существу, грех — богоугодное дело. Очевидно, что проповедники могли сохранять покорность масс перед религией, только сделав столь большие уступки инстинктивной природе человека. Так и осталось: Сам Бог — сильный и добрый, человек же слаб и грешен. Во все времена безнравственность находила в религии не меньшую опору, чем нравственность. Если достижения религии с точки зрения дарования счастья людям, повышения их культурной пригодности и их нравственного ограничения ничем не лучше, то тогда все же возникает вопрос, не переоцениваем ли мы ее необходимость для человечества и мудро ли мы поступаем, основывая на ней наши культурные требования.

Поразмыслим над очевидной нынешней ситуацией. Мы слушали признание, что религия уже не имеет того же самого влияния на людей, как раньше. (Речь здесь идет о европейской христианской культуре.) И это не потому, что ее обещания стали меньшими, а потому, что они кажутся людям менее правдоподобными. Признаемся, что причина этого изменения — укрепление научного духа в верхних слоях человеческого общества. (Возможно, она не единственная.) Критика поколебала доказательную силу религиозных документов, естествознание выявило содержащиеся в них заблуждения,

сравнительное исследование обратило внимание на фатальное сходство почитаемых нами религиозных представлений с духовными продуктами примитивных народов и эпох.

Научный дух порождает определенное отношение к предметам нашего мира; перед предметами религии он на какое-то время останавливается, колеблется и наконец также и здесь переступает через порог. В этом процессе нет задержек, чем большему числу людей становятся доступными богатства нашего знания, тем больше распространяется отход от религиозной веры, сначала только от устаревших, предосудительных ее облачений, а затем и от ее фундаментальных предположений. Только американцы, устроившие «Обезьяний процесс» в Дейтоне, показали себя последовательными. Неизбежный переход обычно совершается половинчато и неискренне.

Дело «Штат Теннесси против Джона Томаса Скоупса», более известное как *«Обезьяний процесс»,* — это судебный процесс, проходивший в 1925–1926 годах в уголовном суде штата Теннесси в городе Дейтон над школьным учителем из того же города Джоном Скоупсом (1900–1970). Он обвинялся в нарушении антидарвинистского «акта Батлера» — закона, принятого в 1925 году в штате Теннесси, запрещающего учителям и преподавателям школ и университетов отрицать библейское учение о происхождении человека и преподавать теорию эволюции человека от низших форм животных. Скоупс решением суда должен был уплатить штраф в размере 100 долларов, но в итоге эта мера наказания была отменена и «Дело» закрыто. Сам же процесс вызвал много шуток в обществе, а его события послужили основой для ряда телевизионных фильмов и нашли отражение в мультсериалах «Симпсоны» и «Футурама».

От образованных людей и лиц умственного труда для культуры не исходит большой угрозы. Замена религиозных мотивов культурного поведения другими, мирскими, произошла бы у них бесшумно, кроме того, по боль-

шей части они сами являются носителями культуры. Иначе обстоит дело с огромной массой необразованных, угнетенных людей, у которых имеются все основания быть врагами культуры. До тех пор, пока им не известно, что в Бога больше не верят, все хорошо. Но они об этом непременно узнают, даже если это мое сочинение не будет опубликовано. И они готовы принять результаты научного мышления, без того чтобы у них произошло изменение, которое вызывает у человека научное мышление. Не существует ли здесь опасность, что враждебность этих масс к культуре обрушится на слабый пункт, который они обнаружили у своей принуждающей к повиновению госпожи? Если непозволительно убить своего ближнего лишь потому, что милостивый Бог это запретил и сурово покарает за это в этой или в той жизни, но человек узнает, что никакого милостивого Бога не существует, что Его наказания не стоит бояться, то тогда, несомненно, его убивают безо всяких раздумий, и от этого может удержать только земная власть. Стало быть, либо строжайшее подавление этих опасных масс, самое тщательное ограждение от всех возможностей духовного пробуждения, либо основательная ревизия отношений между культурой и религией.

VIII

Надо думать, что осуществлению этого последнего предложения не препятствуют какие-либо особые трудности. Действительно, в таком случае от чего-то отказываешься, но взамен, пожалуй, больше приобретаешь и избегаешь серьезной опасности. Но этого пугаются, как если бы из-за этого культура подверглась бы еще большей опасности. Когда святой Бонифаций срубил дерево, почитавшееся саксами как священное, собравшиеся ожидали, что в результате такого кощунства случится нечто ужасное. Но ничего не произошло, и саксы приняли крещение.

Когда культура выставила требование не убивать соседа, которого ненавидишь, который стоит у тебя на

пути и имуществу которого ты завидуешь, то это, несомненно, произошло в интересах совместной человеческой жизни, которая в противном случае была бы невозможной. Ибо убийца навлек бы на себя месть родственников убитого и глухую зависть других людей, которые ощущают такую же сильную внутреннюю склонность к подобного рода насилию. Поэтому он недолго радовался бы своей мести или своему разбою, а имел бы все шансы самому вскоре оказаться убитым. Даже если бы благодаря исключительной силе и осторожности он мог бы защититься от отдельных противников, ему пришлось бы уступить объединению более слабых. Если бы такое объединение не возникло, убийства продолжались бы бесконечно, и в итоге люди взаимно истребили бы друг друга. Отношения между отдельными людьми были бы такими же, какие до сих пор существуют на Корсике между семьями, а в остальном мире — лишь между нациями. Одинаковая для всех небезопасность жизни объединяет людей в общество, которое запрещает отдельному человеку убийство и сохраняет за собой право совместного убийства того, кто нарушает запрет. Это и есть правосудие и наказание.

Этого рационального обоснования запрета убивать мы, однако, не разделяем, а утверждаем, что запрещение исходит от Бога. Стало быть, мы берем на себя смелость угадывать Его намерения и считаем, что и Он тоже не хочет, чтобы люди истребляли друг друга. Поступая таким образом, мы наделяем культурный запрет совершенно особенной торжественностью, но при этом рискуем сделать его соблюдение зависимым от веры в Бога. Если мы откажемся от этого шага, не будем приписывать свою волю Богу и удовлетворимся социальным обоснованием, то мы, хотя и отказываемся от того просветления культурного запрета, но вместе с тем избегаем того, что он оказывается под угрозой. Но мы получаем также и нечто другое. Благодаря своего рода диффузии, или инфекции, характер святости, неприкосновенности, потусторонности, можно сказать, — с немногочисленных

важных запретов распространился на все остальные культурные учреждения, законы и предписания. Однако этим последним ореол святости зачастую не к лицу; дело не только в том, что они сами обесценивают друг друга, поскольку принимают решения, противоположные в зависимости от времени и места, они еще и выставляют напоказ все признаки человеческого несовершенства. Среди них легко распознать то, что может быть лишь продуктом недальновидной трусливости, выражением честолюбивых интересов или следствием недостаточных предпосылок. Критика, которой приходится их подвергать, в нежелательной степени подрывает также уважение к другим, более обоснованным требованиям культуры. Поскольку решить, что повелел Сам Бог и что происходит скорее от авторитета всесильного парламента или влиятельного магистрата, — задача далеко не простая, было бы несомненным преимуществом оставить Бога вообще в стороне и честно признать чисто человеческое происхождение всех культурных учреждений и предписаний. Вместе с претенциозной святостью отпали бы также жесткость и неизменность этих законов и повелений. Люди смогли бы понять, что эти законы созданы не для того, чтобы подчинять человека себе, а прежде всего — чтобы служить его интересам, люди стали бы относиться к ним более дружественно, вместо их упразднения ставили бы целью только их улучшение. Это было бы важным шагом вперед на пути, ведущем к примирению с гнетом культуры.

Однако наша речь в защиту чисто рационального обоснования культурных предписаний, то есть сведения их к социальной необходимости, внезапно прерывается здесь одним размышлением. В качестве примера мы выбрали возникновение запрета убивать. Но соответствует ли наше изображение исторической истине? Боимся, что нет; похоже на то, что оно представляет собой всего лишь рассудочную конструкцию. С помощью психоанализа мы изучали именно эту часть истории человеческой культуры и, опираясь на результаты это-

го своего труда, должны сказать, что в действительности дело обстояло иначе. Чисто разумные мотивы даже у современного человека мало что могут сделать против его страстных побуждений; какими же бессильными они должны были быть у того человеческого животного в доисторические времена! Возможно, его потомки еще и сегодня, ничем не сдерживая себя, убивали бы друг друга, если бы среди тех злодеяний не было одного — убийства первобытного отца, — вызвавшего непреодолимую эмоциональную реакцию, повлекшую за собой роковые последствия. От нее происходит повеление «не убивай», которое в тотемизме ограничивалось заменой отца, позднее распространилось и на других, но еще и сегодня исполняется далеко не всегда.

Но в соответствии с рассуждениями, которые мне нет надобности здесь повторять, тот праотец был прообразом Бога, моделью, по которой последующие поколения создали Божий образ. Стало быть, религиозное представление верно, Бог действительно участвовал в возникновении того запрета, его влияние, а не понимание социальной необходимости, создало этот запрет. Да и смещение человеческой воли на Бога совершенно оправданно, ведь люди знали, что сами насильственно устранили отца, и в качестве реакции на свое злодеяние они установили себе впредь уважать его волю. Таким образом, религиозное учение сообщает нам историческую истину, правда, несколько видоизмененную и завуалированную; наше рациональное изображение ее отрицает.

Теперь мы замечаем, что богатство религиозных представлений составляют не только исполнения желаний, но и важные исторические реминисценции. Взаимодействие прошлого и будущего — какую несравненную мощь оно должно придавать религии! Но, возможно, благодаря одной аналогии у нас забрезжит также и другое понимание. Нехорошо пересаживать понятия далеко от той почвы, на которой они взросли, но мы должны дать выражение соответствию. О человеческом дитяти нам известно, что оно не сможет успешно

проделать путь своего развития к культуре, не пройдя через то более то менее отчетливую фазу невроза. Так случается потому, что ребенок не может умственной работой подавить очень многие, впоследствии непригодные, требования влечений, а вынужден усмирять их актами вытеснения, за которыми, как правило, скрывается мотив страха. Большинство этих детских неврозов спонтанно преодолевается в процессе развития, прежде всего такую судьбу имеют неврозы навязчивости детского возраста. С остальными в дальнейшем должно покончить психоаналитическое лечение. Точно таким же образом следовало бы предположить, что человечество как нечто единое целое в ходе своего многовекового развития оказывается в состояниях, которые аналогичны неврозам, причем по тем же самым причинам, а именно потому, что во времена своего невежества и интеллектуальной слабости осуществляло необходимый для совместной человеческой жизни отказ от влечений только благодаря чисто аффективным усилиям. Осадки процессов, сходных с вытеснением, которые происходили в доисторическую эпоху, потом еще долгое время были присущи культуре. В таком случае религия была бы общечеловеческим неврозом навязчивости; как и невроз навязчивости у ребенка, он произошел из эдипова комплекса, из отношения к отцу. В соответствии с таким пониманием можно было бы предположить, что отход от религии должен произойти с фатальной неумолимостью процесса развития и что именно сейчас мы находимся в середине этой фазы развития.

В таком случае наше поведение должно было бы следовать образцу разумного воспитателя, который не противится предстоящему преобразованию, а стремится ему содействовать и ослабить насильственный характер его бурного проявления. Однако сущность религии этой аналогией не исчерпывается. Если, с одной стороны, она приносит навязываемые ограничения, просто как индивидуальный невроз навязчивости, то, с другой стороны, она содержит систему иллюзий-желаний с от-

рицанием действительности, которую в изолированном виде мы обнаруживаем лишь при аменции, галлюцинаторной спутанности, сопровождающейся ощущением блаженства.

Аменция, или аментивный синдром (*от лат.* amentia — безумие) — одна из форм помрачения сознания, при которой преобладают растерянность, бессвязность мышления и речи, хаотичность движений.

Все это лишь сравнения, с помощью которых мы пытаемся понять социальный феномен; индивидуальная патология не дает нам полноценного его эквивалента.

Неоднократно указывалось (мною и особенно Т. Райком) на то, вплоть до каких деталей прослеживается аналогия между религией и неврозом навязчивости, как много особенностей и судеб религиозного образования можно понять на этом пути.

Теодор Райк (1888–1969) — австрийско-американский психоаналитик, ученик и соратник Фрейда, автор многих работ по психоанализу культуры и религии, по психоаналитической интерпретации текстов. В том числе и библейских.

В проблемы психологии религии Райк внес довольно существенный вклад главным образом своими фундаментальными работами «Догма и навязчивая идея» и «Проблемы религиозной психологии». В основу его первого материала легли мысли Фрейда из статьи «Навязчивые действия и религиозные обряды». Райк разработал аналогию догматического мышления и навязчивых представлений и действий невротиков. Боязнь отклониться от стереотипов мышления, страх перед новациями, буквализм мышления — это те черты таковы, в общем, черты, которые Фрейд и Райк посчитали схожими у невротика и мышление религиозного человека.

С этим хорошо согласуется также и то, что благочестивый верующий в значительной степени защищен от опасности известных невротических заболеваний; принятие общего невроза избавляет его от задачи сформировать личный невроз.



Теодор Райк

Понимание исторической ценности известных религиозных учений повышает наше уважение к ним, но не обесценивает наше предложение исключить их из обоснования предписаний культуры. Напротив! С помощью этих исторических остатков мы пришли к пониманию религиозных положений как своего рода невротических реликтов, и теперь вправе сказать, что, вероятно, теперь самое время, как в аналитическом лечении невротика, заменить последствия вытеснения результатами раци-

онального умственного труда. То, что при такой переработке нельзя будет остановиться на отказе от торжественного освящения предписаний культуры, что общая их ревизия должна будет привести к упразднению многих из них, можно предвидеть, но едва ли об этом надо жалеть. Поставленная перед нами задача примирения людей с культурой будет во многом решена этим путем. Нам не стоит переживать из-за отказа от исторической истины при рациональном обосновании предписаний культуры. Истины, которые содержатся в религиозных учениях, все же настолько искажены и систематическим образом замаскированы, что масса людей не может признать в них правду. Это подобно тому, как мы рассказываем ребенку, что новорожденных приносит аист. Также и здесь мы говорим правду в символическом облачении, ибо мы знаем, что означает большая птица. Но ребенок этого не знает, он улавливает только элемент искажения, считает себя обманутым, и мы знаем, как часто его недоверие к взрослым и упрямство связываются именно с таким впечатлением. Мы пришли к убеждению, что лучше отказаться от сообщения истины в таком символическом облачении и не отказывать ребенку в знании реальных условий, приспосабливая это знание к его интеллектуальному уровню.

IX

«Вы позволяете себе противоречивые высказывания, которые трудно согласовать между собой. Сначала Вы утверждаете, что сочинение, такое, как Ваше, совершенно безопасно. Никто, мол, не позволит лишить себя религиозной веры подобными рассуждениями. Но поскольку, как впоследствии выясняется, Ваше намерение — все-таки эту веру разрушить, можно спросить: зачем, собственно, Вы его публикуете? В другом месте Вы, наоборот, признаете, что может быть опасно, даже очень опасно, если кто-то узнает, что в Бога больше не верят. До сих пор он был послушным, а теперь отбрасы-

вает в сторону повиновение предписаниям культуры. Вся Ваша аргументация, что религиозное обоснование заповедей культуры означает для культуры опасность, основывается на предположении, что верующего можно сделать неверующим, а это все же является полным противоречием».

«Другое противоречие — когда Вы, с одной стороны, признаете, что человеком нельзя управлять с помощью разума, что он руководствуется своими страстями и требованиями влечений, но с другой стороны, предлагаете заменить аффективные основы его повиновения культуре рациональными. Понимай как знаешь. Как мне кажется, должно быть либо одно, либо другое».

«Впрочем, неужели история Вас ничему не научила? Такая попытка заменить религию разумом однажды уже была сделана — официально и с большим размахом. Вы же помните о Французской революции и Робеспьере? Но тогда, значит, также о недолговечности и плачевном результате этого эксперимента. Теперь он повторяется в России, нам и так заранее ясно, что из этого выйдет. Не думаете ли Вы, что мы вправе предположить, что без религии человек обойтись не может?»

«Вы сами сказали, что религия — это нечто большее, чем невроз навязчивости. Но об этой другой ее стороне Вы не говорили. Вам достаточно провести аналогию с неврозом. От невроза людей надо избавить. Что при этом будет еще утрачено, Вас не заботит».

Наверное, видимость противоречия возникла из-за того, что о сложных вещах я говорил слишком бегло. Кое-что мы можем наверстать. Я по-прежнему утверждаю, что мое сочинение в одном отношении является полностью безопасным. Ни один верующий не позволит поколебать себя в своей вере этими или сходными аргументами. Верующий имеет определенные нежные связи с содержанием религии. Несомненно, имеется несметное множество других людей, которые в том же самом смысле верующими не являются. Они повинуются предписаниям культуры, потому что дают себя запугать

угрозами религии, и они боятся религии, пока вынуждены ее считать частью ограничивающей их реальности. Именно они и откалываются, как только могут отказаться от веры в их реальную ценность, но аргументы не оказывают тут никакого влияния. Они перестают бояться религии, когда замечают, что и другие тоже ее не боятся, и именно о них я говорил, что они узнали бы об упадке религиозного влияния, даже если бы я не опубликовал свое сочинение.

Я полагаю, однако, что сами Вы придаете большее значение другому противоречию, в котором меня упрекаете. Люди так мало доступны доводам разума, полностью находятся во власти своих влечений-желаний. Зачем же лишать их удовлетворения влечений и пытаться его заменить разумными доводами? Конечно, люди таковы, но спрашивали ли Вы себя, должны ли они быть такими, принуждает ли их к этому их истинная сущность? Может ли антропология указать краниометрический индекс народа, который соблюдает обычай — с самого раннего возраста деформировать бандажами головки детей? Задумайтесь над печальным контрастом между искрящимся интеллектом здорового ребенка и слабоумием среднего взрослого. И разве совсем уж невероятно, что именно религиозное воспитание несет на себе значительно большую часть вины за этот сравнительный упадок? Я думаю, пришлось бы очень долго ждать, пока ребенок, на которого не оказывали бы влияния, начал бы создавать идеи о Боге и вещах по ту сторону этого мира. Возможно, что эти мысли пошли бы по тому же самому пути, по которому они прошли у его предков, но такого развития никто не дожидается, ему преподносят религиозные учения в то время, когда у него нет ни интереса к ним, ни способности осмыслить их важность. Замедлить сексуальное развитие и сделать как можно более ранним религиозное влияние — таковы два основных пункта в программе нынешней педагогики, не правда ли? Потом, когда мышление ребенка пробуждается, религиозные учения уже неприкосно-

венны. Но неужели Вы думаете, что для укрепления мыслительной функции очень полезно, когда столь важная для нее область оказывается закрытой из-за угрозы наказания адом? Если кто-то однажды пришел к тому, чтобы без критики принимать все нелепости, которые преподносят ему религиозные учения, и даже не замечать противоречия между ними, то слабость его ума не должна вызывать у нас удивления. Но тут у нас нет другого средства овладеть своими влечениями, кроме нашего интеллекта. Как можно ожидать от людей, которые находятся под властью запретов мыслить, что они достигнут психологического идеала, примата разума? Вы также знаете, что женщин, как правило, упрекают в так называемом физиологическом слабоумии, то есть приписывают им меньшие интеллектуальные способности, чем у мужчин. Сам этот факт спорен, его истолкование сомнительно, однако аргумент в пользу вторичной природы этой интеллектуальной задержки развития состоит в том, что женщины пострадали от жесткости запрета в раннем возрасте обращать свои мысли на то, что интересовало бы их больше всего, а именно на проблемы половой жизни.

Фрейд не только развеял закореневшие предрассудки о женской природе, но и вдохновил многих своих учениц на собственное мнение и положение в науке, что в ту пору царящей патриархальности казалось немыслимым. Так, например, Карен Хорни, молодой врач из довоенного Берлина, очарованная работами Фрейда, стала одной из первых женщин в психоанализе. Она начала задавать вопросы, на которые никому из аналитиков не хотелось отвечать. В своей статье «Бегство от женственности» Хорни сетовала, что психоанализ мерит женщин по мужской мерке, и с прискорбием отмечала, насколько неточно это выражает истинную природу женщин. Впрочем, именно она стала ярым критиком своего учителя. Хорни резко отзывалась о его теории зависти девочек к пенису, воспевала материнство и считала, что это мужчины должны завидовать женщинам, их физиологическому превос-

ходству. На Фрейда ее воззрения не произвели никакого впечатления. Между тем представители феминизма подвергли широкомасштабной критике понимание развития эдипова комплекса у девочек. Они считали, что концепция зависти к пенису является продуктом патриархального общества, которое долгое время считало женщину неполноценной, бессильной и подчиненной. Как указывала американская феминистка Кейт Миллет, Фрейд с подобными идеями и воплощением их на практике является скорее угнетателем женщины, нежели независимым наблюдателем и психотерапевтом. Известно, что Фрейд, внутренне поддерживая женщин, настороженно относился к другой крайности — к возрастающему феминизму. По поводу феминисток Америки он говорил, что те «водят мужчин за нос, делают из них дураков». По другую сторону Атлантики царил матриархат. «В Европе управляют мужчины. Так и должно быть!» — считал он. На что Джозеф Уортис, молодой американский врач, осторожно осведомился: не стало бы равенство решением проблемы? «Это невозможно на практике!» — отрезал Фрейд. Тем не менее он никогда не скрывал своего восхищения женщинами, которые, по его утверждению, были достаточно умны, чтобы он чувствовал себя с ними свободно. Именно Фрейд первым заявил о чувственной природе женщины, в чем стеснялись признаться сами женщины и о чем неловко было говорить мужчинам. Будучи не обделенным женским вниманием, Фрейд тем не менее придерживался строгих, пуританских взглядов. Он предупреждал своих учеников об опасностях психоанализа и уязвимости пациенток. Многие из этих нервных и пылких особ охотно делились своими сексуальными фантазиями, а некоторые были не прочь перейти границы дозволенного и претворить их в жизнь. Не многие из учеников Фрейда удержались от соблазна, о чем он искренне переживал.

До тех пор, пока помимо торможения мышления в сексуальной сфере на человека в ранние годы воздействуют торможение мышления в сфере религии и вытекающее из него торможение мышления, связанное с лояльностью, мы действительно не можем сказать, кем он, по сути, является.

Однако я хочу умерить свой пыл и признать возможность того, что и я тоже гоняюсь за иллюзией. Быть может, воздействие религиозного запрета мыслить не так худо, как я предполагаю; быть может, окажется, что человеческая природа останется той же самой, даже если воспитание не будет злоупотреблять подчинением религии. Я этого не знаю, и Вы тоже не можете этого знать. Не только серьезные проблемы этой жизни кажутся в настоящее время неразрешимыми, но и многие менее значительные вопросы трудно решить. Но Вы согласитесь со мной, что здесь у нас имеется основание для надежды на будущее, что, возможно, нам предстоит найти клад, который может обогатить культуру, что стоит предпринять попытку нерелигиозного воспитания. Если она окажется неудовлетворительной, то я готов отречься от реформы и вернуться к более раннему, чисто описательному суждению: человек — это существо со слабым интеллектом, обуреваемое влечениями-желаниями.

В одном пункте я безоговорочно с Вами согласен. Пытаться насильственно и одним махом упразднить религию — несомненно, бессмысленная затея. Прежде всего потому, что она бесперспективна. Верующий не позволит лишить себя своей веры ни аргументами, ни запретами. Но если бы с кем-то подобное удалось, то это было бы жестоко. Кто десятилетиями принимал снотворное, тот, разумеется, не сможет спать, если у него отнять это средство. То, что воздействие религиозных утешений можно приравнять к воздействию наркотиков, прекрасно иллюстрируется событиями в Америке. Там сейчас хотят лишить людей — очевидно, под влиянием оказавшихся у власти женщин — всех возбуждающих и опьяняющих средств и в качестве компенсации пресыщают их страхом Божьим. Исход этого эксперимента нам также известен заранее. Стало быть, я Вам возражаю, когда Вы затем заключаете, что человек вообще не может обойтись без утешения, которое ему дает религиозная иллю-

зия, что без нее он не вынес бы тягот жизни, жестокой действительности. Да, но только тот человек, в которого Вы с детства вливали сладкий — или кисло-сладкий — яд. Но другой, кого воспитывали в трезвости? Быть может, тот, кто не страдает неврозом, не нуждается и в интоксикации, чтобы его заглушить. Несомненно, человек окажется тогда в трудной ситуации, он должен будет признаться себе во всей своей беспомощности, в своей ничтожности в мироустройстве, что он уже не центр творения, уже не объект нежной заботы благосклонного Провидения. Он окажется в той же ситуации, что и ребенок, покинувший отчий дом, где ему было так тепло и уютно. Но разве неверно, что инфантилизм должен быть преодолен? Человек не может вечно оставаться ребенком, в конце концов он должен выйти во «враждебную жизнь». Это можно назвать *«приучением к реальности»;* нужно ли мне еще Вам объяснять, что единственная цель моего сочинения — обратить внимание на необходимость этого шага?

Наверное, Вы боитесь, что он не выдержит этого тяжелого испытания? Что ж, позвольте нам все же надеяться. Когда человек знает, что должен рассчитывать на свои собственные силы, то это уже само по себе что-то значит. Тогда он учится тому, чтобы правильно их использовать. Нельзя сказать, что у человека вообще нет вспомогательных средств, со времен делювия наука многому его научила, и она и дальше будет увеличивать его силу. Что же касается неизбежностей судьбы, от которых никуда не деться, то он научится с покорностью их терпеть. Зачем кормить его баснями о крупном землевладении на Луне, доходов от которого еще никто и никогда не видел? Как честный мелкий крестьянин на этой земле он будет обрабатывать свой участок, который его прокормит. Благодаря тому, что он перестанет чего-либо ждать от загробной жизни и сконцентрирует все высвободившиеся силы на земной жизни, он, вероятно, сумеет

добиться того, чтобы жизнь стала сносной для всех, а культура никого больше не угнетала. Тогда он без сожаления сможет сказать вместе с одним из наших собратьев по неверию:

Пусть ангелы да воробьи
Владеют небом дружно!

Строки принадлежат Генриху Гейне (поэма «Зимняя сказка», пер. В. Левика), которого очень почитал Фрейд. Гейне, как и Фрейда, можно отнести к умеренным атеистам. Их высказывания о религии схожи в степени иронии и скепсиса, но ни того, ни другого ярым атеистом назвать нельзя.

X

«Конечно, звучит грандиозно. Человечество, которое отказалось от всех иллюзий и благодаря этому стало способным сносно устроиться на земле! Но я не могу разделить Ваших ожиданий. Не потому, что я закоренелый реакционер, которым Вы меня, возможно, считаете. Нет, из благоразумия. Я думаю, мы тут поменялись ролями: Вы проявляете себя как мечтатель, который позволяет увлечься иллюзиями, а я представляю требование разума, право на скепсис. Все, что Вы возвели, кажется мне построенным на заблуждениях, которые я, следуя Вам, вправе назвать иллюзиями, потому что они довольно отчетливо выдают влияние Ваших желаний. Вы связываете свою надежду с тем, что поколения, не испытавшие в раннем детстве влияния религиозных учений, легко достигнут желанного примата интеллекта над жизнью влечений. Это, пожалуй, иллюзия; в этом важном пункте человеческая природа едва ли изменится. Если я не ошибаюсь — о других культурах известно так мало, — еще и сегодня существуют народы, которые развиваются без гнета религиозной системы и приближаются к Вашему идеалу не больше, чем остальные. Если Вам

хочется устранить из нашей европейской культуры религию, то этого можно добиться только благодаря другой системе учений, и она с самого начала будет заимствовать все психологические особенности религии, те же самые святость, закостенелость, нетерпимость, тот же самый запрет на мышление для своей защиты. Что-то подобное Вам придется иметь, чтобы отвечать требованиям воспитания. От воспитания же Вы отказаться не можете. Путь от младенца до культурного человека долог, слишком многие человечки на нем заблудятся и своевременно не примутся за решение своих жизненных задач, если им будет предоставлено развиваться самим, без руководства. Теории, которые используются в их воспитании, всегда будут ставить границы мышлению в их более зрелые годы, точно так же, как сегодня это делает религия, за что Вы ее упрекаете. Неужели Вы не замечаете, что неустранимый природный недостаток нашей, всякой культуры, заключается в том, что она требует от обуреваемого влечениями и несмышленого ребенка принимать решения, которые может обосновать лишь зрелый интеллект взрослого человека? Но она не может поступать иначе, потому что всего за несколько лет ребенок должен освоить сгусток того, что было накоплено человечеством в ходе многовекового развития, и ребенок может справиться с поставленной перед ним задачей, только если его будут побуждать аффективными силами. Таковы, стало быть, перспективы Вашего “примата интеллекта”».

«Так что Вы не должны удивляться, если я выступаю за сохранение системы религиозных учений как основы воспитания и совместной человеческой жизни. Это практическая проблема, а не вопрос о ценности реальности. Раз уж в интересах сохранения нашей культуры мы не можем медлить с влиянием на отдельного человека, дожидаясь, когда он станет культурно зрелым — со многими это вообще никогда не случится, — раз уж мы вынуждены навязывать под-

растающему человеку какую-нибудь систему учений, которая должна воздействовать на него как предпосылка, не подлежащая критике, то для этого религиозная система представляется мне самой пригодной. Разумеется, именно из-за ее исполняющей желания и утешающей силы, в которой Вам было угодно обнаружить "иллюзию". Учитывая, насколько трудно узнать что-либо о реальности, более того, сомневаясь, возможно ли для нас это вообще, давайте все же не будем упускать из виду, что также и человеческие потребности являются частью реальности, причем важною, такою, которая нас особенно близко касается».

«Другое преимущество религиозного учения я вижу в одном его своеобразии, которое, похоже, вызывает у Вас особую неприязнь. Оно делает возможным облагораживание и сублимирование понятий, благодаря чему с них сбрасывается почти все, что носит следы примитивного и инфантильного мышления. То, что после этого остается, — содержание идей, которым наука уже не противоречит и которые она не может также и опровергнуть. Эти преобразования религиозного учения, которые Вы осудили как полумеры и компромиссы, позволяют избежать разрыва между необразованной массой и философствующим мыслителем, поддерживают общность между ними, столь важную для сохранения культуры. Тогда не стоит бояться, что человек из народа узнает, что верхние слои общества "больше не верят в Бога". Теперь я, думаю, показал, что Ваши усилия сводятся к попытке заменить испытанную и аффективно ценную иллюзию другой, неиспытанной и индифферентной».

Вы не сочтете, что я недоступен для Вашей критики. Я знаю, как трудно избежать иллюзий; возможно, что и надежды, в которых я признаюсь, тоже иллюзорной природы. Но на одном отличии я настаиваю. Мои иллюзии — не говоря уже о том, что за отказ разделить их не последует наказания, — не являются некорректируемыми, как религиозные, не носят

бредового характера. Если опыт покажет — не мне, а другим после меня, думающим точно так же, — что мы заблуждались, то мы откажемся от своих ожиданий. Примите же мою попытку за то, что она собой представляет. Психолог, не обманывающийся насчет того, как трудно ориентироваться в этом мире, пытается судить о развитии человечества, основываясь на чуточке понимания, которое он приобрел благодаря изучению душевных процессов у отдельного человека в ходе его развития от ребенка к взрослому. При этом у него невольно возникает мнение, что религия сопоставима с детским неврозом, и он достаточно оптимистичен, чтобы предположить, что человечество преодолеет эту невротическую фазу подобно тому, как многие дети перерастают свой сходный невроз. Эти выводы из индивидуальной психологии могут быть неудовлетворительными, перенос на человеческий род неоправданным, оптимизм необоснованным; я признаюсь Вам во всех этих сомнениях. Но часто бывает невозможно удержаться от того, чтобы не высказать свои мысли, и извиняешь себя тем, что не выдаешь их за нечто большее, чем они того стоят.

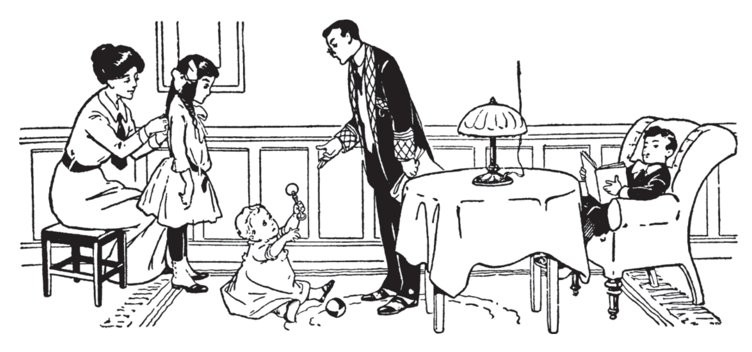
Я должен задержаться еще на двух пунктах. Во-первых, слабость моей позиции не означает усиления Вашей. Я думаю, что Вы защищаете проигрышное дело. Мы можем сколько угодно подчеркивать, что человеческий интеллект бессилен по сравнению с человеческими влечениями, и будем правы. Но в этой слабости есть что-то особое; голос интеллекта едва слышен, но он не успокаивается, пока не привлечет к себе внимания. В конце концов, после того как его бесконечно часто отваживали, он все-таки добивается своего. Это один из немногих пунктов, где можно быть оптимистичным, говоря о будущем человечества, но и само по себе это немало значит. К нему можно присоединить и другие надежды. Конечно, примат интеллекта находится в далекой, далекой, но, вероятно, все же не бесконечной дали. И поскольку он, по-видимому, бу-

дет ставить эти же цели, осуществления которых Вы ожидаете от Вашего Бога (разумеется, в естественных для человека пределах, насколько это допускает внешняя реальность, Αναγκη), а речь идет о любви к людям и ограничении страдания, мы вправе себе сказать, что наше соперничество лишь временное и не непримиримое. Мы ожидаем одного и того же, но Вы нетерпеливее, требовательнее и — почему я не должен этого сказать? — эгоистичнее, чем я и мои единомышленники. Вы хотите, чтобы блаженство начиналось сразу же после смерти, требуете от него невозможного и не намерены отказаться от притязания отдельных лиц. Наш бог Λογοζ осуществит из этих желаний то, что допускает природа вне нас, но постепенно, лишь в необозримом будущем и для новых людей. Возмещения для нас, тяжело страдающих в жизни, он не обещает. На пути к этой далекой цели от Ваших религиозных учений придется отказаться, даже если первые попытки окончатся неудачей, даже если первые замещающие образования окажутся нестойкими. Вы знаете почему; ничто не может долго противостоять разуму и опыту, а противоречие религии им обоим чересчур ощутимо. Также и облагороженные религиозные идеи не избегнут этой участи, пока они еще будут пытаться что-то спасти из утешительного содержания религии. Правда, если Вы ограничитесь отстаиванием некоего высшего духовного существа, свойства которого неопределимы, а намерения непознаваемы, то тогда Вы будете неуязвимы для возражений науки, но вместе с тем лишитесь и интереса людей.

И, во-вторых, обратите внимание на различие Вашего и моего отношения к иллюзии. Вы должны всеми своими силами защищать религиозную иллюзию; если она обесценится — а она действительно находится под угрозой, — то тогда Ваш мир рухнет, Вам ничего не останется, как усомниться во всем, в культуре и в будущем человечества. От этой крепостной зависимости я свободен, мы свободны. Поскольку мы го-

товы отказаться от доброй доли наших инфантильных желаний, мы сможем вынести, если некоторые из наших ожиданий окажутся иллюзиями.

Воспитание, избавленное от гнета религиозных учений, возможно, не многое изменит в психологической сущности человека, наш бог Λογοζ наверное, не столь всемогущ, он может осуществить лишь малую часть того, что обещали его предшественники. Если нам суждено это понять, то мы примем это в смирении. Интерес к миру и жизни мы из-за этого не утратим, ибо в одном месте у нас имеется надежная точка опоры, которой нет у Вас. Мы полагаем, что научная работа позволяет что-то узнать о реальности мира, благодаря чему мы усиливаем свою власть над ним и тем самым получаем возможность самим организовывать свою жизнь. Если эта вера — иллюзия, то тогда мы с Вами находимся в одинаковом положении, но наука своими многочисленными и важными результатами нам доказала, что она не иллюзия. У нее много явных и еще больше скрытых врагов среди тех, кто не может ей простить, что она ослабила религиозную веру и угрожает свергнуть ее. Ее упрекают, что она мало чему нас научила и несравнимо больше оставила в темноте. Но при этом забывают, как она молода, какими трудными были ее первые шаги и насколько маленьким был период времени, с тех пор как укрепился человеческий интеллект для решения своих задач. Не совершаем ли все мы ошибку, кладя в основу наших суждений слишком короткие отрезки времени? Нам следовало бы взять пример с геологов. Многие жалуются на ненадежность науки, что она сегодня объявляет законом то, что следующее поколение сочтет заблуждением и заменит новым законом столь же короткого срока действия. Но это несправедливо и отчасти неверно. Изменение научных мнений представляет собой развитие, прогресс, а не ниспровержение. Закон, вначале считавшийся безусловно верным, оказыва-

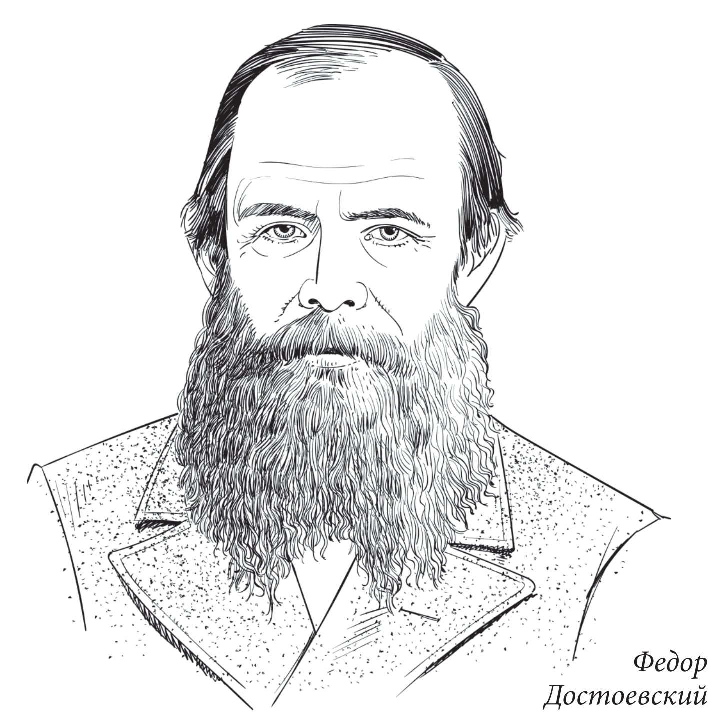


ется частным случаем более обширной закономерности или ограничивается другим законом, который узнаешь только позднее; грубое приближение к истине заменяется более подходящим, которое, в свою очередь, ожидает дальнейшего усовершенствования. В различных областях еще не преодолели фазу исследования, когда испытываются гипотезы, которые вскоре придется отбросить как неудовлетворительные; однако в других областях уже имеется гарантированное и почти неизменное ядро знания. Наконец, предпринимались попытки радикальным образом обесценить научный труд рассуждением, что он, будучи связанным с условиями нашей собственной организации, не может дать ничего другого, кроме субъективных выводов, тогда как действительная природа вещей вне нас остается недоступной. При этом не считаются с несколькими моментами, имеющими решающее значение для понимания научной работы: что наша организация, то есть наш душевный аппарат, сформировалась как раз в результате усилий, направленных на освоение внешнего мира, и, стало быть, часть целесообразности должна была реализоваться в ее структуре; что она сама является составной частью того мира, который мы должны разузнать, и что она вполне допускает такое исследование; что задача науки будет описана полностью, если мы ограничим ее показом того, каким нам должен казаться мир из-за своео-

бразия нашей организации; что окончательные результаты науки именно из-за способа их получения обусловлены не только нашей организацией, но и тем, что на эту организацию воздействовало, и, наконец, что проблема устройства мира без учета нашего воспринимающего душевного аппарата представляет собой пустую абстракцию, не имеющую практического интереса.

Нет, наша наука не иллюзия. Но было бы иллюзией верить, что мы откуда-нибудь из другого места могли бы получить то, чего она нам дать не может.

Достоевский
и отцеубийство



Федор Достоевский

В богатой личности Достоевского хочется выделить четыре фасада: писателя, невротика, моралиста и грешника. Как разобраться в этой приводящей в замешательство сложности?

Меньше всего сомнений в нем как писателе: его место — чуть позади Шекспира. «Братья Карамазовы» — самый грандиозный роман из тех, что когда-либо были написаны, эпизод с Великим инквизитором — одно из наивысших достижений мировой литературы, которое едва ли можно переоценить. К сожалению, перед проблемой писателя анализ должен сложить оружие.

Больше всего уязвим моралист в Достоевском. Когда хотят превознести его как нравственного человека на том основании, что только тот достигает наивысшей ступени нравственности, кто прошел через глубочайшее грехопадение, — не считаются с одним соображением. Нравственен тот, кто реагирует уже на внутренне ощущаемое иску-

шение, не поддаваясь ему. А тому, кто вперемежку грешит, а затем в своем раскаянии выставляет высокие нравственные требования, не избежать упрека, что он слишком удобно устроился. Он не осуществил главного в нравственности, отказа, ибо нравственный образ жизни представляет собой практический интерес человечества. Он напоминает варваров в период Великого переселения народов, которые убивают и каются в этом, и покаяние становится прямо-таки техническим приемом, чтобы сделать возможным убийство. Точно так же ведет себя и Иван Грозный; более того, эта сделка с совестью — характерная русская черта. Да и конечный результат нравственной борьбы Достоевского бесславен. После самых ожесточенных боев за то, чтобы примирить притязания влечений индивида с требованиями человеческого общества, он останавливает свой выбор на подчинении мирскому, равно как и церковному, авторитету, на благоговении перед царем и христианским Богом и на бездушном русском национализме, на позиции, к которой менее значительные умы приходили с меньшими усилиями. В этом слабое место великой личности. Достоевский упустил возможность стать учителем и освободителем людей, он присоединился к их тюремщикам; культурное будущее людей немногим будет ему обязано. Наверное, можно показать, что на такой крах он был обречен своим неврозом. По уровню интеллекта и силе его любви к людям ему был бы открыт другой, апостольский, жизненный путь.

Если рассматривать Достоевского как грешника или преступника, то это вызывает бурное сопротивление, которое не нужно основывать на обывательской оценке преступника. Вскоре обнаруживается настоящий мотив; для преступника существенны две черты — безграничное себялюбие и выраженная деструктивная тенденция; общим для того и другого и предпосылкой для их выражения являются бессердечие, недостаток аффективной оценки (человеческих) объектов. У Достоевского тут же в качестве противоположности вспоминается его большая потребность в любви и его огромная способность любить, которая сама выражается в проявлениях чрезмерной доброты и по-

зволяет ему любить и помогать там, где сам он имел право на месть и ненависть, — например, по отношению к своей первой жене и ее любовнику. Тогда нужно спросить, откуда вообще берется соблазн причислить Достоевского к преступникам. Ответ: на существование таких наклонностей в его душе указывает выбор писателем материала, который отличают прежде всего жестокие, склонные к убийству, себялюбивые характеры; далее — некоторые факты из его жизни, например его страсть к игре; возможно, сексуальное растление незрелой девушки (признание).

В своей работе «Три мастера» (1920) Стефан Цвейг писал о Достоевском: «Он не останавливается перед преградами мещанской морали, и никто не может точно сказать, как далеко он преступал в своей жизни юридические границы, сколько из преступных инстинктов его героев у него самого превратились в поступки». О тесных связях между образами Достоевского и его собственными переживаниями писал Рене Фюлоп-Миллер во введении к книге «Достоевский за рулеткой» (1925), основанной на воспоминаниях Н. Страхова. Тема сексуального растления незрелой девушки всплывает у Достоевского неоднократно, например, в посмертно опубликованной «Исповеди Ставрогина» и в «Жизни великого грешника»[1].

Противоречие разрешается пониманием того, что очень сильное деструктивное влечение Достоевского, которое легко могло бы сделать его преступником, в жизни было направлено главным образом против собственной персоны (вовнутрь, а не вовне) и поэтому выражалось в форме мазохизма и чувства вины. Тем не менее его личность сохраняет довольно много садистских черт, выражающихся в его раздражительности, тирании, нетерпимости — даже по отношению к любимым людям — и еще в том, как он обращается со своими читателями, то есть в мелочах он садист, устремленный вовне, в более крупных вещах — садист, направленный внутрь, стало быть мазохист, то есть самый мягкий, самый добродушный, самый услужливый человек.

---

[1] Пояснения и примечания к эссе «Достоевский и отцеубийство» предоставлены переводчиком А. Боковиковым.

Из сложной личности Достоевского мы извлекли три фактора, один качественный и два количественных: чрезвычайно высокую степень его аффективности, извращенные задатки влечений, предрасполагавшие его стать садомазохистом или преступником, и не поддающееся анализу художественное дарование. Этот ансамбль вполне был бы жизнеспособен и без невроза, ведь существуют абсолютные мазохисты, которые невротиками не являются. По соотношению сил между требованиями влечений и противостоящими им торможениями (плюс имеющимися в распоряжении способами сублимации) Достоевского все еще можно было бы классифицировать как так называемый импульсивный характер. Но ситуация омрачается присутствием невроза, который, как уже говорилось, при этих условиях не обязателен, но тем не менее возникает тем скорее, чем богаче содержанием осложнение, с которым должно справиться Я. Невроз — это все же лишь признак того, что такой синтез Я не удался, что, совершая такую попытку, оно поплатилось своей целостностью.

Чем же доказывается невроз, понимаемый в строгом значении слова? Достоевский сам себя называл эпилептиком — да и другие так тоже считали — по причине своих тяжелых припадков, сопровождавшихся потерей сознания, мышечными судорогами и последующим дурным настроением. Вполне вероятно, что эта так называемая эпилепсия была лишь симптомом невроза, который соответственно следовало бы классифицировать как истероэпилепсию, то есть как тяжелую истерию. Полной уверенности нельзя достичь по двум причинам: во-первых, потому, что анамнестические данные о так называемой эпилепсии Достоевского недостаточны и ненадежны, во-вторых, потому, что нет ясного понимания болезненных состояний, связанных с эпилептоидными припадками.

Сначала о втором пункте. Излишне здесь повторять всю патологию эпилепсии, которая все же ничего решающего не приносит, однако можно сказать: в качестве

мнимой клинической единицы по-прежнему выделяют старую *Morbus sacer,* жуткую болезнь с ее непредсказуемыми — по-видимому, не спровоцированными — судорожными припадками, изменением характера в сторону раздражительности и агрессивности и с прогрессирующим ухудшением всех видов умственной деятельности. Но во всех конечных исходах эта картина расплывается до неопределенности. Припадки, проявляющиеся в грубой форме, с прикусыванием языка и мочеиспусканием, учащающиеся до опасного для жизни *Status epilepticus,* который приводит к тяжелому самоповреждению, могут, однако, ослабляться до коротких абсансов, до простых, быстро проходящих обморочных состояний, заменяться короткими периодами, когда больной, словно находясь во власти бессознательного, делает нечто ему не свойственное. Будучи обычно непонятным образом обусловленными чисто телесно, они все же могут быть обязанными своим первым возникновением чисто душевному влиянию (испугу) или в дальнейшем выступать в качестве реакции на душевные возбуждения. Каким бы характерным ни было интеллектуальное снижение в подавляющем большинстве случаев, по меньшей мере все же известен *один* случай, в котором недуг не сумел нарушить высшую интеллектуальную деятельность (Гельмгольц). (Другие случаи, про которые утверждали подобное, ненадежны или подлежат тому же сомнению, что и случай самого Достоевского.) Лица, страдающие эпилепсией, могут производить впечатление тупости, задержки развития, поскольку этот недуг часто сопровождается ярко выраженной идиотией и тяжелейшими дефектами мозга, хотя это и не является обязательной составной частью картины болезни; однако эти припадки во всех своих вариациях встречаются также и у других лиц, обнаруживающих полное душевное развитие и скорее чрезмерную, чаще всего недостаточно контролируемую аффективность. Неудивительно, что при таких обстоятельствах считается невозможным придерживаться клинической единицы поражения под названием «эпилепсия». То, что проявляется в сходстве

обнаруживаемых симптомов, по-видимому, требует функционального понимания, как если бы механизм патологического отвода влечений был подготовлен заранее, но используется при совершенно разных условиях — как при нарушениях мозговой деятельности вследствие тяжелого тканевого и токсического заболевания, так и при недостаточном управлении душевной экономикой, кризисном использовании действующей в душе энергии. За этой раздвоенностью, по-видимому, скрывается идентичность основополагающего механизма отвода влечений. То же самое не может быть чуждо и сексуальным процессам, имеющим по существу токсическую причину; уже древнейшие врачи называли коитус малой эпилепсией, то есть распознавали в половом акте смягчение и адаптацию эпилептического отвода возбуждения.

«Эпилептическая реакция», как можно назвать это общее, без сомнения, имеется также в распоряжении невроза, сущность которого состоит в том, чтобы соматическим путем покончить с массами возбуждения, с которыми он не справляется психически. Таким образом, эпилептический припадок становится симптомом истерии и адаптируется и модифицируется ею подобно тому, как это делается нормальным сексуальным процессом. Поэтому совершенно правильно отличать органическую эпилепсию от «аффективной». Практическое значение таково: у кого первая, у того болезнь мозга; у кого вторая, тот невротик. В одном случае душевная жизнь подвергается чуждому ей нарушению извне, в другом — нарушение является выражением самой душевной жизни.

Вполне вероятно, что эпилепсия Достоевского — второго рода. Строго доказать этого нельзя, ибо тогда нужно было бы иметь возможность включить первое появление и последующие колебания припадков во взаимосвязь его душевной жизни, а об этом слишком мало известно. Описания самих припадков ничего не проясняют, сведения об отношениях между припадками и переживаниями недостаточны и зачастую противоречивы. Наиболее правдоподобно предположение, что припадки простирают-

ся далеко в детство Достоевского, что вначале они были представлены более мягкими симптомами и только после потрясшего его в восемнадцать лет переживания, после убийства отца, они приняли эпилептическую форму.

Особый интерес вызывает сообщение, что в детстве писателя произошло «нечто ужасное, незабываемое и мучительное», чем можно было бы объяснить первые признаки его недуга (отмечал А.С. Суворин в статье в «Новом времени», 1881). Первый биограф Достоевского, профессор литературы Орест Миллер писал: «Правда, о болезни Федора Михайловича имеется еще особое высказывание, относящееся к его самой ранней юности и связывающее болезнь с трагическим случаем в семейной жизни родителей Достоевского. Но хотя это высказывание было сообщено мне человеком, который был близко знаком с Федором Михайловичем, я не могу решиться подробно и точно передать здесь упомянутую информацию, поскольку ни с какой из сторон не получил подтверждения этого слуха». Биографика и наука о неврозах вряд ли могут быть благодарны за такую сдержанность.

Было бы весьма подходящим, если бы подтвердилось, что во время отбывания наказания в Сибири они полностью прекратились, но этому противоречат другие сведения.

Большинство сведений, среди них собственное свидетельство Достоевского, утверждают скорее, что только во время отбывания наказания в Сибири болезнь приняла свой окончательный, эпилептический характер. К сожалению, есть основания не доверять автобиографическим сообщениям невротиков. Опыт показывает, что их память прибегает к фальсификациям, предназначенным для того, чтобы разорвать неприятную причинную связь. Однако кажется установленным, что пребывание в сибирской тюрьме существенно изменило и болезненное состояние Достоевского.

Очевидная связь между отцеубийством в «Братьях Карамазовых» и судьбой отца Достоевского бросилась в глаза многим биографам и побудила их ссылаться на «известное современное психологическое направ-

ление». Психоаналитическое рассмотрение, ибо здесь имелось в виду оно, пыталось в этом событии распознать тяжелейшую травму, а в реакции Достоевского на него — исходный момент его невроза.

Если же я попытаюсь психоаналитически обосновать выдвинутое положение, то вынужден опасаться, что останусь непонятным всем тем, кто не знаком со способами выражения и учениями психоанализа.

У нас есть надежный исходный пункт. Мы знаем смысл первых припадков Достоевского в его юные годы, задолго до появления «эпилепсии». Эти припадки имели значение смерти, они сопровождались страхом смерти и заключались в состояниях летаргического сна. Когда им впервые овладело неожиданное, беспричинное уныние (болезнь), он был еще ребенком; чувство, о котором он позднее рассказывал своему другу Соловьеву, будто он должен вот-вот умереть; и действительно за этим следовало состояние, совершенно похожее на настоящую смерть... Его брат Андрей рассказывал, что Федор еще в юные годы имел обыкновение перед тем, как лечь спать, оставлять записки, он боялся, что ночью впадет в сон, внешне напоминающий смерть, и поэтому просил его похоронить только через пять дней.

Мы знаем смысл и намерение таких приступов смерти. Они означают идентификацию с мертвым, человеком, который действительно умер или пока еще жив, но хочет умереть. Последний случай более важен. Тогда припадок имеет значение наказания. Человек пожелал другому смерти, теперь он — этот другой и сам мертв. Здесь психоаналитическое учение утверждает, что этим другим для мальчика, как правило, является отец, а припадок, называемый истерическим, — стало быть, представляет собой самонаказание за пожелание смерти ненавистному отцу.

Согласно известному представлению, отцеубийство — это главное и первичное преступление человечества, равно как и отдельного человека[1]. Во всяком случае оно — главный источник чувства вины, мы не знаем,

---

1 См. «Тотем и табу» автора.

единственный ли; исследования пока еще не сумели установить душевную первопричину чувства вины и потребности в искуплении. Но совсем не обязательно, чтобы оно было единственным. Психологическая ситуация сложна и требует прояснения. Отношение мальчика к отцу, как мы говорим, амбивалентно. Помимо ненависти, которой хочется устранить отца как соперника, обычно имеет место и некая мера нежности к нему. Обе установки сливаются в идентификацию с отцом, ребенку хочется занять место отца, потому что он им восхищается, хочется быть таким, как он, и поэтому желательно его устранить. Все это развитие наталкивается теперь на мощное препятствие. В определенный момент ребенок начинает понимать, что попытка устранить отца как соперника будет наказана им посредством кастрации. Из страха кастрации, то есть в интересах сохранения своей мужественности, он, стало быть, отказывается от желания обладать матерью и устранить отца. Поскольку это желание сохраняется в бессознательном, оно образует основу чувства вины. По нашему мнению, мы описали здесь нормальные процессы, нормальную судьбу так называемого эдипова комплекса; однако мы сделаем еще важное дополнение.

Дальнейшее осложнение возникает, когда у ребенка оказывается сильнее развитым тот конституциональный фактор, который мы называем бисексуальностью. В таком случае при угрозе мужественности посредством кастрации подкрепляется склонность отклониться в направлении женственности, поставить, скорее, себя на место матери и перенять ее роль как объекта любви для отца. Однако страх кастрации делает невозможным и это решение. Ребенок понимает, что вынужден пойти и на кастрацию, если хочет, чтобы отец любил его как женщину. Таким образом, оба побуждения, ненависть к отцу, равно как и влюбленность в отца, подвергаются вытеснению. Известное психологическое различие заключается в том, что от ненависти к отцу отказываются из страха перед внешней опасностью (кастрацией); влюбленность же в отца трактуется как внутренняя опасность, исходящая

от влечения, которая в сущности все-таки сводится к той же самой внешней опасности.

Именно страх перед отцом делает ненависть к отцу неприемлемой; кастрация пугает и как наказание, и как плата за любовь. Из двух факторов, вытесняющих ненависть к отцу, первый, непосредственный страх наказания и кастрации, можно назвать нормальным; патогенное усиление, по-видимому, добавляется другим фактором, страхом перед женственной установкой. Таким образом, сильно выраженная бисексуальная предрасположенность становится одним из условий или подкреплений невроза. Наличие таковой, несомненно, можно предположить у Достоевского, и в приемлемой форме (скрытой гомосексуальности) она проявляется в значимости мужской дружбы для его жизни, в его своеобразно нежном отношении к соперникам в любви и в его превосходном понимании ситуаций, которые объясняются лишь вытесненной гомосексуальностью, как это показывают многочисленные примеры из его новелл.

Я сожалею, но не могу этого изменить, если эти рассуждения об установках ненависти и любви к отцу и их превращениях под влиянием угрозы кастрации покажутся читателю, не сведущему в психоанализе, безвкусными и неправдоподобными. Сам я склонен предположить, что именно комплекс кастрации вызовет всеобщее отвержение. Но я могу только заверить, что именно эти отношения психоаналитический опыт не подвергает никакому сомнению и видит в них ключ к пониманию любого невроза. Его мы должны попробовать применить и к так называемой эпилепсии нашего писателя. Но как чужды нашему сознанию вещи, во власти которых находится наша бессознательная душевная жизнь. Тем, что было сказано ранее, последствия вытеснения ненависти к отцу в эдиповом комплексе не исчерпываются. В качестве нового добавляется то, что идентификация с отцом в конечном счете все-таки добивается прочного места в Я. Она включается в Я, но в качестве особой инстанции противостоит в нем другому содержанию Я. В таком слу-

чае мы называем ее Сверх-Я и приписываем ей, наследнице родительского влияния, важнейшие функции.

Если отец был суров, груб, жесток, то Сверх-Я перенимает от него эти свойства, и в его отношении к Я вновь устанавливается пассивность, которую как раз и надо было вытеснить. Сверх-Я стало садистским, Я становится мазохистским, то есть по существу женственно пассивным. В Я возникает сильнейшая потребность в наказании, которая отчасти как таковая готова подчиниться судьбе, отчасти находит удовлетворение в грубом обращении со стороны Сверх-Я (сознание вины). Ведь всякое наказание, в сущности, представляет собой кастрацию и в этом качестве реализацию давней пассивной установки к отцу. Да и судьба — это, в конечном счете, лишь более поздняя проекция отца.

Нормальные процессы при формировании совести, должно быть, похожи на изображенные здесь патологические. Нам пока еще не удалось провести между ними разграничение. Замечено, что наибольшая доля в конечном результате принадлежит здесь пассивным компонентам вытесненной женственности. Кроме того, в качестве акцидентного фактора должно иметь значение то, действительно ли всякий раз внушающий страх отец особо жесток и в реальности. Это относится и к Достоевскому, а факт его чрезвычайного чувства вины, а также его мазохистского образа жизни мы сведем к особенно сильным женственным компонентам. Таким образом, формула для Достоевского такова: человек с особенно сильной бисексуальной предрасположенностью, способный с особенной интенсивностью защищаться от зависимости от особенно сурового отца. Это свойство бисексуальности мы добавляем к ранее выявленным компонентам его поведения. Возникший в раннем возрасте симптом «припадков смерти» можно, стало быть, понимать как допущенную в качестве наказания со стороны Сверх-Я идентификацию Я с отцом. Ты хотел убить отца, чтобы самому быть отцом. Что ж, ты отец, но мертвый отец; обычный механизм истерических симптомов. И при этом: теперь тебя

умертвит отец. Для Я симптом смерти — это удовлетворение в фантазии мужского желания и одновременно мазохистское удовлетворение; для Сверх-Я — это удовлетворение потребности наказывать, то есть садистское удовлетворение. И то и другое, Я и Сверх-Я, продолжают играть роль отца. В общем и целом отношение между персоной и отцовским объектом при сохранении своего содержания превратилось в отношение между Я и Сверх-Я, новая постановка на второй сцене. Такие инфантильные реакции, проистекающие из эдипова комплекса, могут затухнуть, если реальность в дальнейшем их не подпитывает. Однако характер отца остается таким же; нет, с годами он ухудшается, а потому сохраняется и ненависть Достоевского к отцу, его желание, чтобы этот плохой отец умер. Когда реальность исполняет такие вытесненные желания, возникает опасность. Фантазия стала реальностью, все защитные меры теперь усиливаются. Теперь припадки Достоевского принимают эпилептический характер, они по-прежнему, разумеется, означают идентификацию с отцом в качестве наказания, но стали такими же страшными, как ужасная смерть самого отца. Какое содержание, в особенности сексуальное, к ним еще добавилось — об этом догадаться нельзя.

Примечательно одно: в ауре припадка переживается момент высшего блаженства, который вполне мог зафиксировать триумф и освобождение при известии о смерти, за чем сразу же следует тем более жестокое наказание. О такой последовательности триумфа и скорби, праздничного настроения и печали, мы догадались также у братьев первичной орды, убивших отца, и находим его повторение в церемонии тотемной трапезы[1]. Если верно, что в Сибири Достоевский был избавлен от припадков, то это лишь подтверждает, что припадки были его наказанием. Он в них уже не нуждался, когда был наказан иначе. Однако это недоказуемо. Такая необходимость наказания для душевной экономики Достоевского скорее делает ясным, что он прошел через

[1] См. «Тотем и табу» (1912–1913), статья IV, раздел 5.

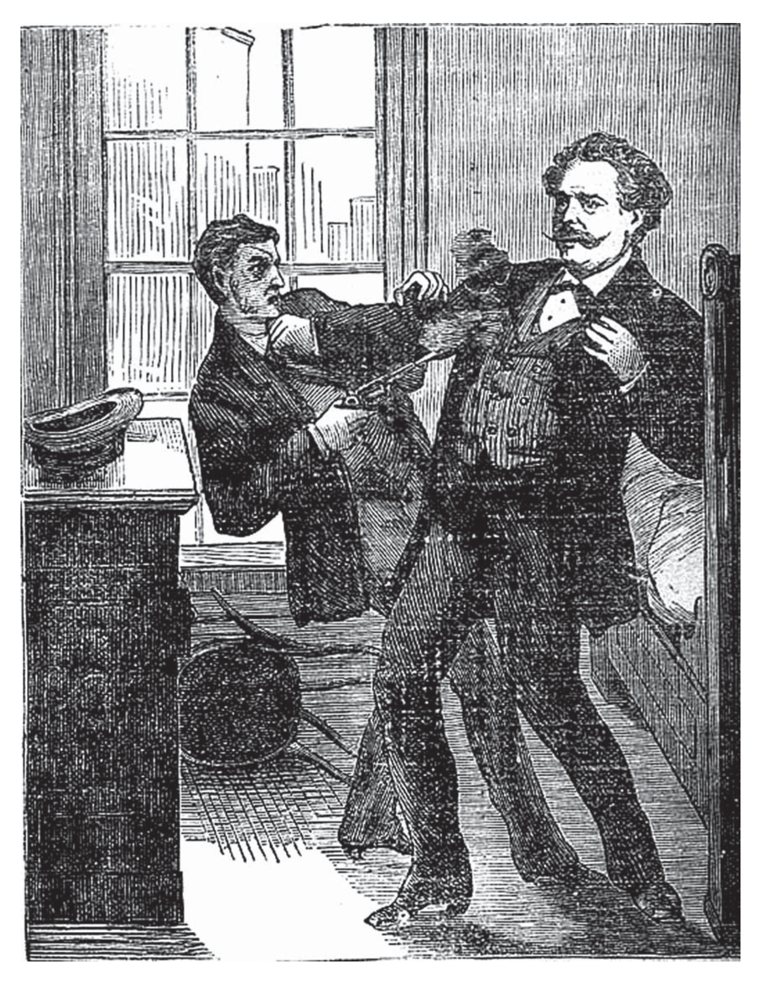
эти годы бедствий и унижений несломленным. Осуждение Достоевского как политического преступника было несправедливым, он должен был это знать, но он принял незаслуженное наказание со стороны батюшки-царя как замену наказания, которое заслужил своим грехом перед настоящим отцом. Вместо самонаказания он дал себя наказать заместителю отца. Здесь можно увидеть частичную психологическую оправданность наказаний, налагаемых обществом. Действительно, большие группы преступников стремятся к наказанию. Его требует их Сверх-Я, тем самым избавляя себя от того, чтобы самому их наказывать[1].

Тот, кто знает сложную смену значения истерических симптомов, поймет, что здесь не предпринимается попытка доискаться до смысла припадков Достоевского, который они приобрели впоследствии.

См. «Тотем и табу». Лучшие сведения о смысле и содержании своих припадков дает сам Достоевский, когда сообщает своему другу Н. Страхову, что его раздражительность и депрессия после эпилептического припадка объясняются тем, что он кажется себе преступником и не может избавиться от чувства того, будто он взвалил на себя не известную ему вину, совершил великое злодеяние, которое его угнетает. В таких жалобах психоанализ усматривает часть понимания «психической реальности» и старается довести эту неизвестную вину до сознания.

Достаточно того, что можно предположить, что после всех последующих напластований их первоначальный смысл остался неизменным. Можно сказать, что Достоевский так никогда и не избавился от угрызений совести из-за намерения отцеубийства. Оно также определило его отношение к двум другим областям, в которых отношение к отцу является решающим, — к государственному авторитету и к вере в Бога. В первой он пришел к полному подчинению царю-батюшке, некогда и в самом деле разыгравше-

[1] Ср. «Преступники из сознания вины», третье эссе в работе Фрейда «Некоторые типы характера из психоаналитической практики».



му с ним комедию умерщвления, которое так часто имели обыкновение изображать его припадки. Здесь верх взяло покаяние. В религиозной области у него осталось больше свободы; по кажущимся достоверными сведениям он, должно быть, до последнего мгновения своей жизни колебался между набожностью и атеизмом. Его величайший интеллект не позволял ему не замечать тех или иных логических затруднений, к которым приводит набожность. В ин-

дивидуальном повторении всемирно-исторического развития он надеялся в идеале Христа найти выход и избавление от вины, использовать сам недуг, чтобы притязать на роль Христа. Если, в общем и целом, он не пришел к свободе и стал революционером, то это случилось потому, что общечеловеческая сыновняя вина, покоящаяся на религиозном чувстве, достигла у него надындивидуальной силы и осталась непреодолимой даже для его огромного интеллекта. Здесь мы навлекаем на себя упрек в том, что отказываемся от беспристрастности анализа и подвергаем Достоевского оценкам, оправданным лишь с пристрастной позиции определенного мировоззрения. Консерватор принял бы сторону Великого инквизитора и судил бы о Достоевском иначе. Упрек справедлив, для его ослабления можно только сказать, что решение Достоевского, по-видимому, определяется торможением его мышления вследствие невроза.

Едва ли случайно, что три шедевра литературы всех времен разрабатывают одну и ту же тему, тему отцеубийства: «Царь Эдип» Софокла, «Гамлет» Шекспира и «Братья Карамазовы» Достоевского. Во всех трех обнажается и мотив злодеяния, сексуальное соперничество из-за женщины. Самым откровенным, конечно, является изображение в драме, примыкающей к греческому сказанию. Здесь еще сам герой совершает деяние. Но без смягчения и маскировки поэтическая обработка невозможна. Неприкрытое признание в намерении отцеубийства, на которое мы нацелены в анализе, по-видимому, без аналитической подготовки невыносимо. В греческой драме необходимое ослабление при сохранении состава преступления мастерски осуществляется тем, что бессознательный мотив героя проецируется в реальность в качестве чуждого ему принуждения судьбы. Герой совершает деяние непреднамеренно и якобы без влияния женщины, однако эта взаимосвязь учитывается, поскольку он может за-

воевать мать-царицу только после повторения деяния по отношению к чудовищу, символизирующему отца. После того как его вина раскрылась и стала осознанной, не следует попытки свалить ее с себя, обращаясь к вспомогательной конструкции в виде принуждения судьбы, а она признается и карается как полновесная сознательная вина, что разуму должно показаться несправедливым, но психологически абсолютно корректно. Изображение в английской драме не столь прямое, поступок совершил не сам герой, а другой человек, для кого он отцеубийства не означает. Поэтому предосудительному мотиву сексуального соперничества из-за женщины не нужно маскироваться. Да и эдипов комплекс героя мы видим словно в отраженном свете, поскольку мы узнаем воздействие на него поступка другого человека. Он должен был отомстить, но странным образом находит себя не способным на это. Мы знаем, что парализует его чувство вины; совершенно типичным для невротических процессов образом чувство вины смещается на восприятие своей недостаточности для выполнения этой задачи. Проявляются признаки того, что герой воспринимает эту вину как надындивидуальную. Он презирает других не меньше, чем себя самого. «Если обходиться с каждым по заслугам, кто уйдет от порки?»1. В этом направлении роман русского идет еще дальше. Также и здесь убийство совершил другой человек, но тот, кто находился с убитым в тех же самых сыновних отношениях, как и герой Дмитрий, у которого мотив сексуального соперничества признается открыто, другой брат, которого Достоевский примечательным образом наделил своей собственной болезнью, мнимой эпилепсией, словно хотел признаться, что эпилептик, невротик во мне и есть отцеубийца. И тут в речи защитника перед судом звучит знаменитая ирония по поводу психологии, что она, мол, палка о двух концах. Великолепная маскировка, ибо ее нужно только вывернуть наизнан-

1 «Гамлет», акт II, 2-я сцена. Пер. Б. Пастернака.

ку, чтобы найти глубочайший смысл точки зрения Достоевского. Не психология заслуживает насмешки, а метод судебного дознания. Ведь совершенно неважно, кто на самом деле совершил деяние, для психологии имеет значение только тот, кто хотел этого в своем чувстве, а когда оно произошло, его приветствовал, и поэтому все братья, вплоть до контрастной фигуры Алеши, одинаково виновны: импульсивный сластолюбец, скептический циник и эпилептический преступник. В «Братьях Карамазовых» есть в высшей степени характерная для Достоевского сцена. В беседе с Дмитрием старец осознал, что тот таит в себе готовность к отцеубийству, и бросается перед ним на колени. Это не может быть выражением восхищения, это должно означать, что святой отказывается от искушения презирать или ненавидеть убийцу и поэтому склоняется перед ним. Симпатия Достоевского к преступнику поистине безгранична, она выходит далеко за пределы сочувствия, на которое притязает несчастный, напоминает благоговение, с которым в древности относились к эпилептикам и душевнобольным. Преступник для него — чуть ли не избавитель, взявший на себя вину, которую в противном случае должны были бы нести другие. Уже нет надобности убивать, после того как он убил, но надо быть ему благодарным за это, иначе пришлось бы убивать самому. Это не просто милосердное сострадание, это идентификация на основе одинаковых импульсов к убийству — собственно говоря, незначительно смещенный нарцизм. Этическая ценность такой доброты не должна этим оспариваться. Быть может, это вообще механизм милосердного участия к другому человеку, который особенно легко разглядеть в крайнем случае писателя, оказавшегося во власти сознания вины. Нет сомнения в том, что эта симпатия на основе идентификации в решающей степени определила выбор сюжета у Достоевского. Но вначале он изображал обычного преступника — из корыстолюбия, — политического и религиозного пре-

ступника, прежде чем в конце своей жизни вернуться к первопреступнику, отцеубийце, и сделать на нем свое поэтическое признание.

Публикация его наследия и дневников его жены ярко осветила один эпизод в его жизни, время, когда Достоевский был в Германии одержим страстью к игре. Явный приступ патологической страсти, который нельзя было расценить иначе ни с какой стороны. Не было недостатка в рационализациях этого странного и недостойного поведения. Чувство вины, как это нередко бывает у невротиков, создало себе осязаемое представительство через бремя долгов, и Достоевский мог приводить в оправдание, что через выигрыш хочет получить возможность вернуться в Россию, не опасаясь быть заключенным своими кредиторами в тюрьму. Но это был лишь предлог, Достоевский был достаточно проницателен, чтобы это понимать, и достаточно честен, чтобы в этом признаться. Он знал, что главным была игра сама по себе, *le jeu pour le jeu*[1].

«Главное — сама игра, — писал он в частном письме. — Клянусь вам, дело вовсе не в корыстолюбии, хотя я, конечно, прежде всего нуждался в деньгах».

Все детали его продиктованного влечением безрассудного поведения это доказывают и еще нечто другое. Он никогда не успокаивался, пока не терял всего. Игра была для него также способом самонаказания. Бесчисленное множество раз он давал своей молодой жене слово или слово чести не играть больше или не играть больше в этот день, и, как она говорит, почти всегда его нарушал. Когда проигрышами он доводил себя и ее до крайней нищеты, то извлекал из этого второе патологическое удовлетворение. Он мог перед нею поносить себя, унижаться, просить ее его презирать, сожалеть, что она вышла замуж за него, старого грешника, и после этого облегчения совести на следующий день игра продолжалась. А молодая жена привыкла к этому циклу, поскольку заметила, что литературная работа, то,

[1] Игра ради игры (*фр.*).

от чего на самом деле единственно можно было ждать спасения, никогда не продвигалась лучше, чем после того, как они все теряли и закладывали свое последнее имущество. Разумеется, взаимосвязи она не понимала. Когда его чувство вины утолялось наказаниями, которые он сам на себя налагал, его торможение в работе пропадало, тогда он позволял себе сделать несколько шагов на пути к успеху.

О том, какая часть давно засыпанной детской жизни добивается повторения в навязчивой игре, можно без труда догадаться, опираясь на новеллу одного более молодого писателя. Стефан Цвейг, посвятивший, кстати, один этюд самому Достоевскому («Три мастера» (1920)), в своем сборнике из трех новелл под названием «Смятение чувств» (1927) рассказывает историю, которую он озаглавил «Двадцать четыре часа из жизни женщины». Этот маленький шедевр хочет лишь показать, насколько безответственным существом является женщина, к каким неожиданным для нее самой выходкам может ее подтолкнуть неожиданное жизненное впечатление. Однако новелла, если подвергнуть ее аналитическому толкованию, говорит гораздо больше, изображает без такой извиняющей тенденции нечто совершенно иное, общечеловеческое или, скорее, мужское, и подобное толкование напрашивается столь настоятельно, что от него нельзя отмахнуться. Для природы художественного творчества характерно, что писатель, с которым мы в дружбе, в ответ на мои вопросы меня уверял, что сообщенное ему толкование было полностью чуждо его знанию и намерению, хотя в этот рассказ вплетены многие детали, кажущиеся рассчитанными именно на то, чтобы указать на тайный след. В новелле Цвейга одна благородная пожилая дама рассказывает писателю о событии, коснувшемся ее более двадцати лет назад. Рано овдовевшая мать двоих сыновей, которые в ней больше не нуждались, отказавшаяся от всех надежд в жизни, на своем сорок втором году жизни во время своих бесцельных стран-



ствий попадает в игорный зал казино в Монако, и среди всех удивительных впечатлений от этого места она вскоре оказалась очарована видом двух рук, с потрясающей откровенностью и интенсивностью выдававших, казалось, все ощущения горемычного игрока. Эти руки принадлежали красивому юноше — писатель словно непреднамеренно дает ему возраст первого сына зрительницы, — который, после того как все проиграл, в глубочайшем отчаянии покидает зал, видимо, чтобы в парке покончить со своей безысходной жизнью. Необъяснимая симпатия заставляет ее последовать за ним и предпринять все попытки для его спасения. Он принимает ее за одну из столь многочисленных в этом городе навязчивых женщин и хочет от нее отделаться, но она остается с ним и самым естественным образом считает себя обязанной разделить с ним его кров в отеле, а в конце концов и его постель. После этой импровизированной любовной ночи она заставляет вроде бы успокоившегося юношу самым торжественным образом поклясться, что он никогда не будет снова играть, снабжает его деньгами, чтобы он мог вернуться домой, и обещает встретиться с ним на вокзале перед отходом поезда. Но затем у нее пробуждается огромная неж-

ность к нему, она хочет всем пожертвовать, чтобы его удержать, решает путешествовать вместе с ним, вместо того чтобы с ним распрощаться. Превратные случайности задерживают ее, в результате чего она опаздывает на поезд; тоскуя по исчезнувшему, она снова заходит в игорный зал и в ужасе видит там те же руки, вначале воспламенившие ее симпатию; забывший о долге вернулся к игре. Она напоминает ему о его обещании, но, одержимый страстью, он бранит мешающую игре, велит ей уходить и бросает ей деньги, которыми она хотела его купить. Испытывая глубочайший стыд, она вынуждена бежать, а впоследствии узнает, что ей не удалось уберечь его от самоубийства.

Эта с блеском рассказанная, безупречно мотивированная история, разумеется, жизнеспособна сама по себе и, несомненно, оказывает огромное воздействие на читателя. Однако анализ показывает, что первопричиной ее создания является фантазия-желание пубертатного возраста, которая у иных людей сознательно вспоминается сама по себе. Фантазия гласит: пусть мать сама введет юношу в сексуальную жизнь, чтобы спасти его от внушающих страх вредностей онанизма. Столь часто встречающиеся художественные произведения об избавителе имеют ту же самую первопричину. «Порок» онанизма заменяется пороком страсти к игре, подчеркивание страстной активности рук выдает это происхождение. Действительно, одержимость игрой является эквивалентом давнего навязчивого онанизма: манипуляции с гениталиями в детском возрасте другим словом, кроме как слово «игра», не назывались. Невозможность противостоять искушению, святые и все же никогда не выполняемые намерения впредь этого не делать, дурманящее удовольствие и нечистая совесть, желание погубить себя (самоубийство) — все это при замене осталось неизменным. Правда, новелла Цвейга рассказывает о матери, а не о сыне. Должно быть, сыну лестно думать: «Если бы мать знала, каким опасностям подвергает

меня онанизм, она, несомненно, спасла бы меня от них, позволив мне всячески ласкать ее тело». Уравнивание матери с девкой, осуществляемое юношей в новелле Цвейга, входит во взаимосвязь той же фантазии. Оно делает недоступное легко достижимым; нечистая совесть, сопровождающая эту фантазию, определяет печальный конец художественного произведения. Интересно также отметить, как заданная писателем внешняя форма новеллы пытается скрыть ее аналитический смысл. Ибо довольно сомнительно, чтобы любовная жизнь женщины находилась во власти неожиданных и загадочных импульсов. Анализ скорее раскрывает достаточную мотивацию для неожиданного поведения женщины, доселе отказывавшейся от любви. Верная памяти своего умершего супруга, она вооружилась против всех сходных с ним притязаний, но — в этом фантазия сына сохраняет свою правоту — как матери ей не удалось избежать совершенно не осознаваемого ею переноса любви на сына, и в этом неохраняемом месте ее подстерегает судьба. Если страсть к игре вместе с безуспешными попытками от нее избавиться и ее поводы к самонаказанию представляют собой повторение онанизма, то мы не будем удивляться тому, что в жизни Достоевского она завоевала такое большое пространство. Ведь мы не встречаем ни одного случая тяжелого невроза, в котором аутоэротическое удовлетворение не играло бы своей роли в раннем детстве и в пубертате, а отношения между попытками его подавить и страхом перед отцом известны слишком хорошо, чтобы потребовалось больше одного этого упоминания.

Большинство представленных здесь мнений содержится также в опубликованном в 1923 году прекрасном сочинении Иолана Нейфельда «Достоевский, наброски к его психоанализу».

О сновидении

Текст печатается по изданию:
Фрейд З. Психология бессознательного:
Сб. произведений / под ред. М.Г. Ярошевского. — М., 1990.

I

Во времена, которые мы могли бы назвать преднаучными, люди не затруднялись в объяснении сновидения. Вспоминая его по пробуждении, они смотрели на него как на хорошее или дурное предзнаменование со стороны высших божественных или демонических сил. С расцветом естественнонаучного мышления вся эта остроумная мифология превратилась в психологию, и в настоящее время лишь весьма немногие из образованных людей сомневаются в том, что сновидение является продуктом психической деятельности самого видящего сон.

Но с отпадением мифологической гипотезы сновидение стало нуждаться в объяснении. Условия возникновения сновидений, отношение последних к душевной жизни во время бодрствования, зависимость их от внешних раздражений во время сна, многие чуждые бодрствующему сознанию странности содержания сновидения, несовпадение между его образами и связанными с ними аффектами, наконец, быстрая смена картин в сновидении и способ их смещения, искажения и даже выпадения из памяти наяву — все эти и другие проблемы уже много сотен лет ждут удовлетворительного решения. На первом плане стоит вопрос о значении сновидения — вопрос, имеющий двоякий смысл: во-первых, дело идет о выяснении психического значения сновидения, связи его с другими душевными процессами и о его биологической функции; во-вторых, желательно знать, возможно ли толковать сновидение и имеет ли каждый элемент его содержания какой-нибудь «смысл», как мы привыкли это находить в других психических актах.

В оценке сновидения можно заметить три направления. Одно из них, которое является как бы отзвуком господствовавшей прежде переоценки сновидения, находит себе выражение у некоторых философов, которые кладут в основу сновидения особенное состояние душевной деятельности, рассматриваемое ими даже как более высокая ступень в развитии духа; так, например, Шуберт утверждает, будто сновидение явля-

ется освобождением духа от гнета внешней природы, освобождением души из оков чувственного мира. Другие мыслители не идут так далеко, но твердо держатся того мнения, что сновидения по существу своему проистекают от психических возбуждений и тех душевных сил, которые в течение дня не могут свободно проявляться (фантазия во сне — Шернер, Фолькельт). Многие наблюдатели приписывают сновидению способность к особо усиленной деятельности — по крайней мере в некоторых сферах, например в области памяти.

В противоположность этому мнению, большинство авторов-врачей придерживается того взгляда, что сновидение едва ли заслуживает названия психического проявления; по их мнению, побудителями сновидения являются исключительно чувственные и телесные раздражения, либо приходящие к спящему извне, либо случайно возникающие в нем самом; содержание сна, следовательно, имеет не больше смысла и значения, чем, например, звуки, вызываемые десятью пальцами несведущего в музыке человека, когда они пробегают по клавишам инструмента. Сновидение, согласно этому воззрению, нужно рассматривать как «телесный, во всех случаях бесполезный и во многих — болезненный процесс» (Винц). Все особенности сновидений объясняются бессвязной и вызванной физиологическими раздражениями работой отдельных органов или отдельных групп клеток погруженного в сон мозга.

Мало считаясь с этим мнением науки и не интересуясь вопросом об источниках сновидения, народная молва, по-видимому, твердо верит в то, что сон все-таки имеет смысл предзнаменования, сущность которого может быть раскрыта посредством какого-либо толкования. Применяемый с этой целью метод толкования заключается в том, что вспоминаемое содержание сновидения замещается другим содержанием — либо по частям на основании твердо установленного ключа, либо все содержание сновидения целиком заменяется каким-либо другим целым, по отношению к которому первое явля-

ется символом. Серьезные люди обыкновенно смеются над этими стараниями: «сны — это пена морская».

II

К своему великому изумлению, я однажды сделал открытие, что ближе к истине стоит не взгляд врачей, а взгляд профанов, наполовину окутанный еще предрассудками. Дело в том, что я пришел к новым выводам относительно сновидения, после того как применил к последнему новый метод психологического исследования, оказавший уже мне большую услугу при решении вопросов о разного рода фобиях, навязчивых и бредовых идеях и пр. Многие исследователи-врачи справедливо указывали на многообразные аналогии между различными проявлениями душевной жизни во время сна и различными состояниями при психических заболеваниях наяву; так что мне уже заранее представлялось небесполезным применить к объяснению сновидения тот способ исследования, который оказал услуги при анализе психопатических явлений. Навязчивые идеи и идеи страха так же чужды нормальному сознанию, как сновидения — бодрствующему; происхождение тех и других для нашего сознания одинаково непонятно. Что касается представлений, то выяснять их источник и способ возникновения побуждал нас практический интерес; опыт показал, что выяснение скрытых от сознания путей, связывающих болезненные идеи с остальным содержанием сознания, дает возможность овладеть навязчивыми идеями и равносильно устранению их. Таким образом, примененный мною к объяснению сновидений способ берет свое начало в психотерапии.

Описать его легко, но пользоваться им можно лишь после известного навыка. Когда хотят применить этот способ к другому лицу, например к страдающему страхом больному, то последнему предлагают обыкновенно сосредоточить все внимание на своей болезненной идее, но не размышлять о ней, как он это часто делает, а стараться выяснить себе и сообщить тотчас врачу все без

исключения мысли, которые ему приходят в голову по поводу данной идеи. Если больной станет утверждать, что его внимание ничего не может уловить, то необходимо энергично заявить, что такого рода отсутствие круга представлений совершенно невозможно. Действительно, вскоре у больного начинает всплывать ряд идей, за которыми следуют новые идеи; однако больной, производящий самонаблюдение, при этом обыкновенно заявляет, что выплывающие у него идеи бессмысленны или неважны, не относятся к делу и пришли ему в голову совершенно случайно, без всякой связи с данной задачей. Уже теперь можно заметить, что именно эта критика со стороны больного была причиной того, что данные идеи не высказывались и даже не сознавались им. Поэтому если удается заставить больного отказаться от всякой критики по поводу приходящих в голову мыслей и продолжать отмечать мысленные ряды, выплывающие при напряженном внимании, то можно получить достаточный психический материал, который явно примыкает к взятой в качестве задачи болезненной идее, обнаруживает связь последней с другими идеями и дает возможность при дальнейшем исследовании заместить болезненную идею какой-либо новой, вполне гармонирующей с остальным содержанием психики.

Здесь я не могу подробно останавливаться на лежащих в основе этого опыта предпосылках и на выводах, которые можно сделать из его постоянных успехов; можно только указать, что всегда возможно получить достаточный для исчезновения болезненной идеи материал, если обращать внимание именно на «нежелаемые» ассоциации, «мешающие мышлению» и отстраняемые обыкновенно самокритикой больного, как бесполезный хлам. Когда желают применить этот метод к самому себе, необходимо при исследовании немедленно записывать все приходящие случайно в голову и непонятные сначала мысли.

Теперь посмотрим, к каким результатам приводит использование изложенного метода при исследовании

сновидений. Для этого пригоден любой пример. Однако по определенным мотивам я возьму свое собственное сновидение, краткое по содержанию и в воспоминании представляющееся мне неясным и бессмысленным; содержание его, записанное мною немедленно по пробуждении, следующее:

«Общество за столом или табльдотом. Едят шпинат… Г-жа Е. Л. сидит рядом со мною, вся повернувшись ко мне, и дружески кладет руку мне на колено. Я, отстраняясь, удаляю ее руку. Тогда она говорит: "А у вас всегда были такие красивые глаза…" После этого я неясно различаю как бы два глаза на рисунке или как бы контур стеклышка от очков…» Это — все сновидение или, по крайней мере, все, что я могу о нем вспомнить. Оно кажется мне неясным и бессмысленным, а больше всего странным. Г-жа — Е. Л. — женщина, с которой я был просто знаком и, насколько я сознаю, близких отношений никогда не желал; я уже давно не видел ее и не думаю, чтобы в последние дни о ней шла речь. Сновидение мое не сопровождалось никакими эмоциями; размышление о нем не делает мне его более понятным.

Теперь я без определенного намерения и без всякой критики буду отмечать приходящие мне в голову мысли, выплывающие при самонаблюдении; для этого полезно разложить сновидение на элементы и отыскивать примыкающие к каждому из них мысли.

Общество за столом или табльдотом. С этим связывается воспоминание о небольшом переживании, имевшем место вчера вечером. Я ушел из маленького общества в сопровождении друга, который предложил взять карету и отвезти меня домой. «Я, — сказал он, — предпочитаю карету с таксометром; это так занимательно: всегда имеешь перед собой что-то, на что можно глядеть». Когда мы сели в карету и кучер устанавливал таксометр, так что стали видны первые шестьдесят геллеров, я продолжил его шутку: «Мы только сели и уже должны ему шестьдесят геллеров». Карета с таксометром напоминает мне всегда табльдот; она делает меня скупым и эгоис-

тичным, ибо непрестанно говорит о моем долге; мне все кажется, что долг слишком быстро растет, и я опасаюсь, что мне не хватит денег, подобно тому, как за табльдотом я не могу отделаться от смешного опасения, будто я получу слишком мало, если не буду заботиться о своей выгоде. В отдаленной связи с этим я продекламировал: «Вы сами жизнь даете нам; бедного вы делаете должником».

Другая возникшая у меня мысль по поводу табльдота: несколько недель тому назад за общим столом в гостинице одного тирольского горного курорта я сердился на свою жену за то, что она, по моему мнению, была недостаточно официальна с некоторыми соседями, с которыми я не хотел иметь ничего общего. Я просил ее интересоваться больше мною, чем посторонними. Это — все равно, как будто меня обошли за табльдотом. Теперь мне приходит в голову противоположность между поведением моей жены за столом и поведением в моем сновидении г-жи Е. Л., которая вся повернулась ко мне.

Далее: я замечаю, что сновидение является воспроизведением небольшой сцены, происшедшей между мной и моей женой еще до женитьбы, во время моего ухаживания за ней. Нежное пожатие руки под скатертью послужило ответом на мое письмо с серьезным предложением. Но в сновидении жена моя замещена чуждой мне г-жой Е. Л.

Г-жа Е. Л. — дочь одного господина, которому я был должен. Не могу при этом не заметить, что здесь обнаруживается неожиданная связь между элементами сновидения и приходящими мне в голову мыслями. Если следовать за цепью ассоциаций, которые вытекают из какого-либо элемента содержания сновидения, то можно скоро прийти к другому элементу этого же содержания. Мысли, приходящие в голову по поводу сновидения, восстанавливают те связи, которые в самом сновидении не видны.

Когда кто-либо полагает, что другие станут заботиться о нем без всякой пользы для себя, разве не предполагают обыкновенно задать такому простаку иронический

вопрос: «Что же вы думаете, что то или иное делается ради ваших прекрасных глаз?» С этой точки зрения слова г-жи Е. Л. в сновидении: «У вас всегда были такие прекрасные глаза» — означают не что иное, как: «Люди вам всегда оказывали услуги; вы все даром получали». Конечно, в действительности всегда было наоборот: за все то хорошее, что мне делали другие, я платил дорого; но, по-видимому, на меня все-таки произвело впечатление то обстоятельство, что мне вчера даром досталась карета, в которой мой друг отвез меня домой.

Кроме этого, приятель, у которого мы вчера были в гостях, часто заставлял меня оставаться перед ним в долгу; лишь недавно я не воспользовался случаем отплатить ему. Между прочим, у него имеется единственный подарок от меня — античная чаша с нарисованными по краям ее глазами для защиты от «дурного глаза». Кстати, приятель этот — глазной врач; в этот же вечер я спрашивал его о пациентке, которую направил к нему для подбора очков.

Я замечаю, что почти все отрывки сновидения приведены в новую связь. Однако вполне естественно было бы спросить, почему в сновидении на столе фигурирует именно шпинат? Дело в том, что шпинат напоминает мне маленькую сцену, происшедшую недавно за нашим семейным столом, когда мой ребенок — как раз тот, у которого действительно красивые глаза, — отказывался есть шпинат. В детстве я точно так же вел себя: шпинат долгое время был мне противен, пока мой вкус не изменился и зелень эта сделалась моим любимым блюдом; воспоминание о последнем сближает, следовательно, мои вкусы в детстве с вкусами моего ребенка. «Будь доволен, что у тебя есть шпинат, — сказала мать маленькому гурману, — есть дети, которые были бы очень рады и этому кушанью». Это течение мыслей напоминает мне об обязанностях родителей по отношению к детям, и в этой связи слова Гёте: «Вы сами жизнь даете нам; бедного вы делаете должником» — приобретают новый смысл.



Ребенок пробует еду на вкус

Здесь я остановлюсь, чтобы рассмотреть полученные до сих пор результаты анализа сновидения. Следуя за ассоциациями, выплывающими непосредственно за отдельными вырванными из общей связи элементами сновидения, я пришел к ряду мыслей и воспоминаний, которые обнаруживают значимые переживания моей душевной жизни. Этот добытый посредством анализа сновидения материал находится в тесной связи с содержанием сновидения, но связь эта все-таки такова, что я никогда не мог бы получить этот новый материал из самого содержания сновидения. Сновидение не сопровождалось никакими эмоциями, было бессвязно и непонятно; однако когда всплывают скрытые в сновидении мысли, я испытываю сильные и вполне обоснованные эмоции. Мысли сами соединяются в логически связанные ряды, в центре которых повторно появляются некоторые представления; в нашем примере такими не выступающими в самом сновидении представлениями являются противоположности: своекорыстное — бескорыстное и быть должным — делать даром. В этой полученной из анализа ткани я мог бы крепче стянуть нити и показать, что последние сходятся в одном общем узле; но соображения не научного, а частного характера не позволяют мне произвести эту работу публично: дело в том, что я вынужден был бы тогда сообщать многое из того, что должно остаться моей тайной, так как при анализе своего сновидения я уяснил себе такие факты, в которых неохотно признаюсь самому себе. Но почему в таком случае я не изберу для анализа другое сновидение, чтобы анализ его мог скорее убедить в точности смысла и правильности связи полученного из него материала? На это можно ответить, что каждое сновидение, которым я займусь, неизбежно приведет меня к тем же неохотно сообщаемым фактам и побудит к такому же умалчиванию. Этого затруднения я не избежал бы также и в том случае, если бы стал анализировать сновидение другого лица; разве только обстоятельства позво-

лили бы отбросить всякие умалчивания без вреда для доверяющегося мне лица.

Уже теперь приходит в голову идея, что сновидение является как бы заместителем того богатого чувствами и содержанием хода мыслей, к которому мы пришли после анализа. Я еще не знаю процесса, путем которого из этих мыслей возникло данное сновидение, но я вижу, что неправильно рассматривать это сновидение как чисто телесное, психически незначимое явление, возникшее будто бы благодаря изолированной деятельности отдельных групп клеток спящего мозга.

Кроме того, я замечаю еще две вещи: во-первых, содержание сновидения гораздо короче тех мыслей, заместителем которых я его считаю, и, во-вторых, анализ обнаружил в качестве побудителя сновидения ничтожный случай, имевший место накануне вечером.

Я, конечно, не стал бы делать так далеко идущих выводов, если бы в моем распоряжении был анализ только одного сновидения; но опыт показал мне, что, следуя без критики за ассоциациями, я при анализе любого сновидения прихожу к такому же ряду мыслей, связанных между собой по смыслу и правильным образом. Вот почему не следует думать, что обнаруженная при первом анализе связь может оказаться случайным совпадением. Теперь я считаю себя вправе зафиксировать свою новую точку зрения в определенных терминах. Сновидение, как оно вспоминается мне, я противопоставляю полученному при анализе материалу и называю первое (т.е. сновидение) явным содержанием сновидения, а второй (т.е. материал) — пока без дальнейшего разграничения — скрытым содержанием сновидения. Теперь нам предстоит разрешить две новые задачи: 1) каков тот психический процесс, который превратил скрытое содержание сновидения в явное, знакомое мне по оставленному в памяти следу, и 2) каков тот или те мотивы, которые вызвали такое превращение? Процесс переработки скрытого содержания сновидения в явное я буду называть работой сновидения; противоположная этому работа,

ведущая к обратному превращению, знакома уже нам как работа анализа. Остальные проблемы сновидения — вопрос о побудителях сновидений, о происхождении их материала, о смысле и функции сновидений, о причинах забывания последних — все это я буду обсуждать при анализе не явного, а вновь обнаруженного скрытого содержания сновидения.

Так как все встречающиеся в литературе противоречивые и неправильные взгляды на сновидения можно объяснить незнакомством авторов со скрытым содержанием сновидения, которое может быть вскрыто только путем анализа, то я впредь самым тщательным образом буду избегать смешения явного сновидения со скрытыми его мыслями.

III

Превращение скрытых мыслей сновидения в явное его содержание заслуживает нашего полного внимания как первый пример перехода одного способа выражения психического материала в другой: из способа выражения, понятного нам без всяких объяснений, в такой способ, который становится понятным лишь с трудом и при наличии определенных указаний. Принимая во внимание отношение скрытого содержания сновидения к явному, можно разделить сновидения на три категории. Во-первых, мы различаем сновидения вполне осмысленные, понятные, т.е. допускающие без дальнейших затруднений объяснение их с точки зрения нашей нормальной душевной жизни. Таких сновидений много; они по большей части кратки и в общем кажутся нам не заслуживающими особого внимания, так как в них отсутствует все то, что могло бы пробудить наше удивление и показаться нам странным. Между прочим, существование таких сновидений является сильным аргументом против учения, которое объясняет возникновение сновидений изолированной деятельностью отдельных групп мозговых клеток: в этих сновидениях мы не находим никаких признаков пониженной или расстроенной психической

деятельности; тем не менее мы никогда не сомневаемся в том, что имеем дело со сновидениями, и не смешиваем их с продуктами бодрствующего сознания.

Суждение Фрейда о физиологии сновидений заслуживает снисхождения. Все-таки в его время представление о структуре сна было эмпирическим. Современные представления о природе сна сформировались только во второй половине прошлого века, после появления методов регистрации биоэлектрической активности мозга. Одним из главных достижений стало открытие быстрого сна, или парадоксального сна (REM-сон), сделанное в 1953 году Клейтманом и его аспирантом Асеринским. Именно эта фаза сна, как выяснилось, связана со сновидениями — предметом психоаналитического изучения Фрейда. В отличие от предшествующих этой фазе сна стадий медленного сна, когда в действительности наблюдается угнетение физической и психической активности, во время сновидений (REM-сна) мозг проявляет электрическую активность, схожую с состоянием бодрствования. В этом смысле Фрейд абсолютно прав в своем предположении, что в сновидениях нет признаков пониженной психической деятельности. Как и прав по поводу основной задачи сновидений — переработка информации, ее обмен между сознанием и подсознанием. В частности, если сон, преимущественно медленный, облегчает закрепление изученного материала и его запоминание, то быстрый сон реализует подсознательные модели ожидаемых событий. Но то, что физиология сна связана со скоплением отдельных нейронов, объединенных в три гипногенных центра, не мог бы на то время предположить даже такой проницательный ум, которым обладал Фрейд.

Другую группу образуют сновидения, которые, будучи связными и ясными по смыслу, все-таки кажутся нам странными, потому что мы не можем связать их смысл с нашей душевной жизнью. С таким случаем мы имеем дело, когда нам, например, снится, будто какой-то близкий родственник умер от чумы, между тем как у нас нет никаких оснований ожидать, опасаться или предполагать это; мы тогда спрашиваем себя с удивлением, от-



куда пришла нам в голову такая идея? Наконец, к третьей группе относятся сновидения, лишенные смысла и непонятные, т.е. представляющиеся нам бессвязными, спутанными и бессмысленными. Подавляющее большинство продуктов нашего сновидения обнаруживает такой именно характер, которым объясняются и презрительное отношение к сновидениям, и врачебная теория о сужении душевной деятельности во сне; тем более что в длинных и сложных построениях сновидений всегда усматриваются ясные признаки бессвязности.

Противопоставление явного и скрытого содержания сновидения, очевидно, имеет значение только для сновидений второй и еще более третьей категории; здесь мы встречаемся с загадками, которые исчезают лишь после замещения явного сновидения скрытыми его мыслями, и потому для приведенного выше анализа мы избрали в качестве примера такое именно спутанное и непонят-

ное сновидение. Однако, против всякого ожидания, мы столкнулись с мотивами, которые помешали нам вполне ознакомиться со скрытыми мыслями сновидения; вследствие же повторения подобных случаев и при других анализах мы пришли к предположению, что между непонятным и спутанным характером сновидения, с одной стороны, и затруднениями при сообщении скрытых мыслей сновидения — с другой, имеется какая-то интимная и закономерная связь. Прежде чем исследовать природу этой связи, полезно будет ознакомиться с более понятными сновидениями первой категории, в которых явное и скрытое содержание совпадают, т.е. которые обходятся без работы сновидения.

Исследование этих сновидений полезно еще с другой точки зрения. Сновидения детей всегда имеют такой именно характер, т.е. осмысленный и нестранный; между прочим, это обстоятельство является новым аргументом против объяснения сновидения расстроенной деятельностью мозга во время сна, ибо — почему у взрослого такое понижение психических функций нужно считать характерным для сонного состояния, а у ребенка не нужно? И мы вправе ожидать, что выяснение психических процессов у ребенка, у которого они значительно упрощены, окажется необходимой предварительной работой для ознакомления с психологией взрослого. Итак, я приведу несколько сновидений детей.

В связи с возрастными различиями и особенностями физического и эмоционального развития детские психические расстройства отделены от таковых у взрослых. Что касается сна, то его структура сильно подвержена возрастным изменениям и отличается у детей и взрослых. Фрейд, конечно же, не сводит сновидения у детей к упрощенному смыслу — реализации детских желаний в ночных фантазиях. В своих трудах он описывает детские сновидения, в том числе и свои, в которых прослеживается начало неврозов и комплексов, преследующих вплоть до взрослого возраста. Но тем не менее некоторые особенности сна были, возможно, не совсем ведомы Фрейду. Бла-

годаря электрофизиологическим методам исследования, недоступным во времена Фрейда, стало известно, что сновидения могут возникать и во время последней фазы медленного сна. Но только эти сны короче, не такие эмоциональные и, как правило, не воспроизводятся в памяти после пробуждения. И именно на этой стадии сна возможны приступы лунатизма, ночные ужасы, разговоры во сне и энурез у детей.

Девочку 19 месяцев от роду целый день держат на диете, так как ее утром рвало; по словам няни, она навредила себе земляникой. Ночью после этого голодного дня няня слышала, как девочка во сне называла свое имя и при этом прибавляла: «земляника, малина, яичко, каша». Ей, следовательно, снится, будто она ест, и из своего меню она указывает как раз на то, что в ближайшем будущем, по ее мнению, ей мало будут давать. Подобным же образом 22-месячному мальчику, который за день перед тем подарил своему дяде корзинку свежих вишен, отведав из них только несколько штук, снится запрещенный плод; он пробуждается с радостным известием: «Герман съел все вишни». Девочка в возрасте 3 лет и 3 месяцев совершила днем по озеру прогулку, которая показалась ей недостаточно продолжительной, и девочка при высаживании плакала. На другое утро она рассказала, что каталась ночью по озеру, т.е. продолжила прерванную прогулку. Пятилетний мальчик остался недоволен прогулкой пешком в окрестности горы Дахштейн; как только показывалась новая гора, он осведомлялся, не Дахштейн ли это, а затем отказался продолжить путь к водопаду. Его поведение приписывали усталости, но оно нашло лучшее объяснение, когда мальчик на следующее утро сообщил свой сон, будто он поднялся на гору Дахштейн. Очевидно, он полагал, что прогулка имеет целью подъем на Дахштейн, и потому был огорчен, когда ему не удалось увидеть желанную гору. Во сне он получил то, чего ему не дал день. Подобный же сон видела шестилетняя девочка, отец которой прервал прогулку с нею,

не дойдя до намеченной цели ввиду позднего времени. На обратном пути она обратила внимание на путевой столб, указывающий дорогу к другому месту прогулок, и отец пообещал повести ее туда в другой раз. На следующее утро она встретила отца с известием о том, что ей снилось, будто она с отцом в том и другом месте.

Во всех этих детских сновидениях бросается в глаза одна общая черта: все они исполняют желания, которые зародились днем и остались неудовлетворенными; эти сновидения являются простыми и незамаскированными исполнениями желаний.

Не чем иным, как исполнением желания, является и следующий, на первый взгляд не совсем понятный, детский сон. Девочка, около четырех лет от роду, заболевшая детским параличом, была привезена из деревни в город; здесь она переночевала у тетки в большой — для нее, конечно, чересчур большой — кровати. На следующее утро она рассказала свой сон, будто кровать была ей слишком мала, так что ей не хватало места. Это сновидение легко объяснить с точки зрения исполнения желаний, если вспомнить, что дети часто выражают желание «быть большим». Величина кровати слишком подчеркивала маленькой гостье ее собственную величину; поэтому она во сне исправила неприятное ей соотношение и сделалась такой большой, что большая кровать оказалась для нее слишком маленькой.

Если даже содержание детских сновидений усложняется и утончается, все-таки в них легко увидеть исполнение желаний. Восьмилетнему мальчику снилось, будто он с Ахиллесом ехал на колеснице, которой правил Диомед. Как оказалось, он за день перед тем увлекся чтением сказаний о греческих героях: легко доказать, что он взял этих героев за образец, сожалел, что не жил в их время.

Из этого небольшого числа сновидений выясняется второе характерное свойство детских сновидений: их связь с жизнью в течение дня. Исполняемые в сновидениях желания оставались от предыдущего дня, причем

наяву они сопровождались интенсивными эмоциями. Несущественное и безразличное или то, что кажется таковым ребенку, не находит себе места в сновидениях.

Среди взрослых можно также собрать много примеров подобных сновидений детского типа, но они, как мы упоминали, большей частью кратки. Так, например, многим лицам при жажде ночью снится, будто они пьют; здесь сновидение стремится устранить раздражение и продлить сон. У других бывают часто такие «удобные» сновидения перед пробуждением, когда приближается время вставать; им тогда снится, что они уже встали, находятся около умывальника или уже в училище, конторе и проч., где они должны быть в определенное время. В ночь перед поездкой куда-либо нередко снится, будто мы уже приехали к месту назначения; перед поездкой в театр или в общество сновидение нередко предвосхищает — как бы вследствие нетерпения — ожидаемое удовольствие. В других случаях сновидения выражают исполнение желаний не в столь прямой форме; тогда, чтобы распознать скрытое желание, необходимо установить какую-нибудь связь или сделать какой-нибудь вывод, т.е. необходимо начать работу толкования. Так, например, в случае, когда муж сообщает мне сновидение его молодой жены, будто у нее наступили месячные, надо не упускать из виду, что каждая молодая женщина при прекращении месячных подозревает беременность. Ввиду этого сновидение содержит указание на беременность, и его смысл в том, что оно исполняет желание не забеременеть. В необычных и экстремальных условиях сновидения такого инфантильного характера особенно часты. Руководитель одной полярной экспедиции сообщает, например, что его команде во время зимовки во льдах с однообразным питанием и скудным рационом регулярно, как детям, снились сны о великолепных обедах, кучах табаку и о том, что они дома.

Весьма нередко из длинного, сложного и в общем случае спутанного сновидения выделяется особенно ясно

один отрывок, в котором легко можно узнать исполнение желания, но который в то же время спаян с другим непонятным материалом. При попытке анализировать самые, по-видимому, прозрачные сновидения взрослых приходится часто с удивлением констатировать, что они редко бывают такими простыми, как детские сны, и что за исполнением желания в них кроется еще другой смысл.

Решение загадок сновидений было бы, конечно, простым и удовлетворительным, если бы работа анализа давала нам возможность сводить также бессмысленные и спутанные сновидения взрослых к инфантильному типу исполнения какого-либо интенсивно ощущаемого желания дня. Внешние признаки, конечно, не указывают на подобную возможность: сновидения взрослых по большей части наполнены самым безразличным и посторонним материалом, который отнюдь не указывает на исполнение желаний.

Прежде чем расстаться с детскими сновидениями — этими незамаскированными исполнениями желаний, нам хотелось бы указать еще на одно давно замеченное главное, характерное свойство, которое именно в этой группе обнаруживается в самом чистом виде. Дело в том, что каждое из этих сновидений можно заменить одним пожеланием: «Ах, если бы прогулка по озеру еще продлилась»; «Если бы я был уже умыт и одет»; «Мне бы следовало припрятать вишни, вместо того чтобы давать их дяде». Но сновидение содержит в себе больше, чем одно пожелание: последнее является во сне уже исполненным, причем это исполнение представляется как бы реальным и совершающимся на глазах; материал сновидения состоит преимущественно, хотя и не исключительно, из ситуаций и по большей части из зрительных образов. Итак, в этой группе можно обнаружить своего рода частичную переработку, которую следует считать работой сновидения: мысли, выражающие пожелание на будущее, замещены картиной, протекающей в настоящем.

IV

Мы склонны допустить, что и в спутанных сновидениях имеет место подобное преобразование в ситуацию, хотя и нельзя знать, содержатся ли в них пожелания. Сообщенный вначале пример сновидения, в анализ которого мы несколько углубились, дает нам — по крайней мере, в двух случаях — повод предполагать нечто подобное. При анализе я встречаюсь с тем фактом, что жена моя за столом интересуется другими, причиняя мне этим неприятность; в сновидении же содержится прямо противоположная картина: женщина, замещающая мою жену, вся поворачивается ко мне. Не дает ли неприятное переживание лучший повод к проявлению желания, чтобы дело обстояло наоборот? Это и происходит во сне. В такой же связи находится неприятная при анализе мысль, что мне ничего не доставалось даром, со словами женщины в сновидении: «У вас ведь всегда были такие красивые глаза». Таким образом, противоречия между явным и скрытым содержанием сновидения могут быть частью сведены к исполнению желаний.

Гораздо более бросается в глаза другой результат работы сновидения, который ведет к возникновению бессвязных сновидений. Если сравнить на любом примере количество образов в сновидении с числом скрытых его мыслей, добытых путем анализа и лишь едва прослеживающихся в самом сновидении, то нельзя сомневаться в том, что работа сновидения производит прекрасную концентрацию, или сгущение. Вначале трудно составить себе представление о масштабе этого сгущения, но оно производит тем большее впечатление, чем глубже удается проникнуть в анализ сновидения. Тогда нельзя найти ни одного элемента сновидения, от которого бы ассоциативные нити не расходились по трем или более направлениям, ни одной ситуации, которая бы не была составлена из трех или более впечатлений и переживаний. Так, например, мне приснилось однажды нечто вроде бассейна, в котором по всем направлениям плавали купающиеся; в одном месте на краю бассейна стоял

человек, наклонившись к одному купающемуся, как бы с намерением вытащить его. Ситуация была составлена из воспоминания об одном переживании в период полового созревания и из двух картин, одну из которых я видел незадолго до сновидения. Картины эти изображали «Испуг в купальне» из швиндовского цикла «Прекрасная Мелузина» и «Проточные воды» какого-то итальянского художника; маленькое же переживание заключалось в том, что мне пришлось однажды увидеть, как учитель плавания в купальне помогал выйти из воды одной даме, которая замешкалась до наступления назначенного для мужчин времени.

Ситуация в избранном для анализа примере вызывает у меня при анализе небольшой ряд воспоминаний, каждое из которых внесло кое-что в содержание сновидения. Прежде всего, это — маленькая сценка из периода моего ухаживания, о которой я уже говорил; имевшее тогда место рукопожатие под столом внесло в сновидение подробность «под столом», о которой я вспомнил позднее. О «поворачивании» ко мне тогда, конечно, не было речи; но из анализа я знаю, что этот элемент является исполнением желания в силу контраста и относится к поведению моей жены за табльдотом. За этим недавним воспоминанием скрывается подобная же, но более важная сцена после нашей помолвки, которая привела даже к ссоре на целый день. Доверчивость и опускание руки на колено относятся к совсем иной связи воспоминаний и к совершенно другим лицам; этот элемент сновидения становится, в свою очередь, исходным пунктом двух новых отдельных рядов воспоминаний и т.д.

Скрытые мысли сновидения, соединяющиеся для представления ситуации в сновидении, должны, конечно, заранее быть годными для этой цели: во всех составных частях должны быть налицо один или несколько общих элементов. Сновидение производит такую же работу, как Фрэнсис Гальтон при производстве своих фамильных фотографий: сновидение как бы накладывает друг на друга различные составные части; поэтому

в общей картине на первый план отчетливо выступают общие элементы, а контрастирующие детали почти взаимно уничтожаются. Такой процесс объясняет отчасти также и своеобразную спутанность многочисленных элементов сновидения. Исходя из этого, необходимо при толковании сновидений придерживаться следующего правила: если при анализе можно какую-нибудь неопределенность разрешить каким-либо «или — или», то при толковании нужно заменить эту альтернативу посредством «и», сделав каждый член ее исходным пунктом для независимого ряда вновь всплывающих мыслей.

Если между скрытыми мыслями сновидения нет общих частей, то работа сновидения стремится создать их, чтобы сделать возможным общее изложение. Лучший способ сблизить две скрытые мысли, не имеющие ничего общего, заключается в изменении словесного выражения одной из них, соответственно которому изменяется и выражение другой мысли. Это такой же процесс, как и стихосложение, при котором созвучие заменяет искомую общую часть. Большая часть работы сновидения заключается в создании подобных — часто очень остроумных, но часто также и натянутых — связующих мыслей; последние, исходя из общей картины сновидения, простираются до скрытых его мыслей, которые бывают различны по форме и содержанию и выплывают лишь при анализе сновидения. Точно так же и при анализе взятого нами сновидения мы встречаемся с подобным случаем внешнего изменения мысли для согласования ее с другой, по существу чуждой ей мыслью. Так, при продолжении анализа я наталкиваюсь на следующую мысль: я хотел бы разок также получить что-нибудь даром. Но эта фраза непригодна для общего содержания сновидения и потому заменена другой формой: я хотел бы насладиться чем-нибудь без расходов (Kosten). Последнее слово вторым своим значением [в немецком языке] (пробовать) годится уже для круга идей при табльдоте и может быть применено к фигурирующему в сновидении шпинату. Когда подают на стол какое-нибудь блюдо,

от которого дети отказываются, то мать пытается, конечно, сначала ласково уговорить детей: попробуйте хоть немного. Конечно, нам может показаться странным, что работа сновидения так ловко пользуется двойным смыслом слов; но опыт показал, что это — самое обыкновенное явление.

Сгущением образов в сновидении объясняется появление некоторых элементов, свойственных только ему и не находимых в нашем сознании наяву. Таковы составные и смешанные лица и странные смешанные образы, которые можно сравнить с созданными народной фантазией на Востоке причудливыми животными; последние, однако, имеют в нашем представлении определенную застывшую форму, между тем как сновидение постоянно создает новые сложные образы в неисчерпаемом богатстве. Каждый знаком с такими созданиями по своим собственным сновидениям. Способы их образования весьма различны. Я могу создать составной образ лица, либо наделяя его чертами двух разных лиц, либо давая ему облик одного, а имя другого, либо представляя себе визуально одно лицо и ставя его в положение, в котором находилось другое. Во всех этих случаях соединение различных лиц в одного их представителя в сновидении вполне осмысленно: оно имеет в виду сопоставление оригиналов с известной точки зрения, которая может быть упомянута и в самом сновидении. Но обыкновенно только путем анализа можно отыскать эти общие черты слитых в одно лиц, а образование таких лиц в сновидении лишь намекает на эти общие черты.

Таким же многообразным путем и по тем же причинам возникают неизмеримо богатые по содержанию композиции сновидения, примеров которых я не стану приводить. Они перестанут казаться странными, если не сопоставлять их с объектами восприятий наяву, а иметь в виду, что они представляют собой результат сгущения образов сновидения и выделяют в сокращенном виде общие черты скомбинированных таким образом объектов. Но эта общность и в данном случае выясняется по боль-

шей части только путем анализа; работа сновидения как бы говорит: все эти явления имеют какой-то общий X. Разложение этих композиций путем анализа часто ведет кратчайшим путем к истолкованию сновидения. Так, мне снилось однажды, что я сижу на одной скамье с одним из своих прежних университетских учителей, причем скамья эта начинает быстро двигаться среди других скамей. Эта картина является комбинацией аудитории с Trottoir roulant[1], дальнейшее развитие мысли я не прослеживаю. В другой раз во сне я сижу в вагоне и держу на коленях какой-то предмет, имеющий форму шляпы-цилиндра и сделанный из прозрачного стекла. По поводу этой картины мне тотчас приходит в голову пословица: со шляпой в руке можно пройти по всей стране. Стеклянный цилиндр напоминает косвенно ауэровскую горелку, и я тут же узнаю, что хотел бы изобрести что-нибудь, что помогло бы мне сделаться таким же богатым и независимым, как мой земляк д-р Ауэр фон Вельсбах: тогда я мог бы путешествовать, вместо того чтобы сидеть в Вене. В сновидении я путешествую со своим изобретением — стеклянной шляпой-цилиндром, которая, впрочем, еще не вошла в употребление. Особенно охотно работа сновидения соединяет в одной комбинации два противоречащих друг другу представления. Так, например, одна женщина видит во сне у себя в руках высокий цветочный стебель, как у ангела на картинах Благовещения Девы Марии (ее называют — непорочная Дева Мария); но стебель покрыт большими белыми цветами, похожими на камелии (противоположность непорочности — дама с камелиями).

Большую часть того, что мы узнали относительно происхождения образов во сне, можно выразить в следующей формуле: каждый элемент сновидения в избытке определяется скрытыми мыслями сновидения и обязан своим происхождением не одному элементу этих мыслей, а целому ряду их; однако последние не тесно связаны между собой, а относятся к различнейшим областям пе-

---

[1] Движущаяся дорожка (*фр.*).

реплетения мыслей. В содержании сновидения каждый элемент является по существу выражением всего этого разнообразного материала. Помимо того, анализ вскрывает еще и другую сторону сложного соотношения между содержанием сновидения и скрытыми его мыслями: подобно тому, как от каждого элемента сновидения идут нити ко многим скрытым мыслям, так и каждая скрытая мысль сновидения выражается обыкновенно не одним, а несколькими элементами сновидения; ассоциативные нити не идут просто от скрытых мыслей к содержанию сновидения, а многократно скрещиваются и переплетаются.

Наряду с превращением мыслей в ситуацию («драматизацией») наиболее важным и своеобразным признаком работы сновидения является сгущение. Но до сих пор нам еще ничего не известно о мотивах, побуждающих нас к такому сгущению содержания.

V

В сложных и спутанных сновидениях, которыми мы теперь заняты, нельзя объяснять все несходство между содержанием сновидения и скрытыми его мыслями только сгущением и драматизацией. Имеются доказательства влияния еще и третьего фактора, который заслуживает тщательного исследования.

Когда мне удается путем анализа докопаться до скрытых мыслей сновидения, то я прежде всего замечаю, что явное содержание сновидения состоит совсем из другого материала, чем скрытое. Конечно, это только внешняя разница, исчезающая при внимательном исследовании, ибо в результате все содержание сновидения можно найти в скрытых мыслях, и почти все эти мысли находят себе выражение в содержании сновидения. Но из этой разницы все-таки кое-что остается еще после анализа. То, что в сновидении выступало отчетливо на первый план как существенное, должно после анализа удовольствоваться весьма подчиненной ролью среди других скрытых мыслей сновидения; наоборот, те из последних, которые по

свидетельству моих чувств имеют право на самое большое внимание в сновидении, либо совсем отсутствуют, либо выражены отдаленными намеками в неясных частях его. Это явление я могу описать еще следующим образом: во время работы сновидения психический акцент смещается с мыслей и представлений, которыми они обладают по праву, к другим, не имеющим, по моему суждению, никакого права на такое выделение; ни один процесс не помогает так сильно, как этот, скрыть смысл сновидения и сделать непонятной связь между содержанием сновидения и скрытыми его мыслями. Во время этого процесса, который я назову смещением в сновидении, наблюдается также замещение психического напряжения, значимости и аффективной наполненности мыслей живостью образов. Наиболее ясное в содержании сновидения кажется обыкновенно самым важным, между тем как раз в неясной части сна часто можно обнаружить самую непосредственную связь с наиболее существенной скрытой мыслью сновидения.

То, что я назвал смещением в сновидении, можно было бы назвать также переоценкой психических ценностей. Для полной оценки данного явления необходимо еще указать на то, что эта работа смещения, или переоценки, весьма неодинакова в различных сновидениях: бывают сновидения, образовавшиеся почти без всякого смещения и являющиеся в то же время вполне осмысленными и понятными, каковы, например, незамаскированные исполнения желаний в сновидении; в других сновидениях, наоборот, ни одна из скрытых мыслей не сохранила своей собственной психической ценности и все существенное скрытых мыслей замещено второстепенным. Между этими двумя формами наблюдается целый ряд постепенных переходов: чем темнее и спутаннее сновидение, тем большее участие в его создании можно приписать процессу смещения.

Избранный нами для анализа пример обнаруживает такое смещение, в силу которого содержание сновидения и скрытых его мыслей имеет центры в разных пун-

ктах: в сновидении на первый план выступает ситуация, будто какая-то женщина делает мне авансы; в скрытых же мыслях центр тяжести покоится на желании отведать разок бескорыстную любовь, «которая ничего не стоит»; последняя мысль скрывается только за разговорами о красивых глазах и отдаленным намеком в слове «шпинат».

Исправляя путем анализа произведенное в сновидении смещение, мы приходим к совершенно неоспоримым выводам относительно двух спорных проблем сновидения, а именно: относительно побудителей сновидения и связи последнего с бодрствованием. Есть сновидения, которые сразу обнаруживают свою связь с дневными переживаниями; в других же нельзя отыскать этой связи. Однако анализ доказывает, что каждое сновидение без исключения связано с каким-либо впечатлением последних дней, или, вернее, последнего дня перед сновидением. Впечатление, играющее роль побудителя сновидения, может быть так значительно, что наяву нас не удивляет интерес к нему; в этом случае мы справедливо считаем сновидение продолжением важных интересов дня. Но обыкновенно, если содержание сновидения имеет какое-либо отношение к дневному впечатлению, последнее бывает так ничтожно и так легко забывается, что мы лишь с трудом припоминаем его. Сновидение, будучи даже связным и понятным, как будто интересуется самыми безразличными мелочами, которые наяву не могли бы вызвать никакого интереса. Пренебрежение к сновидению в значительной степени объясняется тем, что оно оказывает такое предпочтение безразличному и неважному.

Но анализ разрушает внешнюю видимость, с которой связана эта низкая оценка сновидения. Там, где сновидение выставляет на первый план в качестве побудителя безразличное впечатление, анализ обыкновенно обнаруживает значительное и справедливо волнующее переживание, которое в сновидении вхо-

дит в обширные ассоциативные связи с безразличным переживанием и замещается им. Там, где сновидение занято лишенными значения и интереса представлениями, анализ вскрывает многочисленные связи, соединяющие это неважное с весьма значимым. Когда мы в содержании сновидения находим безразличное впечатление вместо волнующего и безразличный материал вместо интересного, то это нужно рассматривать как результат работы смещения.

Придерживаясь теперь взглядов, выработанных нами при замещении явного содержания сновидения скрытым, нужно на вопрос о побудителях сновидения и о связи последнего с повседневной жизнью ответить следующим образом: сновидение никогда не интересуется тем, что не могло бы привлечь нашего внимания днем, и мелочи, не волнующие нас днем, не в состоянии преследовать нас и во сне.

Каков же побудитель сновидения в избранном нами для анализа примере? Это — незначительное переживание, заключающееся в том, что приятель дал мне возможность проехаться даром в карете. Картина за табльдотом в сновидении содержит намек на этот незначительный факт, ибо в разговоре с приятелем я привел карету с таксометром в параллель с табльдотом. Но я могу также указать и на важное переживание, которое замещено во сне этим незначительным: несколько дней перед тем я истратил много денег на одного дорогого мне члена моей семьи. И вот скрытые мысли сновидения как бы говорят: было бы нисколько не удивительно, если бы то лицо отблагодарило меня — любовь его не была бы бесплатной. Бесплатная же любовь, по-видимому, стоит среди моих скрытых мыслей на первом плане. И то обстоятельство, что я с указанным родственником незадолго перед тем несколько раз ездил в карете, приводит к тому, что поездка с моим приятелем напоминает мне об отношениях к первому. Для того чтобы какое-нибудь незначительное переживание могло сделаться побудителем сновидения, необходимо еще одно усло-

вие, не нужное для действительного источника сновидения: это переживание должно быть всегда недавним, т.е. относиться ко дню перед сновидением.

Я не могу оставить вопроса о смещении сновидений, не упомянув еще об одном удивительном явлении, которое наблюдается при образовании сновидения под влиянием сгущения и смещения. При рассмотрении сгущения мы уже имели возможность познакомиться с таким случаем, когда два скрытых за сновидением представления, имея что-либо общее между собой или какую-нибудь точку соприкосновения, замещаются в сновидении смешанным представлением, в котором более ясная суть соответствует общим, а неясные подробности — частным чертам обоих представлений. Если к этому сгущению присоединяется еще и смещение, то образуется не смешанное представление, а некое общее среднее, которое относится к отдельным элементам так, как в параллелограмме сил составляющие относятся к равнодействующей. Так, например, в одном из моих сновидений речь идет о впрыскивании пропилена. При анализе я прежде всего нахожу в качестве побудителя сновидения незначительное переживание, в котором некоторую роль играет амилен (химический препарат). Пока я еще не могу объяснить смешения амилена с пропиленом. Но к кругу идей того же сновидения относится еще воспоминание о первом посещении Мюнхена, где на меня произвели сильное впечатление Пропилеи. Дальнейший анализ позволяет высказать предположение, что смещение с амилена на пропилен было обусловлено влиянием второго круга идей на первый. Пропилен является, так сказать, средним представлением между амиленом и Пропилеями, и слово это попадает в содержание сновидения в качестве компромисса путем одновременного сгущения и смещения.

При взгляде на эту работу смещения еще настоятельнее, чем при сгущении, чувствуется потребность найти мотивы такой загадочной работы сновидения.

VI

Если то обстоятельство, что мы в содержании сновидения не находим или не узнаем скрытых его мыслей и не догадываемся даже о причинах такого искажения, обусловливается главным образом работой смещения, то другая, более легкая переработка скрытых мыслей приводит нас к обнаружению новой, но уже вполне понятной деятельности работы сновидения. Ближайшие скрытые мысли, обнаруживаемые путем анализа, часто поражают нас своей необычностью: они являются нам не в рациональных словесных формах, которыми наше мышление обыкновенно пользуется, а скорее выражаются символически, посредством сравнений и метафор, как в образном поэтическом языке. Нетрудно найти причину такого рода условности при выражении скрытых мыслей. Сновидение по большей части состоит из зрительных картин (ситуаций); поэтому скрытые мысли должны прежде всего подвергнуться некоторым изменениям, чтобы сделаться годными для такого способа выражения. Если мы представим себе, например, задачу, заключающуюся в том, чтобы заменить фразу из какой-нибудь политической передовицы или из речи в судебном зале рядом картинных изображений, то мы легко поймем, какие изменения вынуждена производить работа сновидения в целях образного представления содержания сновидения.

Среди психического материала скрытых мыслей обыкновенно встречаются воспоминания о глубоких переживаниях — нередко из раннего детства, запечатлевшихся как ситуации по большей части со зрительным содержанием. Этот элемент скрытых мыслей, действуя как бы в качестве кристаллизационного центра на концентрацию и распределение материала скрытых мыслей, оказывает, где только возможно, определяющее влияние на формирование сновидения. Ситуация сновидения является часто не чем иным, как видоизмененным и усложненным повторением указанного глубокого переживания: сновидение лишь очень редко дает точную и без всяких примесей репродукцию действительных сцен.

Но сновидение не состоит исключительно из ситуаций, а содержит также отдельные остатки зрительных образов, речей и даже неизмененных мыслей. Небесполезно, пожалуй, просмотреть теперь вкратце изобразительные средства, которыми располагает работа сновидения для своеобразного выражения скрытых мыслей.

Обнаруживающиеся путем анализа скрытые мысли представляют психический комплекс самого запутанного строения. Части его находятся в самых разнообразных логических отношениях друг к другу: они могут стоять на первом и на последнем плане; могут быть условиями, отступлениями, пояснениями, доказательствами и возражениями; почти всегда рядом с одним направлением мыслей присутствует противоречащее ему обратное течение. Этому материалу свойственны все характерные черты знакомого нам мышления наяву; но чтобы получить сновидение из этого психического материала, необходимо подвергнуть его сгущающей прессовке, внутреннему раздроблению, смещению, которое одновременно создает новые видимости, и наконец — избирательному воздействию со стороны наиболее годных для образования ситуаций составных частей. С учетом генезиса этого материала такой процесс заслуживает названия «регрессии». При переработке психический материал теряет, конечно, скреплявшие его логические связи: работа сновидения как бы берет на себя только обработку фактического содержания скрытых мыслей; так что при толковании сновидения необходимо восстановить связь, уничтоженную работой сновидения.

Таким образом, средства выражения работы сновидения можно назвать жалкими по сравнению со средствами нашего мышления. Однако сновидение вовсе не должно отказываться от передачи логических отношений между скрытыми мыслями: очень часто ему удается заменить эти отношения характерными продуктами собственного творчества.

Сновидение прежде всего обнаруживает непрелож-

ную связь между всеми частями скрытых мыслей тем, что соединяет весь этот материал в одну ситуацию: оно выражает логическую связь сближением во времени и пространстве, подобно художнику, соединяющему на картине, изображающей Парнас, всех поэтов, которые, конечно, никогда не находились вместе на одной вершине горы, но в понятии, несомненно, образуют одну семью. Работа сновидения применяет этот способ выражения и в частностях, так что если в сновидении два элемента находятся рядом, это означает особенно тесную связь между скрытыми за ними мыслями. Здесь нужно еще заметить, что сновидения одной ночи обнаруживают при анализе свое происхождение от одного и того же круга идей.

Причинная зависимость в сновидении либо вовсе не выражается, либо замещается последовательностью во времени двух неодинаково длинных частей сновидения. Часто это замещение бывает обратным, т.е. начало сновидения соответствует следствию, а конец — предпосылке. Прямое превращение во сне одного предмета в другой указывает, по-видимому, на отношение причины к следствию.

Сновидение никогда не выражает альтернативу «или — или», а содержит оба члена ее как равнозначащие, в одной и той же связи. И я упоминал, что при воспроизведении сновидения альтернативу «или — или» нужно передавать словом «и».

Противоречащие друг другу представления выражаются во сне преимущественно одним и тем же элементом. Слова «нет», по-видимому, не существует для сновидения. Противоположность между двумя мыслями и инверсия выражаются в сновидении в высшей степени странно, а именно: одна часть сновидения как бы последовательно превращается в свою противоположность. Ниже мы познакомимся еще с другим способом выражения противоречия. Столь частое в сновидении ощущение затрудненного движения выражает противоречие между импульсами, т.е. волевой конфликт.

Весьма пригодным для механизма создания сновидения оказывается только одно логическое отношение — отношение подобия, общности, согласования. Работа сновидения пользуется этими случаями как опорными пунктами для сгущения сновидения и соединяет в новое единство все, что обнаруживает такое согласование.

Всех высказанных нами замечаний, конечно, недостаточно для правильной оценки всей суммы средств, которыми располагает работа сновидения для выражения логических отношений между скрытыми мыслями сновидения. В этом отношении разные сновидения бывают обработаны более тонко или более небрежно: неодинаково старательно придерживаются имеющегося текста и неодинаково пользуются вспомогательными средствами работы сновидения; в этом случае сновидения кажутся темными, спутанными и бессвязными. Когда сон очевидно нелеп и содержит очевидное противоречие, это происходит преднамеренно: своим с виду небрежным отношением ко всем логическим требованиям сновидение указывает на какую-то скрытую мысль; нелепость в сновидении означает противоречие, насмешку и издевку в скрытых мыслях. Так как это объяснение является самым сильным возражением против того понимания сновидения, которое приписывает происхождение сновидения диссоциированной и лишенной критики душевной деятельности, то я хочу подкрепить свое объяснение примером.

Мне снится: один мой знакомый М. подвергся в одной статье нападкам со стороны самого Гёте; нападки эти, по нашему общему мнению, были незаслуженны. М. был, конечно, уничтожен ими; он горько жалуется на это в одном обществе за столом, но говорит, что его уважение к Гёте от этого нисколько не пострадало. Я стараюсь затем несколько выяснить себе обстоятельства времени, которые кажутся мне неправдоподобными: Гёте умер в 1832 году, следовательно, его нападки на М. должны были произойти раньше; М. должен был быть тогда совсем молодым человеком; мне представляется вероят-

ным, что ему было 18 лет. Но я не знаю точно, какой у нас теперь год, и таким образом все вычисление затемняется. Впрочем, эти нападки содержатся в известной статье Гёте «Природа».

Бессмысленность этого сновидения покажется еще ярче, если я сообщу, что М. — молодой делец, которому чужды всякие поэтические и литературные интересы. Но, приступив к анализу этого сновидения, я сумею доказать, что за этой бессмысленностью кроется определенная система. Сновидение черпает свой материал из трех источников:

1. М., с которым я познакомился в одном обществе за столом, обратился ко мне однажды с просьбой обследовать его старшего брата, обнаруживавшего признаки душевного расстройства. При разговоре с больным случилась неприятная сцена, заключавшаяся в том, что больной без всякого повода стал нападать на брата и намекать на его юношеские похождения. Я спросил больного о дне его рождения (дата смерти во сне) и заставил его производить различные вычисления, чтобы обнаружить у него ослабление памяти.

2. Одна медицинская газета, на обложке которой стояло также и мое имя, поместила прямо-таки «уничтожающую» критику одного совсем молодого референта по поводу книги моего друга Ф. из Берлина. Об этом я говорил с редактором, который, правда, выразил свое сожаление, но отказался поместить возражение. Тогда я прекратил отношения с газетой и в своем письменном отказе выразил редактору надежду, что наши личные отношения от этого случая не пострадают. Данный случай, собственно, и является источником сновидения. Отрицательный прием, оказанный работе моего друга, произвел на меня глубокое впечатление: эта работа, по моему мнению, содержала фундаментальное биологическое открытие, которое лишь теперь — спустя 4 года — начинает оцениваться специалистами.

3. Одна больная рассказала мне недавно историю болезни своего брата, который впал в помешательство

с криком «Natur, Natur». Врачи думали, что восклицание это относится к чтению прекрасной статьи Гёте и что оно указывает на переутомление больного от занятий. Я сказал, что мне представляется более вероятным, что восклицание «природа» нужно понимать в том половом смысле, который известен и необразованным. И тот факт, что несчастный больной впоследствии изуродовал себе половые органы, во всяком случае подкрепил мое предположение. Когда произошел первый припадок, этому больному было 18 лет.

В сновидении прежде всего за моим Я скрывается мой так плохо встреченный критикой друг («я стараюсь несколько выяснить себе обстоятельства времени»). Книга моего друга посвящена именно исследованию некоторых вопросов о длительности жизни; между прочим, автор говорит также о продолжительности жизни Гёте, которая равна очень значительному в биологии числу дней. Однако мое Я уподобляется затем паралитику («я не знаю точно, какой у нас теперь год»). Таким образом, сновидение представляет моего друга паралитиком, изобилуя при этом нелепостями. Скрытые же мысли гласят иронически: «Конечно, он — сумасшедший дурак, а вы — гении и больше всех понимаете; а не вернее ли будет обратное?» Эта инверсия широко использована в содержании сновидения; так, например, Гёте нападает на молодого человека; это, конечно, нелепо, ибо в наше время всякий молодой человек легко может критиковать великого Гёте.

Я мог бы сказать, что каждое сновидение исходит только из эгоистических побуждений. Мое Я во сне не только замещает моего друга, но изображает также и меня самого; я отождествляю себя с ним: судьба его открытия представляется мне образцом того, как будет принято мое собственное открытие; когда я выступлю со своей теорией, подчеркивающей в этиологии психоневрозов влияние половой сферы (ср. намеки на больного с возгласом «природа»), то меня ожидает такая же критика, и я уже теперь также смеюсь над ней. Вскрывая далее свои скрытые

мысли, я постоянно нахожу насмешку и издевку как коррелят нелепостей в сновидении. Случайная находка в Венеции надтреснутого черепа овцы, как известно, навела Гёте на мысль о так называемой позвоночной теории черепа. Мой друг хвалится, что, будучи студентом, он поднял целую бурю для устранения одного старого профессора, который, имея в прошлом заслуги (между прочим, и в указанной выше области сравнительной анатомии), сделался затем вследствие старческого слабоумия не способным к преподаванию. Поднятая им (другом) агитация помогла предотвратить беду, создавшуюся в силу того, что в немецких университетах не положен возрастной предел академическому преподаванию. Но возраст не гарантирует от глупости. Несколько лет я служил в одной больнице при старшем враче, который, будучи давно уже дряхлым и с десяток лет заведомо слабоумным, продолжал занимать свою ответственную должность. Здесь мне вспоминается находка Гёте в Венеции. Молодые коллеги по больнице применили как-то к этому старику популярную в то время песенку: «Ни один Гёте этого не воспел, ни один Шиллер этого не описал» и т.д.

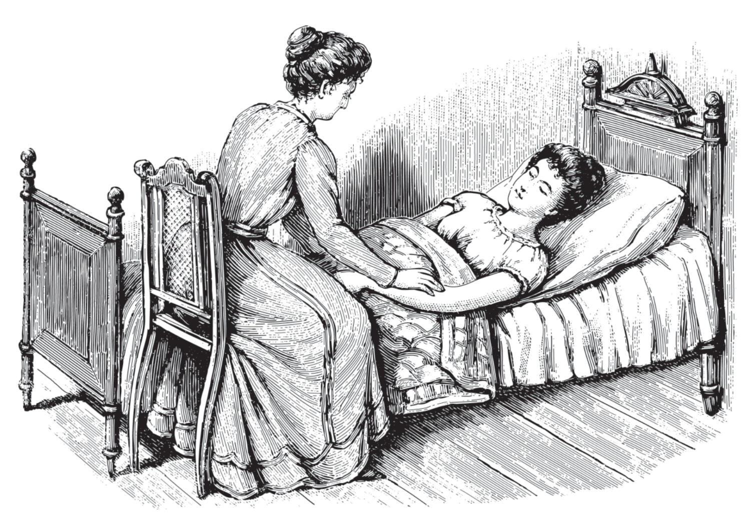
VII

Мы не закончили еще оценки работы сновидения. Кроме сгущения, смещения и наглядной переработки психического материала необходимо приписать работе сновидения еще другого рода функцию, заметную, впрочем, не во всех сновидениях. Я не стану подробно описывать эту часть работы сновидения, но хочу лишь указать, что о ее сущности можно составить себе представление, если предположить — может быть, не совсем верно — что работа сновидения действует иногда на сновидение уже после его образования. Она заключается в том, чтобы расположить составные элементы сновидения в такой порядок, при котором они находились бы между собой в связи и сливались бы в одно цельное сновидение. Таким образом, сновидение приобретает нечто вроде фасада, который, конечно, не во всех пунктах прикрывает его со-

держание, и при этом первое предварительное толкование, которому способствуют вставки и легкие изменения. Но такая обработка сновидения становится возможной лишь благодаря тому, что работа сновидения при этом ничем не смущается и вообще обнаруживает резкое непонимание скрытых мыслей; поэтому, когда мы приступаем к анализу сновидения, нам прежде всего необходимо отбросить эти попытки толкования.

В этой части цель работы сновидения становится особенно прозрачной: это — стремление сделать сновидение более понятным. Это обстоятельство указывает также и на характер такой переработки; последняя относится к соответственному содержанию сновидения, так же как наша нормальная деятельность — к содержанию любого восприятия: она прилагает к нему известные готовые представления и уже при самом восприятии в целях понятности располагает элементы последнего в определенном порядке; однако такая переработка рискует исказить восприятие; и действительно, если не удастся связать его с чем-либо известным, она приводит к самым странным недоразумениям. Ведь известно, что мы не в состоянии смотреть на ряд чуждых нам знаков или слушать незнакомые слова без того, чтобы не видоизменять их с целью сделать понятными и связать с чем-либо знакомым для нас.

Сновидения, подвергшиеся такой обработке со стороны такой психической деятельности, полностью аналогичной мышлению в бодрствующем состоянии, можно назвать хорошо сочиненными. В других сновидениях эта деятельность совершенно отсутствует; в них даже не делается попытки упорядочить и истолковать их, так что по пробуждении мы, чувствуя себя тождественными с этой последней частью работы сновидения, говорим, что оно было «совершенно спутанным». Однако сновидение, представляющее беспорядочную кучу бессвязных отрывков, имеет для анализа такую же ценность, как и сновидение, хорошо сделанное и имеющее приглаженный внешний вид;



в первом случае нам не приходится тратить усилий на разрушение того, что создано последней функцией работы сновидения. Не следует, однако, заблуждаться и считать, что этот фасад сновидения не представляет собой ничего иного, как просто невразумительную и довольно произвольную переработку содержания сновидения сознательной инстанцией нашей душевной жизни. Нередко для создания фасада сновидения используются фантазии-желания, которые находят себе воплощение в мыслях сновидения и по типу аналогичны известным нам из бодрствования так называемым снам наяву. Желания-фантазии, которые анализ открывает в ночных сновидениях, зачастую выступают как повторения и переработки сцен в детстве; фасад сновидения открывает нам собственное ядро сновидения, непосредственно подвергшееся искажению во многих сновидениях путем смешения с другим материалом. В работе сновидения невозможно более открыть других типов деятельности, кроме четырех вышеупомянутых.

Если твердо придерживаться того положения, что «работа сновидения» означает переработку скрытых мыслей в содержание сновидения, то нужно сказать, что

работа сновидения вообще ничего не создает, не проявляет своей собственной фантазии, не рассуждает, не умозаключает и что вообще функции ее заключаются только в сгущении материала, смещении его и наглядном его представлении, к которым присоединяется иногда еще последний непостоянный элемент — истолковывающей переработки. В содержании сновидения встречаются, правда, и такие элементы, которые можно было бы принять за продукт высшей психической деятельности; но анализ всегда обнаруживает, что эти интеллектуальные операции имели место уже в скрытых мыслях, откуда сновидение их лишь заимствует. Логическое заключение в сновидении есть не что иное, как повторение заключения из скрытых мыслей.

Фрейд исключает возможность интеллектуальной активности во время сновидений. Мозг, по его мнению, не способен на креативность во время сновидений, он лишь может сквозь сумбурные образы и ситуации переживать подсознательные тревоги и желания. Таким образом, все открытия и озарения, снизошедшие на кого-либо во время сновидений, это лишь продукт интеллектуальных поисков во время бодрствования. Мистичность, таинственность сна — для Фрейда всего лишь проявления психологии и физиологии человека. Несомненно, в феномене сна еще множество неразгаданных тайн. Но Фрейд снова поражает своей научной правотой, своим предвидением. Недавнее исследование, проведенное Драго и коллегами в 2011 году, показало, что во время сна мозг все-таки способен на креативность, но преимущественно в период медленного сна, а не во время сновидений.

Оно бывает неопровержимым, если переходит в сновидение без изменения; оно становится бессмысленным, если работа сновидения переносит его на другой материал. Вычисление во сне указывает на таковое же в скрытых мыслях; но тогда как в последнем случае вычисление всегда правильно, во сне оно может в силу сгущения элементов и смещения на другой материал дать самый неле-

пый результат. Даже встречающиеся в сновидении речи не сочинены вновь; они оказываются составленными из отрывков речей, произнесенных или слышанных раньше и воспроизведенных теперь в скрытых мыслях; при этом слова воспроизводятся самым точным образом, повод же к их произнесению игнорируется и смысл жестоко извращается. Быть может, не лишне подкрепить последние указания примерами.

1. Невинно звучащее и хорошо сочиненное сновидение одной пациентки гласит: она идет на рынок со своей кухаркой, которая несет корзину. Мясник в ответ на ее требование чего-то говорит: «Этого уже нет», — и хочет дать ей что-нибудь другое с замечанием: «Это тоже хорошо». Она отказывается и идет к зеленщице. Последняя предлагает ей пучок какой-то странной зелени черного цвета. Она говорит: «Этого я не знаю (kenne) и не возьму».

Слова «этого уже нет» находятся в связи с историей ее лечения. Я сам за несколько дней до того объяснял пациентке, что воспоминания раннего детства уже не существуют как таковые, а заменяются метафорами и сновидениями; значит, в ее сновидении в качестве мясника фигурирую я.

Другие слова — «этого я не знаю» — были произнесены при совершенно других условиях. За день до сновидения она крикнула своей кухарке, которая, впрочем, тоже фигурирует в сновидении: «Ведите себя прилично, этого я не признаю (kenne)» (т.е. такого поведения не признаю и не понимаю). Более невинная часть этой фразы попала, в силу смещения, в сновидение; в скрытых же мыслях главную роль играла другая часть фразы; дело в том, что в данном случае работа сновидения изменила крайне наивно и до полной неузнаваемости созданную воображением больной ситуацию, где я веду себя в некотором роде неприлично по отношению к ней. А эта воображаемая ситуация, в свою очередь, является лишь «новым изданием» переживания пациентки, имевшего когда-то место в действительности.

2. Вот другой, как будто лишенный всякого значения, сон, в котором встречаются числа. Г-же А. снится, будто ей нужно уплатить за что-то: дочь ее берет у нее из кошелька 3 фл. 65 кр., но мать говорит ей: «Что ты делаешь? Это ведь стоит только 21 крейцер».

Видевшая сон была иногородней; она поместила своего ребенка в какое-то воспитательное заведение в Вене и могла продолжать лечение у меня до тех пор, пока в Вене оставалась ее дочь. В день накануне сновидения заведующая заведением советовала матери оставить ребенка еще на год; в этом случае она продлила бы и свое лечение на год. Числа в сновидении приобретают значение, если вспомнить, что «время — деньги». Один год равен 365 дням, в крейцерах 365 кр. или 3 фл. 65 кр.; 21 крейцер соответствует трем неделям, которые оставались со дня сновидения до конца учения и, следовательно, до конца лечения. По-видимому, именно денежные соображения заставили эту даму отклонить предложение заведующей, и в силу этих же соображений в сновидении фигурирует небольшая денежная сумма.

3. Молодая, но находящаяся уже несколько лет в замужестве дама узнает, что ее знакомая сверстница Элиза Л. помолвлена. По этому поводу ей приснилось следующее: она со своим мужем сидит в театре, и одна сторона партера совершенно пуста. Муж рассказывает ей, что Элиза Л. и жених ее также хотели пойти, но могли достать только плохие места, три места за 1 фл. 50 кр., а таких они не хотели взять. Она думает, что в этом не было бы беды.

Здесь нас интересует, как эти числа возникли из материала скрытых мыслей и каково испытанное ими превращение. Откуда возникли эти 1 фл. 50 кр.? По незначительному поводу предыдущего дня: ее невестка получила в подарок от своего мужа 150 фл. и поторопилась растратить их, купив себе на эту сумму какое-то украшение. Заметим, что 150 фл. в 100 раз больше, чем 1 фл. 50 кр. Для цифры «три», относящейся к театральным билетам, имеется лишь та связь, что невестка Элизы Л. ровно на три месяца моложе этой дамы, видевшей сон. Ситуация

в сновидении является воспроизведением небольшого случая, которым муж ее часто дразнил: она однажды очень торопилась достать заблаговременно билеты на одно представление; когда же она явилась в театр, одна сторона партера была почти пуста; ей, следовательно, незачем было так торопиться. Не оставим, наконец, без внимания и ту нелепость в сновидении, что два лица хотят взять три билета в театр. Скрытые мысли здесь таковы: «Это ведь было бессмысленно — выходить так рано замуж; мне незачем было так торопиться. На примере Элизы Л. я вижу, что всегда могла бы найти мужа и даже в сто раз лучшего (мужа, сокровище — Schatz), если бы только подождала. За свои деньги (приданое) я могла бы купить трех таких мужей».

VIII

Познакомившись в предыдущем изложении с работой сновидения, читатель, пожалуй, будет склонен рассматривать ее как совершенно особенный процесс, не имеющий, насколько известно, подобного себе; на работу сновидения как бы переходит то странное ощущение, которое обыкновенно вызывается у нас продуктом этой работы, т.е. сновидением. Но в действительности работа сновидения впервые знакомит нас лишь с одним из целого ряда психических процессов, на почве которых возникают истерические симптомы, навязчивый страх, навязчивые и бредовые идеи. Сгущение и прежде всего смещение являются всегда характерными чертами также и для этих процессов; наоборот, наглядное представление остается своеобразной чертой работы сновидения. Если это объяснение ставит сновидение рядом с созданиями больной психики, то тем важнее для нас узнать существенные условия возникновения таких процессов как сновидение. Читатель, вероятно, будет удивлен, когда услышит, что к этим обязательным условиям не относятся ни состояние сна, ни болезнь; целый ряд явлений повседневной жизни здоровых людей — забывчивость, обмолвки, промахи и известный род заблуждений —

обязан своим возникновением такому же психическому механизму, как и сновидение.

Среди отдельных функций работы сновидения более всего поразительно смещение, являющееся центральным пунктом всей проблемы. При исследовании вопроса мы узнаем, что явление смещения обусловливается чисто психологическими моментами: оно является чем-то вроде мотивировки. Чтобы обнаружить последнюю, необходимо дать оценку тем фактам, с которыми мы неизбежно сталкиваемся при анализе сновидения. Так, при анализе первого сновидения я вынужден был прервать изложение скрытых мыслей ввиду того, что среди них, как я признался, были такие, которые я по важным соображениям предпочитаю скрыть от посторонних. К этому я добавил, что если вместо данного сновидения взять для анализа какое-нибудь другое, это делу не поможет: в каждом сновидении с темным или спутанным содержанием я натолкнусь на скрытые его мысли, требующие сохранения тайны. Но если я продолжаю анализ для себя самого и не принимаю во внимание других, для которых ведь и не предназначено такое личное переживание как сновидение, то я добираюсь наконец до таких мыслей, которые ошеломляют меня, которых я в себе не знал и которые мне не только чужды, но и неприятны; я готов энергично оспаривать их, но протекающая в анализе ассоциация идей непреодолимо навязывает мне их. Это общее положение вещей я могу объяснить только тем, что мысли эти действительно содержались в моей душевной жизни и обладали известной психической интенсивностью или энергией, но находились в своеобразном психологическом состоянии, в силу которого не могли сделаться сознательными. Я называю это особенное состояние вытеснением. И я не могу не видеть причинной связи между неясностью сновидения и вытеснением некоторых скрытых мыслей, т.е. неспособностью их достигнуть сферы сознания; а отсюда я заключаю, что сновидение должно быть неясным, чтобы не выдать за-

претных скрытых мыслей. Таким образом, я прихожу к представлению об искажении сновидения, которое является продуктом работы сновидения и имеет своей целью замаскировать, т.е. скрыть, что-нибудь.

Я попытаюсь теперь на примере избранного мною для анализа сновидения спросить себя, какова же та скрытая мысль, которая проявилась в этом сновидении в искаженном виде и которая, будучи не искажена, вызвала бы с моей стороны самое резкое возражение. Я вспоминаю, что даровая поездка в карете напомнила мне о дорого обошедшихся мне в последнее время поездках в карете с одним членом моей семьи; далее, что толкование сновидения привело меня к мысли — «мне хотелось бы испытать разок любовь, которая мне ничего не стоит», и наконец, что я незадолго перед сновидением истратил на это самое лицо большую сумму денег. В этой связи я не могу отделаться от мысли, что мне жаль этих денег. И только когда я признаюсь в этом чувстве, приобретает смысл то обстоятельство, что я во сне хочу любви, не требующей от меня никаких расходов. И все-таки я вправе искренно сказать себе, что при решении затратить ту сумму я не колебался ни одного мгновения; сожаление об этом, т.е. обратное побуждение, не достигло моего сознания; по каким причинам не достигло, это во всяком случае другой вопрос, ведущий далеко в сторону, и известный мне ответ на него принадлежит к другой связи идей.

Подвергая анализу не свое собственное, а сновидение другого лица, я приду к тем же выводам, хотя соображения, на которых будут основываться мои выводы, будут иными. Если я имею дело со сновидением здорового человека, то у меня нет иного средства заставить его признать обнаруженные и не осознанные им скрытые мысли, как указать на общую связь всех скрытых мыслей сновидения. Если же я имею дело с нервнобольным, например истериком, то признание вытесненной мысли является для него обязательным

ввиду связи этой последней с симптомами его болезни и ввиду улучшения, наступающего у него при замене симптомов болезни неосознанными мыслями. Например, у больной, которой принадлежит последнее сновидение с тремя билетами за 1 фл. 50 кр., анализ должен допустить, что она не ценит своего мужа, сожалеет о браке с ним и охотно заменила бы его другим; она, конечно, утверждает, что любит его и что ее сознание ничего не знает об этой низкой оценке мужа (в 100 раз лучшего!); но все симптомы ее болезни приводят к такому же заключению, как и это сновидение. И после того как у больной были разбужены вытесненные воспоминания о том времени, когда она сознательно не любила своего мужа, болезненные симптомы исчезли, а с ними исчезло и ее сопротивление против вышеупомянутого толкования сновидения.

IX

Приняв понятие вытеснения и приведя факт искажения сновидения в связь с вытесненным психическим материалом, мы в состоянии указать в общих чертах на полученные из анализа сновидений главные результаты. Относительно понятных и осмысленных сновидений мы узнали, что они являются незамаскированными исполнениями желаний, т.е. что ситуация сновидения представляет исполненным какое-нибудь вполне заслуживающее внимания желание, знакомое сознанию и оставшееся невыполненным наяву. В неясных и спутанных сновидениях анализ обнаруживает нечто вполне аналогичное: ситуация сновидения опять изображает исполненным какое-нибудь желание, выплывающее всегда из скрытых мыслей; но представлено оно в неузнаваемом виде, так что только анализ в состоянии вскрыть его. При этом желание либо само вытеснено и чуждо сознанию, либо самым тесным образом связано с вытесненными мыслями и выражается ими. Итак, формула этих сновидений такова: они суть замаскированные исполнения вытесненных желаний. Любопытно

отметить по этому поводу справедливость народного воззрения, рассматривающего сновидение как предсказание будущего. В действительности в сновидении проявляется не то будущее, которое наступит, а то, наступления которого мы желали бы; народный дух и здесь поступает так, как он привык поступать в других случаях: он верит в то, чего желает.

С точки зрения исполнения желаний сновидения бывают трех родов. Во-первых, сновидения, представляющие невытесненное желание в незамаскированном виде: таковы сновидения инфантильного типа, реже встречающиеся у взрослых. Во-вторых, сновидения, выражающие вытесненные желания в замаскированном виде: таково, пожалуй, огромное большинство всех наших сновидений, для понимания которых необходим анализ. В-третьих, сновидения, выражающие вытесненные желания, но без или с недостаточной маскировкой их. Эти сновидения постоянно сопровождаются страхом, прерывающим сон; страх выступает здесь вместо искажения сновидения; в сновидениях же второй категории страх устраняется работой сновидения. Можно без особых затруднений доказать, что представление, вызывающее теперь у нас во сне страх, было когда-то нашим желанием, а затем было вытеснено.

Существуют также ясные сновидения со страшным содержанием, которые, однако, не вызывают страха во мне; поэтому их не следует причислять к сновидениям третьей категории. Такие сновидения служили всегда доказательством того мнения, что сновидения лишены всякого значения и психической ценности. Однако анализ одного примера покажет, что в таких случаях мы имеем дело с хорошо замаскированными исполнениями вытесненных желаний, т.е. со сновидениями второй категории; этот же пример может служить прекрасной иллюстрацией пригодности работы смещения для маскировки желаний. Девушка во сне видит единственного ребенка своей сестры мертвым при той же обстановке, при которой она несколько лет назад видела мертвым первого ребен-

ка. При этом девушка не испытывает никакой жалости, но, конечно, протестует против того понимания, будто смерть ребенка соответствует ее желанию. Этого и не требуется: дело в том, что у гроба первого ребенка сестры она в последний раз видела и говорила с любимым человеком; если бы умер второй ребенок, то, вероятно, она опять встретилась бы в доме сестры с этим человеком. И вот она жаждет этой встречи, но протестует против такого чувства. В самый день сновидения она взяла билет на лекцию, объявленную все еще любимым ею человеком; ее сновидение есть просто «нетерпеливое» сновидение, как это обыкновенно бывает перед путешествием, посещением театра и другими ожидаемыми удовольствиями; чтобы скрыть это стремление, ситуация применена к случаю, который менее всего подходит для радостных чувств, но который оказал ей однажды услугу. Следует обратить внимание еще на то обстоятельство, что эмоции во сне соответствуют не получившемуся содержанию сновидения, а действительному, хотя и скрытому; ситуация в сновидении предвосхищает давно желаемое свидание и не дает никакого повода для тяжелых чувств.

X

Так как философам до сих пор не приходилось еще заниматься вопросом о психологии вытеснения, то позволительно в связи с неизвестной сущностью этого явления составить себе наглядное представление о процессе образования сновидения. Несмотря на сложность принятой нами схемы, мы все-таки не можем удовлетвориться более простой схемой. По нашему мнению, в душевном аппарате человека имеются две мыслеобразующие инстанции, из которых вторая обладает тем преимуществом, что ее продукты находят доступ в сферу сознания открытым; деятельность же первой инстанции бессознательна и достигает сознания только через посредство второй. На границе обеих инстанций, на месте перехода от первой ко второй, находится цензура, которая пропускает лишь угодное ей, а остальное задерживает. И вот

то, что отклонено цензурой, находится, по нашему определению, в состоянии вытеснения. При известных условиях, одним из которых является сновидение, соотношение сил между обеими инстанциями изменяется таким образом, что вытесненное не может уже быть вполне задержано; во сне это происходит как бы вследствие ослабления цензуры, в силу которого вытесненное приобретает возможность проложить себе дорогу в сферу сознания. Но так как цензура при этом никогда не упраздняется, а лишь ослабляется, то она довольствуется такими изменениями сновидения, которые смягчают неприятные ей обстоятельства; то, что в таком случае становится осознаваемым, есть компромисс между намерениями одной инстанции и требованиями другой. Вытеснение, ослабление цензуры, образование компромисса — такова основная схема возникновения как сновидения, так и всяких психопатических представлений; при образовании компромисса как в том, так и в другом случае наблюдаются явления сгущения и смещения и возникают поверхностные ассоциации, знакомые уже нам по работе сновидения.

Нет нужды скрывать, что известную роль в созданном нами объяснении сыграл элемент демонизма при работе сновидения. У нас действительно возникло впечатление, что образование неясных сновидений происходит так, как будто одно лицо, находящееся в зависимости от другого, желает сказать то, что последнему неприятно слушать; путем такого уподобления мы создали понятие об искажении сновидения и о цензуре и затем постарались перевести свое впечатление на язык несколько грубой, но зато наглядной психологической теории. К чему бы ни свелись наши первая и вторая инстанции при дальнейшем исследовании, мы все же ждем подтверждения нашего предположения, что вторая инстанция распоряжается доступом к сознанию и может не допустить к нему первую инстанцию.

По пробуждении цензура быстро восстанавливает свою прежнюю силу и тогда может отобрать все, что



было завоевано у нее в период ее слабости. Что забывание сновидения — по крайней мере отчасти — требует именно такого объяснения, это явствует из опыта, подтвержденного бесчисленное количество раз. При пересказе сновидения, при анализе его нередко случается, что отрывок, считавшийся забытым, вдруг вновь выплывает в памяти; этот извлеченный из забвения отрывок дает обыкновенно наилучший и ближайший путь к истолкованию сновидения; вероятно, в силу этого обстоятельства данный отрывок и был подавлен, т.е. забыт.

XI

Истолковав сновидение как образное представление исполнения желания и объяснив неясность его цензурными изменениями в вытесненном материале, нам уже нетрудно сделать вывод о функции сновидения. В противоположность обычным разговорам о том, что сновидения мешают спать, мы должны считать сновидения хранителями сна. По отношению к детскому сну это утверждение, пожалуй, не встретит возражений.

Наступление сна или соответственного изменения психики во сне, в чем бы оно ни состояло, обусловли-

вается решением уснуть, которое навязывается ребенку или принимается им добровольно вследствие усталости; при этом сон наступает лишь при устранении внешних раздражителей, могущих поставить перед психикой вместо сна иные задачи. Нам известно, какие средства служат для устранения внешних раздражений; но необходимо указать также на средства, которыми мы располагаем для подавления раздражения внутренних (душевных), также мешающих нам уснуть. Возьмем мать, усыпляющую своего ребенка; последний беспрестанно выражает какое-нибудь желание: ему хочется еще раз поцеловаться, он хочет еще играть; желания эти частью удовлетворяются, частью авторитетно откладываются на следующий день; ясно, что возникающие желания и потребности мешают уснуть. Кому не знакома забавная история (Болдуина Гроллера) о скверном мальчугане, который, проснувшись ночью, орет на всю спальню: «Хочу носорога!» Спокойный ребенок вместо того, чтобы орать, видел бы во сне, будто он играет с носорогом. Так как сновидение, представляющее желание исполненным, принимается во сне доверчиво, то оно таким образом устраняет желание, и продолжение сна становится возможным.

Нельзя не признать, что сновидение принимается доверчиво потому, что является нам в виде зрительного восприятия; ребенок же не обладает еще способностью, развивающейся позднее, отличать галлюцинации или фантазию от действительности.

Взрослый человек умеет различать это; он понимает также бесполезность хотения и путем продолжительного упражнения научается откладывать свои желания до того момента, когда они вследствие изменения внешних условий смогут быть удовлетворены окольным путем. Соответственно этому у взрослого во сне редко встречается исполнение желания прямым психическим путем; возможно даже, что оно вообще не встречается; а все, что кажется нам созданным по образцу детского сновидения, требует гораздо более

сложного объяснения. Зато у взрослого человека — и, пожалуй, у всех без исключения людей с нормальным рассудком — развивается дифференциация психического материала, отсутствующая у ребенка; появляется психическая инстанция, которая, будучи научена жизненным опытом, строго господствует над душевными движениями, оказывая на них задерживающее влияние и обладая по отношению к сознанию и произвольным движениям наиболее сильными психическими средствами. При этом часть детских эмоций, как бесполезная в жизни, подавляется новой инстанцией, так что все вытекающие из этих эмоций мысли находятся в состоянии вытеснения.

Когда же эта инстанция, в которой мы узнаем свое нормальное Я, принимает решение уснуть, то в силу психофизиологических условий сна она, по-видимому, бывает вынуждена ослабить энергию, с которой обыкновенно задерживает днем вытесненные мысли. Это ослабление само по себе незначительно: хотя в подавленной детской душе и теснятся эмоции, они в силу состояния сна все-таки с трудом находят себе дорогу к сознанию и совсем не находят ее к двигательной сфере. Однако опасность, угрожающая с этой стороны спокойному продолжению сна, должна быть устранена. По этому поводу необходимо указать, что даже в глубоком сне известное количество свободного внимания должно быть обращено на те возбуждения, ввиду которых пробуждение представляется более целесообразным, чем продолжение сна. Иначе нельзя было бы объяснить того обстоятельства, что нас всегда можно разбудить раздражениями определенного качества, как на это указывал уже старый физиолог Бурдах; например, мать просыпается от плача своего ребенка, мельник — от остановки своей мельницы, большинство людей — от тихого обращения к ним по имени. Вот это бодрствующее во сне внимание обращено также и на внутренние возбуждения, исходящие из вытесненного, и образует вместе с ними сновидение, удовлетворяющее в каче-

стве компромисса одновременно обе инстанции. Это сновидение, изображая подавленное или вытесненное желание исполненным, как бы психически исчерпывает его; в то же время, делая возможным продолжение сна, оно удовлетворяет и другую инстанцию. Наше Я охотно ведет себя при этом как дитя; оно верит сновидению, как бы говоря: «Да, да, ты прав, но дай мне поспать». То обстоятельство, что мы по пробуждении так низко ценим сновидение ввиду спутанности и кажущейся нелогичности его, обусловливается, вероятно, также и тем, что аналогичную оценку дает нашим возникающим из вытесненных побуждений эмоциям спящее Я, которое в своей оценке опирается на моторное бессилие этих нарушителей сна. Мы даже во сне сознаем иногда эту низкую оценку, именно: когда сновидение по своему содержанию слишком уж выходит за пределы цензуры, мы думаем: «Это ведь только сон», — и продолжаем спать.

Против такого понимания не может служить возражением то обстоятельство, что и по отношению к сновидению существуют предельные случаи, когда оно не в состоянии уже исполнять своей функции — охраны сна и, как это бывает при страшных сновидениях, берет на себя другую функцию — своевременно прервать сон. Сновидение поступает при этом подобно добросовестному сторожу, который сначала исполняет свои обязанности, устраняя всякий шум, могущий разбудить граждан; когда же причина шума представляется ему важной и сам он не в силах справиться с нею, тогда он видит свою обязанность в том, чтобы самому разбудить граждан.

Эта функция сновидения становится особенно очевидной в тех случаях, когда до спящего субъекта доходят какие-либо внешние раздражения. То обстоятельство, что раздражения внешних органов чувств во время сна оказывают влияние на содержание сновидения, всем давно известно, может быть доказано экспериментально и является малопригодным, но слишком

высоко оцененным результатом врачебных исследований сновидения. Но с этим фактом связана другая неразрешимая до сих пор загадка: внешнее раздражение, действуя в эксперименте на спящего, появляется в сновидении не в своем настоящем виде, а подвергается одному из многочисленных толкований, выбор между которыми, как кажется, предоставлен психическому произволу. Психического произвола, конечно же, не существует; спящий может реагировать различным образом: он либо просыпается, либо ему удается продолжать сон. В последнем случае он может воспользоваться сновидением, чтобы устранить внешнее раздражение, и притом опять-таки различным образом: он может, например, устранить раздражение, видя во сне такую ситуацию, которая совершенно не вяжется с данным раздражением. Так, например, одному господину с болезненным абсцессом в промежности снилось, будто он едет верхом на лошади; причем согревающий компресс, который должен был смягчить боль, был принят им во сне за седло; таким образом он справился с мешавшим ему спать раздражением. Чаще же бывает так, что внешнее раздражение подвергается толкованию, в силу которого оно входит в связь с вытесненным и ждущим своего исполнения желанием, теряет поэтому свой реальный характер и рассматривается как часть психического материала. Так, например, одному человеку снится, что он написал комедию, воплощающую известную идею; комедия ставится в театре; прошел первый акт, встреченный бурными одобрениями; страшно аплодируют… Видящему сон здесь удалось продолжать спать, несмотря на шум; по пробуждении он не слыхал уже шума, но справедливо решил, что, должно быть, где-то вблизи выбивали ковер или постель. Сновидение, возникающее непосредственно перед пробуждением от сильного шума, всегда представляет собой попытку посредством толкования отделаться от мешающего спать раздражения и таким образом продлить сон еще на некоторое время.

XII

Я не утверждаю, что осветил здесь все проблемы сновидения или исчерпал все убедительные доводы в пользу затронутых мною вопросов. Кто интересуется всей литературой о сновидении, пусть обратится к книге Санте де Санктиса о сновидении; а кто желает познакомиться с более подробным обоснованием высказанных здесь мною взглядов, пусть прочтет мою работу «Толкование сновидений». <...>

Содержание

Научно-популярное издание

Серия «Популярная философия с иллюстрациями»

12+

ЗИГМУНД ФРЕЙД
ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОАНАЛИЗ

Зав. редакцией *Е.В. Ларина*
Руководитель группы *Е.В. Толкачева*
Выпускающий редактор *Л.Н. Магажанова*
Дизайн обложки *Д.С. Агапонова*
Корректор *А.В. Капустина*
Технический редактор *Н.А. Чернышева*
Верстка *А.Б.Филатова*

Подписано в печать 26.03.2021. Формат 84x108/32.
Усл. печ. л. 16,8. Печать офсетная. Гарнитура Minion Pro.
Бумага офсетная. Тираж экз. Заказ №

Общероссийский классификатор продукции
ОК-034-2017 (КПЕС 2008): – 58.11.1 – книги, брошюры печатные

Произведено в Российской Федерации. Изготовлено в 2021 г.
Изготовитель: ООО «Издательство АСТ»
129085 г. Москва, Звездный бульвар, д. 21, строение 1,
комната 705, помещение I, этаж 7

«БаспаАста»деген ООО
129085, г. Мәскеу, Жұлдыздыгүлзар, уй 21, 1 құрылым, 705 бөлме
Біздіңэлектрондықмекенжайымыз: www.ast.ru

Интернет-магазин: www.book24.kz • Интернет-дүкен: www.book24.kz
Импортер в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».
ҚазақстанРеспубликасындағыимпорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.
Дистрибьютор и представитель по приему претензий на продукцию
в республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»

ҚазақстанРеспубликасында дистрибьютор жәнеөнімбойыншаарыз-талаптарды
қабылдаушыныңөкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш.,
3«а», литер Б, офис 1.
Тел.: 8 (727) 2 51 59 89,90,91,92. Факс: 8 (727) 251 58 12, вн. 107;
E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz
Өнімніңжарамдылықмерзімішектелмеген.

Өндіргенмемлекет: Ресей